

РУСС

ЕГОР РАДОВ МАНДУСТРА



Новое
Литературное
Обозрение

ЕГОР РАДОВ

МАНДУСТРА

« УРОКИ РУССКОГО »



**Новое
Литературное
Обозрение**



Новое
Литературное
Обозрение

ЕГОР РАДОВ

МАНДУСТРА

« УРОКИ РУССКОГО »

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
P22

Составитель серии Олег Зоберн
Дизайнер серии Дмитрий Захаров

Радов, Е.
P22 Мандуэра: Рассказы / Егор Радов; предисловие Полины Рыжовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 536 с.
(Серия «Уроки русского»)

ISBN 978-5-4448-0031-7

Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

- Е. Радов, наследники, 2012
- П. Рыжова, предисловие, 2012
- 000 «Новое литературное обозрение», оформление, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

При жизни Радова называли мастером рассказа, ярчайшим прозаиком конца XX века, главным джанки русской современной прозы, после смерти его в пору называть прозеванным гением: Радов так и не получил ни одной престижной литературной премии, а изданные его книги могут сойти за букинистическую редкость.

Писатель умер три года назад на Гоа в возрасте сорока семи лет, оставив после себя дюжину романов и биографию, достойную отдельного произведения.

Радов родился в московской писательской семье, отец — публицист Георгий Радов (Вельш), мать — поэтесса Римма Казакова. В шестнадцать лет написал первый роман. Затем Литературный институт, столичная творческая тусовка, ранний брак и такой же ранний развод, второй брак, смерть второй жены, третий брак, трагичнейшая смерть третьей жены, статьи для «Птюча» и «Playboy»... и над всем этим постоянный наркотический угар или, как выразился сам писатель, «пожизненное удовольствие».

История Радова при поверхностном рассмотрении похожа на историю Берроуза: американская эра битников и коммунистические наркоманы «макового корпуса», «общество контроля» и дышащий на ладан Советский Союз, психоделические трипы в марокканском Танжере и таблеточные приключения на московских задворках, в конце концов потеря любимых женщин.

Однако усекать значение Радова для русской литературы до роли «местного Берроуза» неверно, как и ставить «всё объясняющие» теги, на которые не скупилась критика: «психоделист», «постмодернист», «писатель в соавторстве с героинем».

За геройской химической бравадой мерцает та самая затронутая им в одноименном романе суть, способная спустить читателя в штольни бытового ада, провести за руку по выпуклой реальности и поднять с музыкой до божественных высот.

Радова можно назвать печальным певцом конца перестройки и начала новой России, однако в отличие от многих других рефлекслирующих на тему слома эпохи писателей он не зануден. Вот, например, в рассказе «Царь добр» читателю предлагается конспект фантастической антиутопии — китайцы заселили Дальний Восток и Сибирь, финны

захватили весь север Европы, в том числе Петербург, зеленый Кавказ занял юг, американцы ассимилировались с арабами, образовав беспрецедентный политический блок, а земная Россия депортирована на Марс, который становится Россией небесной, — все довольны.

Но там, на Марсе, некоторые сентиментальные россияне, не нашедшие себя в новых инопланетных реалиях, уходят без скафандров в безвоздушное пространство. Остальные же — от мала до велика — пьют.

В этих рассказах, помимо родины, возгораются в чистое удовольствие для взрослых и другие непростые и тяжеловесные понятия — воздаяние, рождение, жертва, апокалипсис, ум. Кажется, для этого писателя нет больших и маленьких тем — все имеет свою «мандустру», эстетическую суть, все достойно внимания.

«Мандустра — благодать, одинаково присутствующая во всем». Радов призывает верить во всё. Для него важно уличать, на манер бога, в окружающем суть, спасать вещи, а не душу, ощущать дух вещей. И рыцарь веры при этом не должен верить слепо — верить фанатично можно лишь в то, в чем ты не уверен до конца (как писал философ Роберт Пирсиг, никто не вопит каждую ночь, что утром обязательно взойдет солнце). Вера пронизана безверием, и оттого становится особенно надежной. Парадоксально, что при постоянном присутствии божественного в литературном космосе Радова все насквозь химично, обусловлено движением молекул, пептидов, митохондрий.

Мандустру нельзя определить, а можно только описать — искусство и есть служение ей, но в то же время оно — лишь эффект творчества, выработка эндорфинов в мозгу.

Открытая Радовым Мандустра похожа на то, что Пирсиг называл качеством, универсальным источником вещей. В моменты этого качества граница между объектом и субъектом размывается, происходит тождество создателя с создаваемым, все становится на свои места. Именно оно — выраженное и в доктрине Упанишад (*tat tvam asi*), и в уличном жаргоне (тащиться, врубаться, оттягиваться) — заставляет мальчиков ходить, девочек — лежать, рыцарей веры — верить, а писателя кайфовать подобно клону человека, всю жизнь прожившему в четырех стенах и ведущему никому не нужный дневник: «Вовсю работаю над главным трудом жизни. Ура! Сейчас не возникает никаких дурацких вопросов о цели, смысле, и в таком духе. Я испытываю кайф!»

Полина Рыжова

НЕИЗДАННОЕ

УЖАС ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ

Галина Петровна, 59 лет от роду, полная дама и заботливый предок своего потомства, вся находящаяся во власти любимых дум и привычек, обнаруживает себя идущей по асфальтовой дорожке, наверное, где-то за городом — во всяком случае вокруг нее сплошные деревья и кусты с темнеющими из-за сумерек листьями, никого не видно, ни одного человека, даже незнакомого.

Она идет, сумерки все сгущаются, ветка бьет ее по лицу, ей больно. Где-то летит птица, и звук ее улетающих крыльев на миг рассеивает молчание.

Потом опять тихо. Галина Петровна идет, не понимая, зачем она идет, и будет ли что-нибудь в конце. Ей страшно и интересно, как будто она ввязалась в новую игру, и все тайны сейчас разъяснятся, а потом снова можно будет придумать иные условия и начала, чтобы играть. И луны не видно на небе, и звезд — осенние тучи заволокли весь простор, и будто бы у Земли отняли ее кровный выход в космос, и мрачно-серые границы будто загородили огромную бесконечность, полную тайн и светил.

Галина Петровна смотрит вверх и опять идет вперед. На ней резиновые ботинки, синий плащ из

болоньи, так что дождь и сырость ей не помеха. Она не знает, откуда пришла, и куда идет, но почему-то ей это даже нравится — ведь вокруг не слышно ни звука, и нет ничего опасного, и все остальное скоро разъяснится.

Тьма разбухает неслышной бомбой вокруг нее, леденит окружающее мраком своей природы. Листья дрожат, словно в страхе, на ветру и льнут к лицу Галины Петровны, как испуганные щенки или неразумные мухи, а может, как мотыльки, стремясь сгореть в пламени женских глаз, воссияв вспышками напоследок. Галина Петровна отмахивается от их назойливых темных прикосновений, думая о том, что наступило время что-нибудь выяснить, но теперь уже деревья окружают ее тесным неразмыкаемым кольцом, точно не желая дать проход, и все же расступаясь, но с какой-то неохотой; дубы оттесняют березы и стоят со всех сторон, словно застывшие вертикальные крокодилы, разинув пасти, выпучив глаза и раскинув когтистые лапы, а ольхи, будто пугала, трясут почерневшими листьями и норовят ткнуть в лицо длинные ветки; тополя же хотят подставиться под лоб, их болотистая, похожая на кожуру кора словно заполняет все дыры между деревьями, где еще немного сквозит свободный воздух.

— Черти, как надоели, — негромко говорит Галина Петровна, блуждая в вечернем перелеске.

Порыв ветра несет с деревьев клочки жестких мертвых листьев; они бьются о тело, как птицы о стекло, словно желая влететь внутрь, будто там не внутренности, а комната, где жердочки и интересные вещи. Ветер свистит, как в свисток, и листья все-таки падают на землю, становясь материалом для перегноя. Теперь вообще ничего не видно.

«Да что за черт за такой! — думает уже перепуганная Галина Петровна, ничего не понимая. — Что это — ураган, что ли?»

Она еще идет вперед, хотя становится все труднее и труднее. Под ногами мешают ходьбе пни и сучки, они хрустят, как подожженный хворост, выстреливают осколками вверх, больно бьют по коленям. Неприятно, очень неприятно идти.

Галина Петровна замучилась и потом только обнаружила, что она сошла с асфальтовой дорожки и оказалась в чаще и пробирается непонятно куда через кусты и заросли. Стало даже немного смешно; потом Галина Петровна, наступив напоследок на какой-то гриб (видимо, мухомор), который с хрустом рассыпался под ее ступней, выходит опять на нормальную дорожку, где можно идти и где довольно просторно.

Но зачем она идет? Она не знает, и ей неинтересно — она видит только, что ночь уже наступает, а она еще не дома, прибавляет шагу, но так и не видит следов жизни.

Так она идет и идет. Наконец видит длинное невысокое здание — оно похоже на какой-то склад — совершенно темное; под крышей сидят засыпающие вороны, и от лени даже не желают каркать; Галина Петровна осматривает ворота, на них висит тяжелый ржавый замок.

Галина Петровна останавливается, видимо, понимая, что идти дальше нет смысла, но что делать, она не знает. Наверное, нужно где-нибудь ночевать, конечно, тут холодно, но есть хоть какой-то участок с крышей над головой на случай дождя или снега, и Галина Петровна уже готова лечь спать, но вдруг задумывается.

Она не понимает, с чего у нее начались такие проблемы. Она всю жизнь была уважаемой женщиной, почти всегда знала, что делает, а сейчас вынуждена спать на холодной осенней земле. За что? Потом эти мысли прошли будто сами собой, и, неожиданно даже для самой себя, Галина Петровна начала громко стучаться внутрь здания. Там, видимо, было пусто, так как ее удары гулко отдавались, словно она стучала по огромному барабану. Потом она подумала, что на нее кто-то пристально смотрит. Обернулась и увидела своего пятнадцатилетнего внука, который сидел на дорожке и смотрел вниз.

— Эй, эй, Славик, Славик! Ты как здесь оказался? — засуетилась Галина Петровна. — Встань, простудишься!

Подросток поднял вверх печальные глаза. На лице росла большая белая старческая борода.

— Христос Триждывеликий, — сказал он назидательным тоном, — завещал нам сидеть.

Словно током ударили Галину Петровну — ужас, ужас!

Она закрыла глаза, прошептала: «Заколдовали его, бедного», а вслух сказала:

— Я некрещеная.

— Правильно, — ответил кто-то.

Галина Петровна открыла глаза — ее внук исчез, должно быть, привиделся. Она успокоено вздохнула. Но все другое осталось. И здание, и унылая роща, и асфальтовая дорожка, и порывы ветра. И все-таки нужно где-то ночевать. Завтра взойдет солнце, будет новый день, тогда-то все и прояснится.

Галине Петровне становилось все холоднее и холоднее.

«Черт возьми! — подумала она. — Хоть бы эту дверь открыли! Безобразие!»

Она начала стучать. Все сильнее и сильнее. Потом ее охватила злость. И вот она стучит и стучит в запер-

тую дверь, за которой, может быть, свет, хотя замок и висит снаружи; она стучит уже ногами и кричит уже непонятно кому, плача от обиды, одиночества и негодования:

— Да что же это такое! Да есть там кто-нибудь внутри?! Да когда же я уже выберусь отсюда?!

И бесстрастный голос отвечает ей:

— Никогда. Это ад.

РАССКАЗ О ЙОНАСЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ САМЫМ МЛАДШИМ ИЗ НАС

— Да, конечно, я всего лишь слабая женщина, и вы можете меня не слушать, можете не обращать на меня внимания, конечно, я ничего не могу поделать, я ведь только слабая женщина...

Тогда встал Йонас, который был самым младшим из нас, и сказал:

— Мужики! Я больше не могу.

А она все говорила:

— Я не знаю, как это все получилось, я лишь слабая женщина, а вы можете делать со мной что хотите, я лишь слабая женщина, но я прошу вас, я требую, наконец этого требует элементарная порядочность. Я, конечно, не могу вам приказывать, ведь я только слабая женщина, но я знаю, я верю, что вы...

Тогда опять встал Йонас, который был самым младшим из нас, и сказал:

— Мужики! Я больше не могу.

— ...вы, конечно, можете надо мной издеваться,

делать, что захотите, ведь я лишь слабая женщина, но я знаю, я верю, что вы не такие, что...

Тут опять встал Йонас, который был самым младшим из нас, и сказал:

— Мужики! Я больше не могу.

А Повилас, который сидел рядом со мной, сказал:

— Свяжите его и бросьте в подвал.

Тогда мы Йонаса, который был самым младшим из нас, связали и бросили в подвал, а Повилас, который сидел рядом со мной, сказал:

— Пошли, ребята, обедать.

Пообедав, мы вытащили из подвала Йонаса, который был самым младшим из нас, завалили подвал землей, а Повилас все заровнял бульдозером.

В октябре там уже желтел овес.

МАЛЕНЬКИЙ МИНЕТНЫЙ КОТЕНОК

Он жил с ней в пустой квартире. Ложась спать, они укрывались одним красным одеялом, которое постепенно сползло то в одну, то в другую сторону. Они бешено занимались любовью – это вошло в привычку – и почти уже не замечали друг друга и чувствовали, что существует просто один организм из них и нечего стесняться самого себя. Он привык к ее белому телу под боком, и утром, когда просыпался, видел ее заспанные глаза, слышал сиплое дыхание, и было жарко, а за окном было влажное солнце.

Но жизнь была чем-то эксцентричным в каждом своем мгновении или, по крайней мере, казалась такой. В итоге ничего не было серьезного – он уединился с ней, как в крепости, ему было неплохо, он привык встречать каждое утро новый день.

И он решил купить себе минетного кота. Говорили, что это дорогое и хорошо выученное животное.

Ему предложили двоих, на выбор. Каждого подняли за шкуру.

Один из них был весьма пышный, черно-рыже-белый; он лениво помахивал хвостом и покровительственно улыбался. Презрительно посмотрел этот кот

зелеными мудрыми глазами на него. И он не стал его покупать, хотя хозяин говорил, что у кота пятилетняя практика.

Кот важно подбоченился, когда услышал про себя хорошие слова, шерсть встала дыбом. Кот улыбнулся большим беззубым ртом, который, казалось, мог вместить человека, чтобы ему там было хорошо.

Но он не стал покупать этого прожженного кота, потому что чем-то он был похож на потрепанную шлюху, хотя внешне выглядел, конечно, королевской куртизанкой. Все же он был очень телесным, даже комфортабельным, как подставка для ног: отсутствовала в нем душевная светящаяся сила. Кот был большим снобом, и вы чувствовали бы себя неловко в его обществе, когда он смотрел бы на вас хитрыми опытными глазами, ломая кайф.

Рядом с котом-мастером стоял кот помоложе. Хозяин сказал, что молодежь у него перспективная, подает большие надежды.

Он занимался с ней любовью на диване, так, что скрипели пружины, и ночью в комнату входил подающий надежды и с любопытством смотрел.

Она смеялась, поскольку не было ничего серьезного, но иногда чувствовала неясную ревность.

– У тебя же есть я, – горячо шептала она ему в ухо и любила так, что он надолго забывал свое имя.

Он ее любил, как всегда.

И она, как всегда, отвечала ему тем же.

Однажды они трахались очень долго. И он был весь в безликой ней, превращаясь в то, чего ей так не хватало. Он вкладывал в нее свою энергию и цинично усмехался, видя ее поверженной и зависимой от каждого его движения. В ней не чувствовалось никакой гордости и никакой личности. Ее просто не было. А он ощущал себя королем, которому подвластно человеческое тело, на котором он может играть, извлекая мучительные звуки первобытного восторга.

Потом ей захотелось спать. Он тоже очень устал, но решил съесть чего-нибудь и медленно отправился на кухню, вяло раскрывая глаза. Он шел голый и потный по темной квартире и ощущал, как опять огонь резкого бешеного смеха окутывает его, и он понял, что где-то там вдали, во тьме, скрывается тот, который подает надежды.

– Где ты? – крикнул он и расхохотался.

Ему захотелось поноситься за котенком по квартире, чтобы его тело матово блестело в бешеном вихревом оранжевом сиянии.

Он зажег свет на кухне и увидел котенка, который сидел на столе и словно подмигивал ему, подначивая.

Он решил съесть мясо.

– А где мясо? – крикнул он ей.

– В холодильнике, – раздался ее голос с кровати.

Он почувствовал прилив бодрости.

– Приходи, я уже почти засыпаю, – крикнула ему она.

Он съел мясо и уже не хотел спать.

Он подошел к котенку и погладил по затылку. Шерсть была теплой и электрической. У него не было желания уходить от котенка; он смотрел на него с нежностью и любовью и чувствовал, что чем нежнее он смотрит, тем ласковее и лучше на него смотрит котенок.

Он опять расхохотался.

Котенок приблизился к нему вплотную, потерся о ногу шерстью.

А он стоял голый перед котенком и не мог согнать со своего лица бешеную остроконечную улыбку...

На следующее утро он ничего не говорил и был рассеян.

– Будешь завтракать? – спросила робко она его.

На кухню вошел котенок. Он посмотрел на котенка, как на старого знакомого, без стеснения.

С этого дня он превратился в угрюмого человека. Желтый свет, исходящий из котенка, завладел им. Котенок с той поры стал вырастать, превращаясь в огромного кота. День за днем кот становился все добрее, и все больше света исходило из него.

– Ты меня совсем не любишь, – сказала однажды она, когда они лежали в постели под красным одеялом.

Полчаса не происходило ничего.

– Знаешь что, – сказала она, – я, пожалуй, пойду... Не могу спать с мужиком, который лежит и смотрит в потолок...

«Надо догнать ее!» – подумал он.

Он пошел на кухню, как лунатик. Кот сидел и ласково смотрел на него.

Они понимали друг друга как никогда.

ПИСЬМО ВОЛОДИ ЕЖОВА В «СПОР-КЛУБ»

*Москва, Шаболовка, 53,
телестудия «Орленок»,
передача «Спор-клуб»*

Уважаемая редакция Спор-клуба!

Вчера смотрел вашу передачу, она мне очень понравилась. Вы там говорили об организации досуга, и вообще — о проблеме выбора профессии. Вы просили написать зрителей, кем они хотят быть.

Я хочу быть солдатом. Мне понравилось убивать. Когда мне подарили на день рождения ружье с оптическим прицелом, я сразу понял, что рожден был солдатом и стоять на страже интересов Родины. В школе у нас недавно была лекция о международном положении, и нам сказали, что Великая Отечественная война закончилась уже очень давно, но мы должны быть готовы к новым провокациям империализма. Мы должны быть бдительны ко всяким проявлениям капиталистической идеологии и не поддаваться ей.

Поэтому я хочу быть солдатом. Вообще-то, я хочу стать маршалом или генералом, если получится, и разгромить всех капиталистов. И тогда везде будет ком-

мунизм. А я стану маршалом Советского Союза. Когда мне подарили ружье с оптическим прицелом, я решил, что я должен закалять себя с детских лет и презреть всяческую жалость к капитализму. Как Мальчиш-Кибальчиш. Поэтому я должен делать зарядку каждое утро и ничего не бояться.

На следующее утро, после того, как мне подарили ружье с оптическим прицелом, я выглянул в окно, и увидел, как мой друг Славка играет в мяч. Правда, мы сейчас уже с ним поссорились — он такая сволочь! И вообще, он сын зам. министра какого-то или директора магазина и еврей. И вообще, он однажды презрительно отозвался о Ленине. Я взял ружье, прицелился в него — он был как раз в центре прицела, улыбался, бегал. А я вложил патрон, прицелился еще раз основательно и убил его. Он так смешно повалился на спину, что никто не понял, в чем дело, один только я знал. А потом я спрятал ружье и сел читать книгу — как будто это и не я его убил. Ведь окажись я разведчиком где-нибудь в загранице, я должен уметь проявлять строжайшую конспирацию.

А на следующее утро я убил собаку Оли с одиннадцатого этажа. Собака бегала везде и орала, и многие говорили, что она уже надоела всем своими воплями. Я прицелился — это было очень трудно сделать, ведь она бежала, и выстрелил первый раз мимо. И тогда я с риском для себя выстрелил еще раз. И, слава богу,

попал. Собака упала кверху лапами. Но тут Оля стала так кричать и плакать, что мне пришлось убить и ее.

Потом я опять спрятал ружье, чтобы никто не догадался, и вышел гулять сам. Потому что я должен закалять свою волю — ведь я хочу быть солдатом Отечества — и я должен учиться сохранять каменное лицо.

Я вышел, как ни в чем не бывало, и увидел, что Олю с собакой увозят в «Скорой помощи». «Неужели она жива?» — подумал я. И тогда я впервые задумался над техникой стрельбы. Я понял, что мне надо учиться попадать прямо в голову. Для этого я записался в кружок стрельбы и посещал его регулярно. Скоро я научился стрелять довольно хорошо. И, чтобы проверить свои силы, я решил убить взрослого с большого расстояния.

Я долго выбирал, кого мне убить, и наконец остановился на отце своего бывшего друга Славки, которого я убил самым первым. В защиту этого говорило многое: 1) Поскольку Славка был уже мертв, если я убью отца, я не оставлю никого сиротой. 2) Отец Славки был каким-то зам. министра или директором магазина, и, наверное, воровал. 3) Отец Славки был еврей. А все евреи — сионистские шпионы.

Поэтому я стал ждать, когда отец Славки выйдет один на улицу. Ждать пришлось долго, почти неделю, но я должен уметь выжидать обстановку. И вот наконец-то однажды я увидел Славкиного отца, который вел

под руку какую-то женщину. Я выстрелил — не зря я все же занимался стрельбой — я попал ему прямо в голову. Тут женщина вскрикнула, и, чтобы не было свидетелей, мне пришлось убить и ее. Потом я спрятал ружье и сел делать уроки, чтобы никто не смог меня заподозрить.

Вообще, против меня нет никаких улик, во-первых, я избавился от всех свидетелей, а во-вторых, мое ружье — игрушечное.

Скоро мне будет восемнадцать лет и я уйду в армию. Я знаю — на войне мне придется много убивать, поэтому я хочу приучить себя к этому с детских лет.

Дорогой Спор-клуб, ответьте мне, все ли я делаю, чтобы достичь свою цель, или этого еще недостаточно? И вообще, ответьте, что нужно делать, чтобы подготовить себя к суровой жизни солдата, который должен бороться с капитализмом и за коммунизм во всем мире?

*До свидания, жду ответа, ученик 6-го класса
средней школы № 611 имени В.М. Примакова*

Володя Ежов.

ЭТО КОНЕЦ?

«Это — конец», — как поет Джим Моррисон в начале известного фильма, приглашающего к путешествию в «сердце тьмы».

«Я был в духе в день воскресный...» — написал Иоанн Богослов на острове Патмос, открывая свои откровения в «Откровении» («Апокалипсисе»), преисполненные, как четыре животных гневом, огнем небесной справедливости, безумными земными бедствиями и светлым восторгом новой жизни через «вторую смерть», данную праведникам, тем, кто не предал истину и веру; и всем тем, кто покаялся и заслужил второго запретного плода — от древа жизни, чтобы уподобиться «Нам», и пить в Граде Небесном чистую воду блаженной Вечности, где нет Зла, но только Добро и Дух, только «благодать со всеми вами».

Вавилон должен быть разрушен!!!

Современная цивилизация овощеподобных human being, сочащихся прозаком и вагинальными выделениями из прокладки, сжимая, замерев, в ладошках детородный член, убаюкиваясь грехом Онана; не ведающих, что творит их спецназ; стремящихся быть счастливыми «здесь и сейчас», приходит к праву на самоубийство через эвтаназию, венчанию однополых,

лечению *уныния* «цветами зла», бесконечному идолопоклонничеству, где молятся то доллару, то Микки Маусу, то Гарри Поттеру, то Гутенбергу; они отрицают Благую Весть как единственную истину, — вообще отрицают существование *единственности*, «тесных врат», иерархии, того, что жизнь на Земле не ограничивается Землею.

С их точки зрения христианство — заговор неудачников, тех, кто обделен свободным онлайн-доступом к деньгам и гениталиям, а у нас, мол, хуй стоит и деньги есть, «лучше быть богатым и здоровым»; они считают, что мир есть только мир «тут», и ничего нет, и нету Высших, как вообще — Высшего...

Им обещано в «Апокалипсисе» истинное возмездие!

В чем же суть?.. Суть только в том, считаешь ли ты, что этот убогий мир, где мы ограничены во всем совершенном, окончательном, — «конец», или что жизнь — лишь подготовительная борьба за место под райским солнцем, предшествование Вечности, против которой всегда сражается Время — дьявол, пожирающий сынов человеческих.

Если Бога нет, то ты — враг, ибо «если Христа нет, я все равно выберу Христа» — можно перефразировать известный богословский софизм, поэтому в «Апокалипсисе» нам уготовляется расправа над миром-блудницей, и воскресение для тех, для которых сей мир — труп.

Но «чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь в наличии зайца», а «христианство — это вещь, за которую убивают», как сказал один правовернейший и набожнейший католик — герой Г.К. Честертона.

Я помню год Чернобыля, когда люди бросились читать и отгадывать сокровенное и таинственное «Откровение», когда мой сокурник Костя Смородин прославился на весь СССР строчкой «сладкий воздух пахнет чернобылью»; и я тоже заглянул в конец Библии, страшась узреть конец света, но обнаружил, что там вообще нет последовательности и времени, как нет света — в нашем понимании — но есть лишь мир греховный, который надо убить, не сберегая, как душу, для того, чтобы обрести «вторую смерть» и «узреть Господа живого». Я облегченно вздохнул, поняв, что еще много всего предстоит здесь, а «там» — всегда «там», и Небесный Заяц обретет разящую плотскую мощь не прямо вот теперь, а можно еще пообывательствовать; но я вижу уже сейчас умственную деградацию человечества, бескрайнюю плоть победившего материализма, почти абсолютную утрату самих представлений о святости, маразм царствующей демократии-толпы и олигофрению властвующей монархии-тирании.

И чего тогда жалеть этот свет?

Веришь ли ты в возмездие, во Второе Пришествие или строишь капитализм с человеческим лицом — личное дело каждого, ибо у нас есть свобода, как бы ни старались ее забыть.

После гексаграммы «уже конец» в И Цзине следует заключающая — «еще не конец», но мы не ждем перемен!

Мы взалкали ответов и доказательств; «Апокалипсис» нам обещал их *реальность*; мы теперь страшимся конца света, одновременно почему-то чая воскресения из мертвых, что противоречит друг другу, и «все-таки я верю», что мы получим свыше — по полной программе. И уже в этой жизни.

И уже получаем.

Но блаженны те, кто не видели, и уверовали. Это — конец?

Он — *всегда*.

ОН БЫЛ С НИМИ

Он был тогда с ними внутри застывшего все мерзлого вечера, когда фигуры бессловесно тянули колючую проволоку, въедливо вонзающуюся в мыслящую душу, которая молила о колбасе в очередном сне. Молчать начали справа — одинокие лица невидно чернели под отдаленными фонарями, что как столбы освещали ничто над пустой головой личности, имеющей руки. Отрежьте руки, верните жизнь!

Он был с ними — он рассчитывал на участие со стороны их, он надеялся на мрачное одобрение своих действий по натягиванию колючей проволоки; он уже наслаждался своим будущим телом, идущим с ними в одном строю; он предполагал с ними ужинать и грубо молчать, будто он в самом деле всегда был с ними, будто они уже приняли его и завтра возьмут его опять натягивать колючую проволоку, чтобы она колола руки, вонзалась в плечи и губы, разрывала нежный импульс нежного человека, покрываясь кровью царапин чужих тел.

Марлок сказал: «Надо жаться друг к другу, чтобы чувствовать хоть теплое плечо рядом. Давайте попытаемся быть вместе».

Они вместе натягивали колючую проволоку, и она шипела, точно змея в кустах, когда силой человеческих

рук продиралась сквозь сухие листья и траву прошлых времен года. На открытой Космосу почве неторопливо образовывался перегной; но обратный поток жизни в виде активного гниения застывал на всепоглощающем морозе. Мороз — есть черная дыра в атмосфере. Он тупо шел вперед, точно мрачная тень в коллективе; и свежая колючая проволока слегка дрожала от морозного ветра; и мысли были пусты, словно бесхребетные ласточки, которые забыли о том, что они должны летать низко над землей, предвкушая ненастье.

Козлов заявил: «Я привык. Надо не обманывать друг друга и пытаться быть приятелями. Нельзя грызть своего товарища за то, что он ухватил большой кусок хлеба».

И одному из некоторых врезали на ужине молотком по зубам, поскольку его черные пальцы упорно тянулись к мясу. А тот, кто был с ними, испуганно сидел, жуя свой нелегкий хлеб; и этого забрали в крови и унесли в холод, где кровь стыла на ветру. А он сидел. И почти уже совсем был с ними. Он ничего не говорил, молчал, как они, и надеялся, что они наконец приняли его в свою компанию, и завтра он, уже совсем, как они, пойдет с ними натягивать колючую проволоку, и черная ночь будет мерзло блистать в заоблачных высях, и лицо будет твердым, как льдышка в холодных руках. Но они не подавали вида, они ели жидкую пищу и почти не смотрели на него; и один из них сказал: «Поддай мне чай!» Он подал чай, и на него опустилась блажен-

ная ласка этих суровых слов — его заметили, к нему обратились, он может теперь полностью быть с ними — так, будто всегда с ними был. Но на этом все кончилось. И он пошел обратно, а они молчали, точно им было все равно, что появился новый член коллектива; и он шел, как затравленная собака у ног организованной толпы, он шел и гадал — с ними он теперь или один; но была надежда на завтра, когда проволока будет колоть руки, и они почувствуют наконец его нежность и его принадлежность и причастность к ним.

Ибрагим сказал: «Это кошмар».

Он вышел за дверь в стылую ночь. Повсюду сверкала колючая проволока, бледнея от лунного света, и земля, словно пропасть, чернела внизу.

Он посмотрел вверх — и холодные звезды, расположенные, как нездоровая сыпь на черной от гангрены спине больного, укололи его глаза тысячами белесых прыщей, замучивших мрачную и строгую Вселенную. Звезда над головой термоядерным жаром вызвала лишь каплю слезы из глаза; и хотелось плюнуть ей в рожу, но впереди был вакуум, который не выносит природы.

Он сказал: «Теперь я с ними». И рукотворная природа из всех своих стволов дала утвердительный ответ, и он пошел спать и размышлять о колючей проволоке — ибо он знал, что это — призвание.

УДАЛЕНИЕ В СИНИЙ ПРЕДМЕТ

И вот синь меня пронзает синим цветом в огне происходящего вокруг; как слабость секунды, сила старости и пыль плена; как выход в нечто несвятое, но устойчивое; как газовая свеча внутри чего-то; как часть часа и свет чая и что-то еще.

Я стою пока. Деревья, как ламии, щекочут листьями по челюсти, вмонтированной в кожу прирожденно. Я в плену — мне даны предметы для освящения; мои щеки приобрели румянец, и тьма, как спасение, ожидает меня впереди за углом, где свет, возможно, существует наперекор всем.

Предметы —

как книги голубей, отдельные дела, лысины росы, феномен нового в центре страницы, клен леса, уникальная тайна и свобода себя — нет смысла жить, если можно смотреть, нет смысла видеть, если я хочу синий предмет; и в перерывах между использованием себя, как тела с атрибутами выставленных напоказ частей тела, я вынужден удалиться вон, с тем, чтобы включиться в лес, как в тип дерева в жарких странах, где кленовые пальмы, как водопады медных лбов в солнечном свете, заставят меня почувствовать себя получше и стряхнуть с себя сон в стае.

Любовь превращается в природное занятие. Чувства сдохли в стихах — они ничего не сообщают поискам искалеченного индивида.

Вот все перед глазами —

змея звезды, предмет зла, сакля в жизненной секунде; можно пробовать, сидя, низвести имена и предметы до их ничтожества, чтобы потом сложить их не в единство, не выделяя все абсолютные феномены. Это более простой мир.

Копошась в хаотических системах, если взять их за монадологическую данность, низведя их до ячейки во всеобщих построениях, — нужно ли обязательно иметь выбор ступить на собственный путь? Объединяя все, не скучно ли?

Создание, творение, преображение, сон. Лишь абстрактная жизнь и чувствование каждого конкретного завихрения судьбы дает оптимистичное настроение, чтобы создать то же самое. И почему лишь синий предмет меня тянет к себе — ведь вряд ли женщина будет небом над облаками или звездой в небе; но почему бы не отдаться тому, что нравится, если остальное нравится тоже?

И мне осталось лишь искать сочетание слов, соединять их в красоту выражения общих мыслей; завершать фразу новым поворотом событий — безнадежно

сочетать продукты голосовой физиологии, кардиологически в одну строчку зафиксированные некоей си-ней рукой.

Я сию здесь —

на завалинке занявшейся зари, в безлобом балконе себя, пусть без тебя, во рту у Бога и среди кастрюль; и вот — Синий Предмет приемлет меня, я плюю на остальное, что где-то есть, и удаляюсь туда, откуда я смогу крикнуть в ближайший населенный пункт свое короткое слово.

УДАЛЕНИЕ В СИНИЙ ПРЕДМЕТ II

Синева переполняет душу одного из многочисленных индивидов, когда-либо существовавших. Сидя посреди заброшенных технических пейзажей, на деревянных занозах или же хладе превращенных в металл руд, он задом чувствует свой кратковременный отдых, будто на каторге; поскольку потом нужно встать и заняться. Неожиданно отнеся груз, поймав минутную дрему до следующей работы, он в это время будто возносится куда-то спиралеобразно, и там — мир ласковых, скатертных, яичных предметов, и сервизы салатного цвета с золотым ободком, и синь переходит в лиловый цвет, и все чинно.

Будто его приемлет домашний молочник, который, как сахар дождя, семья качелей, шипение кофе в соединении со снегом, любовь к синеглазке, гном уютного великолепия!

Он вырос для того, чтобы трудиться, и все равно не хочет участвовать. Ему дан мир, и он готов сузить каждый предмет до присущей только ему изначальности, далее предмет неразложим, хотя им можно пренебречь; и вот он видит многообразие различных именных вещей и их взаимодействия друг с другом. Надоело, однако, соединять несоединимое — достаточно провозгласить этот принцип, чтобы было все ясно.

Скиния собрания в ячнице хотя и смешна, но слишком ясна. И все это возможно под луной.

Сколько можно составлять реальностей, используя имена и страны? Твори, но кувалда сама идет тебе в руки. Игра в бисер не нужна даже игроку.

Так что же тогда? А ничего, блаженное ничто, предмет, куда можно удалиться от всех прочих предметов. И если он есть, и мир, который, наверное, есть, гораздо сложнее, чем их религиозный портрет, уж никак не вписывается в одну только мистерию.

Кто-то сидит на завалинке стоящей работы и думает, и может думать так пятьсот, тысячу, девятьсот лет. Если кувалду представить в качестве кувалды и назвать это искусством, то герменевтическое содержание этого акта будет, ей-богу, небольшим. Поэтому остается уйти и заткнуться где-нибудь в мрачном закутке, где сидят люди, перекуривая, и мечтают о сне.

И пусть поэтическое раздумье будет их охватывать при виде мрака надвинутых на лоб сумерек, они имеют мужество, чтобы не скучать там, где все по-старому, и ничего нового не ожидается, они полны собой — эти несчастные люди, своими чувствами и трагедиями; они могут жить, и кто-то даже в грезах своих попадет на графский стол, где стоит кофейный завтрак со сливками, а кто-то может присутствовать здесь наподобие деревянного столба и не наблюдать интересных

переживаний в своей голове; но они передают эстафету дальше, а мне остается соединять слова, и без посредства ритма; и может быть, рой смыслов в этих самых словах будет дополнительным эстетическим средством, которым многие пренебрегали.

Осталось не так долго, и в конце концов — дай мне свой пыл, старая любовь!!! Плюю на слово, и хочу веселья сопоставления фантазий. Я создавал пустоту, описывая синий предмет, я балансировал на канате, цепляясь за хитрые построения, но описывал слишком конкретные вещи.

И он сидит пока еще, молодой усталый человек, погруженный в личные словесные фантазии, обдумав невозможный почему-то метафизический комфорт, и улыбается мне и пропадает в синем небе. А я остаюсь здесь и даю тебе свою душу за каплю фантазии и согласен на полную смерть, хотя и удаляюсь в синий предмет — пускай это будет моим временным пустым прибежищем.

КОГДА СХЛЫНЕТ ПУСТОТА

В этом расстройстве стволов, которые, накренившись один на другой, завершали пейзаж, было что-то от блеска накрашенных попугаев. Мой стол тоже дружелюбно светил коричневым сверканием, и даже бабочка, что уселась сбоку, переливалась цветочными свечами, о чем засвидетельствовал приятный сосед с трубкой. Он вырисовывался на общем фоне — гора пепла дымилась, словно Фудзияма, а в руках его небрежно посвистывали бешеные карты червей.

— Выходите из тупика, словно Будда — наискось и вперед.

— Вы узнаете морских животных, которые, как кофе, ждут своего часа.

— Что вы можете мне предложить? — с любопытством нагнулся я к пирогу, потом вдруг превратился в плоскую фигуру и ступил в неизведанные области промежуности скатерти и стола.

Бабочка засияла, как новогодний подарок, а обилие дворцов кругом заставляло меня представить, что в них можно будет поспать. Человек — тоже люди, и я уснул, благополучно согнувшись пополам в одной из маленьких комнат загородной виллы.

Пробуждение было беспримерным — все оказалось лишь сном.

Бабочка поцеловала мою ручку и сказала:

— Все, что вы, наверное, хотели поведать мне о своем существе... Впрочем, отдыхайте. Вы знали, что бабочки — это сексуальные животные? Я — половая, я — твоя, милый...

Она застрекотала на меня, а тот, кто был мертв, лишь холодно улыбнулся, глядя на чудачества наши.

— Бросайтесь на что-нибудь, все равно, куда.

— Вы увидите то же самое, как и думали.

— Невозможно же быть таким автоматом? — ознакомился я с меню жизни.

Без чего не бывает любого вечера, так это без цветов — желтых, синих, зеленых. Стоило беспокоить подругу целованием ноздри? Стоило заказывать бутылку шампанского в номер? Стоило летать в небесах?

РАССКАЗ

Он был писатель (прозаик), а она его баба. Они все время ебались напропалую. Однажды, стеная от кайфа, она посоветовала ему, как обычно тихонько сопящему: «А ты попробуй представить себя бабой, как будто у меня хуй, а у тебя пизда, и я тебя ебу со страшной силой. Я уже давно так делаю и кончаю очень клево». (А он был заебанный и никак не мог кончить, а ему очень хотелось.) Тогда он последовал ее совету, и минуты через три кончил, даже несколько покряхтывая, чего он обычно не делал (она же, напротив, кричала, и иногда довольно громко).

А она была беременная, уже примерно с месяц. Но никаких хуевых ощущений у нее почему-то не было.

Наутро он почувствовал себя не очень хорошо. Она посоветовала ему заняться йогой, но он вообще ничего не мог и лежал не поднимаясь. Она-то все время занималась йогой по утрам и вечерам, а потом принимала холодный душ, и на счет этих своих упражнений относилась свое клевое самочувствие.

Потом он все-таки встал и вышел с ней за ручку на улицу. Есть он ничего не мог. На углу он скорчился от отвращения к самому себе и его долго тошнило.

Они не были наркоманами, но иногда употребляли различные наркотики. Правда, от гашиша они уже давно отказались, потому что он оказывал нежелательное действие на их психику. На нее трава действовала слабее, а на него очень сильно. Торчать вместе они не могли, потому что он уходил хуй знает куда, а она этого боялась и кричала, чтоб он вернулся, таким образом обламывая кайф и себе, и ему.

Недели за две до описываемых событий они спиздили в Ботаническом саду шесть головок красного мака, белый сок смазали табаком и пошабили, а головки пожевали, особенно он. Но это в принципе неважно.

Вечером ему стало совсем хуево, а на следующий день вообще уже ужасно хуево. Они вызвали «скорую помощь». Приехали две тетеньки в белых халатах. Они (не тетеньки) по причине хуевого состояния лежали голые под одной простыней, а дверь почему-то не захлопнулась, так что тетеньки сразу вошли, и было очень смешно.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

У Голованова рождался ребенок, судорожно выцарапываясь из тьмы жены Голованова, и, наверное, пытаясь перевести дыхание после мучительного и трудного пути вниз к свету. Сам Голованов стряхивал пепел сигареты и шел по улице, на которой противно зеленели деревья, и люди сновали туда-сюда, как мыши, шарахаясь от машин.

«Вот еще будет этот маленький бурдючок», — подумал Голованов, и тут подул резкий ветер, который брызнул Голованову пепел в глаза.

— Тьфу ты, черт! — поморщился Голованов, и тут же ему на ногу наступила облезлая бабушка в платке.

«Жизнь — отвратительная, скучная гадость, — думает Голованов, протирая глаза. — Считается, что бабочкам лучше летать над цветами, но они же не могут пьянствовать, сидя в креслах, хотя они и цветные... Ничего не понятно. Надо звонить в роддом, жене, наверное, сейчас трудно, зато она потом будет худой и приятной, ей не будет мешать этот живот, и я буду ее... Впрочем, ребенок все раздерет своим существом. Фигня, пойду в бар».

Голованов шел, уворачиваясь от людей то туда, то сюда. Тут еще машины добавляли раздражения, и солнце светило желтым шизофреническим светом. Но потом он свернул в боковой переулок и стало приятнее.

«Приятно, когда такие цветные домики, словно ра-
стения, правда, отсюда никуда не уедешь. Живешь в
Москве, и нужно тренировать сознание видеть в этом
камне Китай или Данию. Я думаю, надо сейчас выпить,
и лишь потом что-нибудь подумать. Надо позвонить в
роддом — нужна дружеская поддержка. Поддержка
или подвязка. Одно и то же... Господи, как надоели эти
штампы».

Мысли вцепились в мозги Голованова, как пчелы в
волосы, и ему все это надоело. Опять бульвар — опять
люди. Если постараться, то людьми можно пренебречь.
Как в математике.

«Да, людьми можно пренебречь, — подумал Голо-
ванов. — Тогда на фига еще один? Сын меня. Будет
лето — он будет копать в песочке, будет зима — он
будет есть мороженое, пить портвейн или орать в ко-
ляске... Молоко, портвейн, сигареты — всего лишь
слова, всего лишь названия. Сменяется одно — насту-
пает другое, а я вот так и хожу вокруг да около, а ока-
зывается, все уже сменили вино на гашиш, как меняют
школу на работу».

Голованов встал около бара, насмешливо подмигивая своему отражению в стекле.

Он открыл дверь.

— Спецобслуживание! — сказали ему.

«Ну ладно, черт с вами... Пускай грузины дают вам трешки, а мне лень. Мой сын когда-нибудь придет сюда, словно внук или правнук».

Голованов покашлял и долго думал, не закурить ли еще сигарету, и тут случилось событие: к нему подошел человек и попросил закурить. Голованов дал закурить и долго размышлял.

«Они говорят со мной, — думал Голованов. — Со мной заговорил представитель этого фона... Черт, когда же уберется это мерзкое солнце! Впрочем, надо врубаться в психологию. У меня рождается ребенок, я должен буду помнить этот день, будто это событие. Ребенок в конце концов умрет, а я должен буду запомнить все это. Но надо выпить!»

Голованов пошел в следующий бар, а потом ему надоело, и он купил вина в магазине, где очередь толкалась и бурлила, пихая его предметами и руками. Все казалось суетой, если бы мозг не вносил свой порядок во внешнюю сторону событий.

Начался дождь, он лил на Голованова, не понимая, что это — Голованов; люди в конце концов разбежались кто куда, и Голованов остался на площади, мокрый и странный.

«Уйти в подворотню, — думал он, приглаживая мокрые волосы. — Уйти вообще. Уйти в камень. Улететь, как летучая мышь. Уползти в другое пространство. Я уползаю, отложивши яйца. Я отложил яйца в песок, пускай тот, кто придумал, тот думает. Я иду пить вино в подворотню, где был Китай».

На самом деле Китай пообвис от дождя мокрыми растениями, которые перестали напоминать платан, но зато там не было людей, а были мокрые камни и серое небо. Голованову стало сыро и холодно, нужно было скорее выпить, и он смерзшимися пальцами вырвал пластмассовую пробку, словно больной зуб.

«Ура, ура, — думал Голованов, хлебая. — Я пью, я чувствую вкус и цвет. Я вижу пейзаж вокруг меня, то, что было Китаем, да будет Данией!»

Он развеселился, запрыгав от радости. Люди смотрели из залитых дождем окон на пляшущего дурака.

«Дания — страна дождей, пампасов и белых волос. Где-то здесь, среди камней сидит голубой Кьеркегор, который гуляет по Копенгагену. Мне везет больше, чем ему, я люблю свою жену, а сейчас у меня уже будет сын».

Голованов сделал большой глоток; к сожалению, закурить не представлялось никакой возможности — сигареты пропитывались влагой, как вата бензином.

«Мой сын — он будет орать. Он будет какать не там, где все люди, но там, где все дети. Он будет вмес- тилищем штампов. Он будет играть в песочек, потом подрастет, и я буду папой для него — можно или нельзя... Какой маразм! Он будет подсовывать мне внуков. Он будет умирать, и я буду плакать на его мо- гиле, хотя я не люблю быть несчастным. Я люблю Да- нию — полет по миру продолжается!»

Голованов опять глотнул вина, и ему стало тепло.

Деревья плакали на Голованова, а ему казалось, что они мочились.

«Я словно сижу в землянке во время войны... Стре- ляют, убивают, кошмар, и мне даже здесь приятно в этих камешках земли... Я вижу в них комфорт горячих ванн», — подумал Голованов, рассмеявшись, потом до- пил бутылку и бросил ее.

Он сел и сидел еще полчаса. Потом он стал печаль- ным, и ему опять стало холодно.

«Мой сын сейчас Ничто, — думал Голованов, чуть не плача, — и так и останется. Я не увижу в нем про- блесков других творений. Он будет — мой, мой, мой...

Или — не мой. Может быть, он будет калекой. Это неудобно вообще-то. Но что он сможет мне сказать? Я буду подходить к нему, слушать его глупости, вместо того чтобы он объяснился наконец. Он прочтет все книги и создаст что-нибудь свое. Как бешено бьет тот, кто это придумал. Никто не может вырваться за стену. Или за сферу...»

— Люди, идиоты, не ходите, вас обманули! — крикнул Голованов и подумал, что его сочтут пьяным, хотя он и был пьяным.

«На Ничто мне плевать, как и на штампы... Но другого не надо. Я — преступник, я сделал человека, не осознав этой дилеммы, которую не переступить. Я нарушил закон Природы. Он будет повторять тех, кто ходит по улицам, заучивать их жесты, как обезьяна, и повторять мои выражения. Всего лишь слова и названия. Из тьмы стоит что-то того, чтобы остаться? Теперь я знаю, почему человек смертен... Ничего, ровным счетом ничего, что есть у него, не заслуживает даже самого пустячного внимания... Есть только Дания, где есть ветер, дождь и темное пиво, а что же мне желать с кричащим комком кожи?»

Голованов расстроился окончательно, но ему было лень принимать решения. Он понял, что нужно звонить в роддом, потому что все это — нехорошо с нравственной точки зрения.

Голованов доплелся до телефонной будки, когда кончился дождь, и люди опять засновали туда-сюда. Он набрал номер и спросил, как родился его ребенок. В трубке что-то замерло, потом ему ответили смущенным, даже немного извиняющимся тоном, что его ребенок умер, как только родился, а жена находится в реанимации, но вроде с ней уже все нормально.

— Ну ладно, — сказал Голованов. — До свидания.

Он вышел из телефонной будки, пошатываясь, поскольку был пьян.

«Вот странно, — подумал он. — Жизнь всегда подсунет какую-нибудь штучку, которую ты не предусмотреть. Хотя я сам подписал приговор моему сыну. Что ж — ему не надо было играть во все эти игры и ходить по улицам. Он был Ничто, а стал? Ничто вдвойне? Но это чушь. С другой стороны, несчастья облагораживают человека. Спасибо тебе — тот, кто не знал меня».

Голованов подумал, не самоубиться ли ему, но потом раздумал.

Он шел, опять начался дождь, и он знал, что завтра ему предстоит встреча с женой, которую нужно будет утешать. И злость заиграла у него в крови.

— Послушайте! — сказал он сам себе. — Лично я готов каждую секунду! Мне плевать!

Он смотрел на пейзаж с людьми, которые продолжали идти, тошнотворно передвигая ноги, и подумал, что может в один миг единственным движением стереть весь этот фон, уйти от него и прекратить это цветное однообразие.

«Я должен вас всех любить, — подумал Голованов со злостью. — Но плевать. Я-то все равно никуда не денусь».

И он улыбнулся, словно издеваясь над собой.

«Может быть, только когда-нибудь, когда у меня помутится разум от слабости, я пойму, как и остальные, что был просто идиотом, отказавшись от бытия, когда оно само лезло ко мне в руки. Но кто знает, было бы оно Новым Творением?» — и Голованов заплакал.

Я В ЧИСТИЛИЩЕ

Сам не знаю, как я попал в чистилище. Стоял на лестничной площадке, курил, о чем-то думал, как всегда — ведь человек не может ни о чем не думать — выводил какие-то дурацкие теории, и вдруг — бабах! — оказался в чистилище.

Я даже ничего не успел сообразить, даже не успел затянуться сигаретой, не успел даже додумать очередную фразу, так и осекся на полуслове, как попал в чистилище. И я даже не успел умереть, а уж пройти жизнь до половины и подавно, я вообще ничего не успел понять и чувствовал себя хорошо, только покашливал в перерывах между затяжками. И вот попал в чистилище.

Для начала я огляделся вокруг себя — везде была мрачная равнина, которая точно открытое море заняла все горизонты. Небо надо мной было сумрачное и тяжелое — вот-вот пойдет дождь.

Равнина была вымощена гранитом. И нигде ни одной живой души. Я потушил сигарету, примял ее носком ботинка о гранит и опять посмотрел — нет ли еще чего-нибудь запоминающегося?

Наконец прямо за собой я обнаружил небольшую яму, которая вела черт знает куда, и оттуда доносился очень противный и муторный запах. Это был запах человеческих выделений, которые только можно вообразить. Еще оттуда шло тепло. Должно быть, это был ад.

— Ад, ну и шут с ним, — сказал я. — Хорошо, что я туда не попал... Так... Теперь надо отсюда выбираться.

Я осторожно шагнул вперед. Передо мной была бесконечная гранитная плита, в некоторых местах на ней виднелись отпечатки чьих-то ног. Я сделал еще шаг, потом остановился в нерешительности. Выхода-то не было.

Тогда я смело зашагал вперед и прошел метров триста. Но все было по-прежнему, горизонт не приближался.

Тут раздался резкий удар грома и на меня начал моросить дождь. Он был холодный и мерзкий, но принес свежесть, она доносилась из ада, и мне стало легче дышать. Зато я промок до нитки и мне совершенно негде было спрятаться от буйного, слегка бодрящего, но очень холодного и противного дождя. В чистилище я пока не обнаружил ни одного дерева и на горизонте их тоже не было. А дождь все лил и лил на меня, как из шланга, и оставалось только раздеться и воспринимать

это как душ. Но если бы я разделся, я бы вконец замерз. И я свернулся калачиком, закрыл глаза и стал делать вид, что никакого дождя нету.

Так я ушел от дождя.

Я сидел и продолжал размышления, которые прервал на лестничной площадке.

И когда дождь кончился, я почти не заметил этого. Выглянуло солнце — слегка жиденькое, но все же теплое, я почувствовал его лучи на своей промокшей одежде и на своем мокром теле, и мне показалось, что я в бане.

Я осторожно встал, осмотрелся — все было по-прежнему, только на граните, которым было вымощено чистилище, сверкали лужи.

Подул легкий ветер, и я почувствовал, что все-таки мне ужасно холодно и мерзко.

Я снял одежду, выжал ее и пошел дальше. Горизонт был все так же прям и упрям, я не увидел ни одного предмета, ничего нового, что могло бы меня заинтересовать.

Потом где-то вдали показалось черное пятнышко. Оно медленно увеличивалось, и скоро я понял, что это бегущий человек. Он несся прямо на меня со скорос-

тью автомобиля. Когда он приблизился, я увидел, что он в лохмотьях, лицо у него в кровоподтеках, щеки небриты и вид очень замызганный и неприятный.

— Выход?!!! — закричал он мне, когда был в десяти метрах.

— Что? — спросил я, улыбаясь на солнце.

— Выход! Где выход, вы видели?!!!

— Какой выход? Отсюда?

— Да выход же! Выход, выход!..

— Откуда я знаю, где выход, — сказал я ему. — Сам ищу. Откуда я знаю... Я только что здесь оказался и не успел разобраться.

— А! — досадливо отмахнулся от меня пробежавший.

Он длинно сплюнул в лужу справа и побежал вперед еще с большей скоростью.

Его белая слюна тихо и спокойно расплывалась в луже, дождевая вода осторожно обволакивала ее, как жемчуг, и впитывала в себя.

Я пожал плечами и пошел дальше.

Так я шел очень долго, пока не набрел на голую девушку, которая лежала на камнях и загорала.

Она лениво окинула меня взглядом, потом села и спросила:

— Не нашли?

— Что? — спросил я.

— Выхода там нету?

— Да вот не знаю, — сказал. — Я только что сюда прибыл. Давайте познакомимся.

— Давайте, — сказала девушка и протянула мне голую руку.

— Меня зовут Егор, — сказал я.

— Как?

— Егор.

— Ах, Егор... Это вас называли так псевдорусски.

— Не знаю. Вообще, мое настоящее имя — Георгий, а зовут меня — Егор.

— Но Егор — это же не Георгий, — возразила она и зевнула.

— Нет, почему, — оправдывался я, — Георгий — это и Жора, и Гоша, и Юра, и даже Егор.

— Ах так! — удивилась она. — Ну что ж, меня зовут Маша. Вы извините, Егорушка, что я в таком виде, просто тут очень мало народа и...

— Да что вы, — засмутился я.

— Если хотите, я оденусь.

— Да к чему эти предрассудки, — сказал я и поднял мокрое от дождя лицо к небу. Оно было голубым, а справа сияло солнце.

— Тогда давайте позагораем, а потом пойдем искать выход, — сказала она.

Я сразу же согласился, и мы начали загорать. После того как мы очень мило позагорали, мы оделись и пошли дальше.

Мы шли, взявшись за руки, и обсуждали какие-то проблемы.

— А куда это все хотят выйти? — спросил я.

— Ну как же, Егорушка, это же чистилище...

— А, — засмутился я от заданного невпопад вопроса.

— Либо в рай, либо обратно на Землю.

— А что, это возможно? — спросил я. — Ой, смотрите, какое облако... Оно похоже на какую-то жабу или ящерицу...

Мы остановились.

— Действительно красиво, — сказала она. — Так вот, надо обязательно найти выход. Но сейчас уже близко к вечеру, мы вернемся в город, а уж завтра...

— А что, тут есть город? — спросил я.

— Ну да. А как же! Некоторые старожилы там даже прочно обосновались.

— Понятно, — сказал я.

Я посмотрел вперед. Яркое-красное солнце осторожно опускалось за горизонт и его лучи сверкали везде, отражаясь в лужах, как в море.

— Как здесь красиво! — сказал я. — Только деревьев, жалко, нет.

— Да, Егорушка, жалко...

Наконец мы подошли к городу. На первый взгляд это было обычное лежбище котиков. Только вместо котиков — везде люди, в разных позах. Люди, люди...

Люди лежали на граните и разговаривали.

Кто-то спросил нас:

— Ну как?

— Да нет, — отмахнулась Маша.

— А! — с досадой пробурчал этот человек и затерялся в толпе.

— Слушай, Маша, — сказал я моей спутнице, — мне в этом городе не нравится. Тут очень людно как-то. Пойдем отсюда.

— Ну пошли, — сказала она.

И мы пошли дальше. Мы проходили еще около часа, разговаривая о разных проблемах, и когда уже стало темно, решили заночевать.

Мы легли на граните. Я сжал ее в объятиях.

— Как здесь хорошо, Маша, — прошептал я ей на ухо и поцеловал в теплые губы.

На следующее утро меня разбудили страшные крики. Я перевернулся на спину, открыл глаза и увидел, что в лучах рассветного солнца пляшет человек.

Он кричал:

— Выход, выход, выход!!!

Я потянулся, посмотрел направо — никого со мной не было. Я вскочил, осмотрелся вокруг — все та же гранитная равнина. Солнце нестерпимо жгло, как на юге, оно висело посреди голубого небосвода, огромное и огненное.

Я еще раз осмотрелся вокруг. Никого не было, даже тот человек, который разбудил меня криками, исчез. Я сделал несколько шагов и остановился в нерешительности. Поднял голову и посмотрел прямо в солнце. Глаза мои чуть не ослепли, но солнце сияло так при....., так весело, так бодро, что я не смог отвести взгляд.

Солнце, теплое, как Маша.

Я упал на колени. Я заплакал от счастья и, не сводя глаз с солнца, судорожно прошептал:

— Господи... Господи... Прими меня, я здесь...

Я почувствовал, как втискиваюсь в огромный сплошной светлый фон Солнца, Солнце стало везде, везде стало одно Солнце, в нем было все, оно кипело и переполнялось одним сплошным дыханием жизни и всем, что может быть. Я был в воздухе, я горел, я

несся к Солнцу. Оно радостно раскрыло объятия навстречу мне, я словно увидел там всех, я стал его светом, Солнце заняло все, и наконец я коснулся его руками, я медленно вошел в его свет, в его почву, в его стихию и, растворившись в нем, перестал существовать.

РЕБЕНОК ДЛЯ ОЛЬГИ СТЕПАНОВНЫ

Я должен написать о великой женщине, которую встретил в жизни. Когда я учился в восьмом классе, мы взяли над ней шефство. С этой женщиной связано мое грехопадение и мой первый подвиг, если его можно так назвать. Когда я учился в восьмом классе, я вообще был самым сильным и самым справедливым из всех. Учителя любили меня, и все меня любили, и самому себе я тоже нравился. Правда, иногда говорили, что в человеке должно быть сильно критическое начало, но я не знал, что в себе критиковать, разве что какие-нибудь плохие качества. Но я не знал, какие у меня плохие качества. Я был комсоргом и отличником. Когда мы писали сочинения о том, кем мы хотим себя видеть в жизни, я написал, что хочу отдать всю свою жизнь служению людям, думать только о них, и быть человеком. Я написал, что восхищаюсь подвигами во время войны, и надеюсь, что смог бы совершить подвиг, если бы это потребовалось для общего блага. Не знаю, может, я и струсил бы, но я надеюсь, что я смог бы закрыть дот с вражеским пулеметом, если бы это было нужно. В жизни всегда есть место подвигу. И сейчас. Нам читали статью в газете про женщину, над которой мы потом взяли шефство. Это была великая женщина.

Когда ей было двадцать лет, она совершила подвиг. Потому что так было нужно. Она спасла жизнь друго-

му человеку. Она принесла себя в жертву. Шел поезд, и маленькая девочка лежала на рельсах. А эта женщина бросилась вперед, вытолкнула девочку из-под поезда и потеряла обе ноги. Она спасла жизнь девочке. Ей было двадцать лет.

И когда мы взяли над ней шефство, меня назначили главным шефом. Мы пошли к ней в гости всем классом. Была мокрая осень, лил дождь, я шел с одноклассницей Машей и мы разговаривали.

— Сколько мы там будем? — спросила Маша.

— Не знаю, — ответил я.

— Да, жалко ее.

— Почему жалко? — спросил я. — Ведь она сама этого хотела в принципе.

— Ну как же хотела... Ты же не захочешь, чтобы у тебя не было ног!

— Я не захочу, но если бы мне сказали: вот, у вас не будет ног, зато кто-то другой не умрет, тогда...

— Тогда бы ты отказался, — сказала Маша.

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, и отказался. А зря.

— Да ну это все! — сказал Маша. — Какая разница, умрешь ты или кто-то? Ведь вы люди. Допустим, тот человек выживет, но ты-то умрешь или сам лишишься ног... Не все ли равно, кто умрет? Почему ты должен спасать кого-то?

— Ну как же?.. Ничего себе!

Я даже возмутился.

— Погоди, — сказала Маша. — Иди сюда, под зонт.

Я встал под зонт и взял ее под руку.

— Нет, ты не понимаешь! Каждый человек должен, не задумываясь, жертвовать собой, это получается как будто цепочка из жертв, тогда и будет жизнь. Это, как религия.

— А если вот... Никто бы никем не жертвовал, не все ли было бы равно? — спросила Маша. — Была бы такая же жизнь. И так же бы кто-то умирал, кто-то жил... А в твоем случае кто-то должен умирать от жертв, а кто-то жить.

— Но ведь это же бесчеловечно!

Я не понимал, как она может этого не понимать, когда это и так ясно. Ее доводы были даже в чем-то логичны, у меня даже появилось сомнение, но я сразу его подавил.

— Вот если я сейчас попаду под машину, ты меня станешь спасать?

— Тебя? Может быть, если я сама не попаду под машину.

— А так все-таки станешь?

— Если я сама не попаду.

— Но ты же не знаешь, попадешь или нет.

— Тогда не знаю... Трудно сказать. Это зависит больше от чувств. А ты бы стал спасать какую-нибудь старуху из-под поезда?

— Да, конечно, — ответил я.

— Но ведь она скоро умрет!

— Ну и что? — изумился я. — Это бы я был как Раскольников...

— Нет, — сказала Маша. — Раскольников сам убил старуху, а ты-то не убивал! Ты просто не спас.

— Не все ли равно — убить или не спасти?

— Нет, — сказала Маша, улыбнувшись. — Если ты не спас, то ты просто сделал выбор между своей жизнью и жизнью старухи. Почему ты — молодой и красивый — должен умирать, а старуха жить?

— Да я вообще об этом думать не буду. Я брошусь и все...

— А может, ты убежишь подальше...

— Это уже фашизм! — сказал я Маше с чувством.

— Не знаю, — ответила она.

— А вот если бы это была не старуха? А маленькая девочка?

— Какая разница, тоже человек ведь. И ты человек.

— Но ей еще жить!

— И тебе жить.

— А если бы я был стариком? — спросил я.

— Ну... А может быть, ты ценил бы каждый свой час? Опять же: почему ты должен умирать, а не кто-нибудь? Может быть, это у него судьба такая, что он умрет.

— Судьба? Не знаю. Черт его знает! — сказал я.

Мы подошли к обшарпанному желтому дому, мокрому от дождя.

— Заходите, — сказала наша классная руководительница.

И мы вошли в темный подъезд, в котором было гулко и сыро, как в колодце, и начали подниматься по лестнице. Мой мокрый плащ с шелестом задевал за перила. Передо мной шла Маша.

«Зачем я с ней разговаривал обо всем об этом? — подумал я. — Вон она какая. Очень клевая. Лучше с ней целоваться или еще что-нибудь, и не думать обо всем об этом. Тут черт ногу сломит. Можно рассудить так, можно так. Черт его знает! Все эти разговоры ведут к каким-то дебильным ссорам, будто мы затронули что-то личное».

Мы поднимались по лестницам, я чувствовал под ногами каменные стертые ступени, и мне казалось, что я поднимаюсь в святой храм на поклонение Богу. Там, наверху, есть что-то святое. Люди всегда поклонялись тем, кто несчастнее. И все время испытывали вину перед ними. Лично я не могу смотреть на человека, у которого какой-то недостаток. Я думаю: «Почему, по какому праву я лучше его, чем я заслужил это? Завтра я могу выйти из дома и попасть под машину. И буду точно таким же. Господи, спасибо тебе, что я нормальный».

И весь наш класс замолчал, испуганно прислушиваясь к гулу своих шагов.

За окном продолжал бушевать дождь и ветер, и с деревьев ожесточенно летели листья и падали в грязь.

И мы увидели дверь в стене. Коричневую и кожаную.

— Тихо, — сказала классная руководительница. — Это ее квартира.

И она нажала кнопку звонка. Кто-то чуть засмеялся за моей спиной. Раздался мелодичный звон и все мы замерли в тревоге, будто нам сейчас явится что-то таинственное и ни на кого не похожее.

За дверью раздалось поскрипывание и защелкал ключ в замке. Легкая полоска света, как пламя свечи, осветило лестницу и прошла через мое тело.

— Здравствуйте, Ольга Степановна, — сказала классная руководительница. — Мы пришли вас навеситить. Как ваше здоровье?

— Спасибо, — раздался женский голос. — Проходите.

Мы вошли в маленькую квартиру и сложили в коридоре свои мокрые плащи. Наш общий шум нарушал ее одиночество.

Ольга Степановна сидела в кресле на колесах и смущенно улыбалась. Ей было лет тридцать пять.

— Проходите, — приветливо сказала она.

Мы вошли в комнату, посреди которой стоял стол, на нем чашки и чайник.

— Садитесь, будем пить чай, — сказала Ольга Степановна.

Все замерли в нерешительности.

— Садитесь.

Наша классная руководительница развернула цветы, которые мы купили, и сказала:

— Вот, это от нас, Ольга Степановна.

— Да что вы! — засмушалась Ольга Степановна и взяла цветы.

Она была одета в джинсовое платье. В ее ушах торчали сережки. Губы были накрашены. Улыбалась она очень мило.

Все, конечно, стали смотреть, действительно ли у нее нет ног. Я подавлял в себе это жестокое любопытство, но все же посматривал на нижнюю часть кресла.

У нее действительно не было ног, не было примерно до колена. Она руками крутила большие колеса кресла и так передвигалась.

Мы сели и стали пить чай.

— Берите конфеты, — сказала она, указывая на коробку конфет.

Я сидел рядом с Машей и изучал комнату. За окном мерцал дождь, бледная лампочка освещала выцветшие занавески, скатерть, которая, как римская тога, спадала с угловатых плеч стола, сервант с посудой, стоявший в углу, и диван. У окна — маленький телевизор. За стеклом серванта стояла фотография Ольги Степановны в молодости. Аппетитная черноволосая девушка, лукаво улыбающаяся. Она была очень похожа на Машу.

— Ольга Степановна, — сказала наша классная руководительница, — расскажите, как вы могли совершить такой поступок? Ведь это же подвиг. Как вы думаете, что движет людей на подвиг?

Ольга Степановна засмушалась, перестала улыбаться и сказала:

— Не знаю... Может, это прямо в человеке... Не знаю... Может, я вам музыку заведу?

— Да вот... — осеклась классная руководительница.

— Я очень люблю старинные чарльстоны. Я раньше очень любила танцевать.

Я сидел и чувствовал себя неудобно.

Ольга Степановна подкатила к проигрывателю, который стоял на подоконнике, достала откуда-то пластинку и поставила ее. Раздался жизнерадостный мотив. «О, Джоэма...» И так далее.

— Мне это очень нравится, — сказала она. — Потанцуйте.

— Да нет, — сказала классная руководительница, — нам вообще-то пора.

И тут Ольга Степановна бросила на нее жалкий, даже оценивающий взгляд и отвернулась к окну.

— Ольга Степановна, — сказала классная руководительница, — к вам будут приходить через день наши ребята. Вот комсорг, — она показала на меня.

Ольга Степановна повернулась и посмотрела на меня в упор.

— Как тебя зовут? — почти прошептала она.

— Егор, — сказал я.

— Хорошо, Егор, приходи ко мне завтра, ладно?

— Ладно, — сказал я.

— А вы посидите еще, — сказала она нам. — Танцевать не хотите, просто посидите.

— Ну хорошо, мы никуда не уходим, мы же ваши шефы, — попыталась улыбнуться классная руководительница.

— Тимур и его команда, — сказала Ольга Степановна. — Хотите еще чаю?

— Спасибо! — раздался нестройный хор.

— У меня еще есть варенье.

И мы пили чай еще и еще. Я сидел рядом с Машей, она молчала, а я с интересом разглядывал женщину, которая совершила подвиг. Но она словно не осознавала своего поступка до конца, она выглядела, как может выглядеть любая женщина, попавшая в несчастье.

— Маша, — сказал я Маше, — пойдем к ней завтра?

Маша обернулась ко мне.

— Нет, это уж ты должен идти. Ты комсорг. У меня будет своя очередь.

— Ну, как хочешь, — обиженно сказал я и отвернулся.

Мы пили чай, и пили его почти молча. Ольга Степановна сидела во главе стола, шумно хлюпая чаем и не произнося ни слова. Мы тоже все молчали. Иногда

наша классная руководительница вставляла что-то, чтобы поддержать разговор, но у нее ничего не вышло, и она пристыженно замолкала.

Ольга Степановна тоже молчала, насупившись, словно стеснялась нашего присутствия, иногда кидая на меня быстрые взгляды.

Наконец классная руководительница сказала:

— Ну, нам пора, Ольга Степановна. Спасибо вам большое за чай.

— Спасибо вам, — улыбнулась Ольга Степановна.
— Приходите. Егор?

— Да, я приду, — сказал я.

Мы вышли в коридор и стали одеваться. Наши мокрые одежды уже почти высохли, а на улице по-прежнему хлестал дождь.

Мы все сказали «до свидания», за нами закрылась коричневая кожаная дверь, и мы вышли на черную лестницу со стертymi ступенями, напоминающими жертвенные камни.

На улице было темно и холодно. Зажглись фонари, и желтые листья сумрачно блестели в грязи. Лужи сверкали и искрились и казались бездонными колодцами.

Мы разошлись в разные стороны, не говоря ни слова.

Я пошел с Машей под ее зонтом.

— Как тебе она? — спросила Маша.

— Черт ее знает! — сказал я. — Что-то в ней есть даже какое-то жизнерадостное и какое-то нездоровое. Жалко ее.

— Но она же хотела этого! — сказала Маша.

— Чего? Нет, как она могла этого хотеть?

— Зачем же она тогда?

— Не знаю, но она же спасла жизнь.

— Значит, она хотела этого, по крайней мере знала об этом.

— Не знаю, — сказал я. — В Японии были летчики-смертники — камикадзе. Они знали, что умрут, и умирали для общего блага. Но что-то такое есть в них отпугивающее. Что-то нездоровое, веющее самоубийством. А, ладно, хватит об этом! Мы сейчас поссоримся, — сказал я.

— Ладно.

И мы пошли дальше во тьму, взявшись за руки, разговаривая ни о чем.

Как приятно все же ни о чем не думать! Это нас, наверное, и спасает от сумасшествия. Не надо ни о чем думать, и надо принимать все легко.

Мы шли с Машей, и мне казалось, что я должен что-то сделать, что я не должен идти просто так, что что-то должно произойти, что — мы оба понимаем, но почему-то стараемся не выдавать своих желаний и прячем их как можно глубже. Но зачем?

Наконец мы подошли к дому Маши.

— Ну, пока, — улыбаясь, сказала она. — Завтра ты, значит, идешь.

— Что? Ах, я и забыл. Ну ладно.

— До свидания, — сказала она.

— До свидания, — сказал я.

И когда она удалялась от меня в свой подъезд, я думал, что ведь еще не поздно, еще все может измениться, но стоял и смотрел, как за ней захлопывалась дверь. «Потом», — думал я. Но я знал, что потом, может быть, что-то и будет, но будет что-то совсем другое, а этого уже не будет, и надо пытаться ловить именно «это».

На следующий день я пошел к Ольге Степановне. Я шел, исполненный чувства долга и представлял

свой разговор с ней, она мне должна сказать что-то большее, чем при всех. Даже волнение охватывало меня. Я первый раз в жизни шел домой к женщине, которая сидела одна и ждала меня.

Я вошел в знакомый подъезд, который на этот раз сиял в утреннем свете и поднялся на ее этаж. Стертые жертвенные ступени уходили вниз. Я опять почувствовал себя виноватым перед ней. «А если бы она спасла мою жизнь?» — подумал я. «А если бы это я спас кому-то жизнь и лишился ног?» — опять подумал я.

Я нажал на звонок, он резко звякнул, и я замер. За коричневой кожаной дверью раздался скрип. Наконец дверь открылась, и я увидел Ольгу Степановну. Она сидела на кресле гордо, как королева на троне. На ней было небесно-синяя блузка с декольте, серая юбка и жемчужные сережки. Она улыбалась мне и раскрывала свои накрашенные ресницы.

— Егор? — сказала она нежным голосом. — Проходи. Я ждала тебя.

Я прошел в коридор, разделся, снял куртку и ботинки.

— Тапочек у меня нет, — сказала она. — Иди так.

У нее вообще нигде не было никакой обуви.

Я медленно прошел в комнату, она поехала за мной, небрежно подталкивая вперед свое кресло, и мне показалось, что я пришел в гости к ленивице-аристократке, которая бережет ноги и ее повсюду возит слуга с огромными бакенбардами.

— Садись, — сказала она. — Я очень рада тебя видеть. У меня очень мало друзей.

— Да, конечно, — сказал я чуть слышно.

— Что ты сказал?

— Да, я говорю, да.

— Будешь кофе?

— Ну, можно...

Я был смущен и опять почувствовал себя виноватым.

— Одну секунду.

Она уехала в кухню, а я сидел, не зная, чем заняться. Представлял, что кто-то войдет, а я не знаю, что сказать.

Наконец она появилась, насмешливо улыбаясь. Она везла кофе на подносе.

— Угощайся, — сказала она.

— Ой, спасибо большое, — сказал я смущенно и взял чашку с кофе.

— Может, хочешь чего-нибудь выпить? — спросила она.

— Ну, не знаю...

— Коньяк? Кофе с коньяком. Или ты не пьешь?

— Можно.

Она подъехала к серванту, достала бутылку коньяку и две рюмки.

— За наше знакомство!

И мы выпили.

— А у вас нет сигарет? — спросил я.

— Есть, только учительнице не рассказывай.

Она достала пачку сигарет и протянула мне. Я закурил и почувствовал себя хорошо.

— Ты наливай и пей с кофе, — сказала она.

Я так и сделал.

Мы болтали и пили коньяк.

Я курил сигареты, одну за другой.

Наконец она мне сказала:

— Вам, наверное, в классе рассказывали, что я совершила подвиг, да?

— Вроде да, — сказал я. — Да.

— А я и не знаю, как это вышло. Я спасла чужую жизнь, недавно эта девочка приходила ко мне, ей восемнадцать лет. У нее замечательные ножки! В джинсах...

Когда она это говорила, в ней чувствовался прилив садизма или мазохизма.

— Вообще это, наверное, правильно. Я должна, конечно, была это сделать.

Она выпила коньяку.

— Но жалко, у меня не было ребенка. Сейчас я осталась одна, ну просто не знаю, что делать, а?

Она нервно засмеялась. Потом неожиданно стала серьезной.

— Вот если б у меня был ребенок...

Я сидел ни жив ни мертв.

— И потом бы его кто-нибудь спас... Вот было бы интересно! Я спасла... Меня бы кто спас! Жаль...

Она взяла сигарету и закурила.

— Егор, — спросила она у меня неожиданно, — ты настоящий мужчина?

— Не знаю, — сказал я и задрожал.

Она медленно подъехала ко мне. Колеса вертелись, поскрипывая. Она взяла меня за руку.

— Ты мужественный?!

— Не знаю, — проговорил я в ужасе. Я не мог смотреть ей в глаза.

— Посмотри мне в глаза.

Я медленно поднял голову. Мне было страшно и в то же время дико смешно, до того театрально было все это. Я знал, что это настоящая серьезная минута в жизни, как показывают в фильмах, но что-то тут было ненатурально.

— Посмотри мне в глаза! — повторила она.

Я посмотрел ей в глаза.

— Если я тебя попрошу об одном... одолжении, нет... жертве... Подвиге!

— Подвиге? — тупо переспросил я, не понимая, о чем она говорит.

— Да...

— А что такое? — спросил я бодрым тоном.

— Ты не понимаешь? Ах да, ты же еще мальчик...

— Нет, а что?

Она сжала мою руку.

— Понимаешь, я хочу... Ну, я хочу, чтобы ты сделал мне ребенка.

Я вздрогнул и по моему телу прошел холод.

— Что?

— Ну что... Я не могу больше, — сказала она. — Я ни в чем не виновата. Ты можешь сказать, что я этого хотела. Но как можно этого хотеть? Я поступила честно... Теперь бы я, может быть, сделала по-другому. Я ничего не требую. Если ты отказываешься, то ничего... Может быть, тебе нужны деньги?

— Нет, — тупо произнес я.

В голове промелькнула совершенно дебильная мысль, что я могу много заработать на этом деле. Потом я подумал: «Неужели я сволочь?!» Мне хотелось быть благородным. Но я не понимал, что то, о чем она просит, можно вот так вот просто сделать в этой комнате... Да у нее нет ног! Разве это можно так? У меня нет сексуального опыта. «Ну и в ситуацию я попал!» — со вкусом подумал я и представил, как буду рассказывать об этом друзьям.

— Ты отказываешься... — печально проговорила она.

— Нет, но я не знаю, я не могу...

Потом я подумал: «А если я соглашусь? Нельзя же это вот здесь прямо».

Мне хотелось бежать без оглядки. Где-то в глубине я думал, что я сволочь, что я должен пойти на это. Потом во мне родилось холодное спокойствие и расчетливость, не поймешь откуда. Мне стало даже любопытно, будто это происходило не со мной. Словно я наблюдал со стороны на все это и, дожевывая бутерброд, смотрел, чем кончится.

— Я согласен, — холодно сказал я и тут почувствовал, что меня одолевает страшная дрожь во всем теле. У меня застучали зубы.

— Тебе холодно? — спросила она.

— Да нет, ничего.

— Если тебе холодно, я закрою форточку.

— Ничего, — молодцевато сказал я, поняв, что не могу сдвинуться с места.

Она начала расстегивать блузку. Кресло скрипело и каталось туда-сюда. Под блузкой у нее был белый лифчик.

— Отвернись, — сказала она.

Я попытался встать, но во мне родилась еще большая дрожь. Тогда я отвернулся.

— А впрочем, зачем тебе отворачиваться. Помогни мне снять блузку, пожалуйста.

Я сидел без движения.

— Пожалуйста.

Я попробовал подняться, но зацепился за что-то и опять сел на стул. Мне было стыдно и неловко, что я не могу подойти к женщине.

— Ты не можешь?

— Нет, почему, — сказал я, оставаясь на месте. Мне не хотелось ничего делать.

— Ах, черт! — сказала она с досадой. — Я могла бы догадаться. Ты же мальчик. Извини меня, пожалуйста. Извини. Я забыла. Извини.

Она застегнула блузку. Когда я понял, что ничего не состоится, мне стало неинтересно. Но дрожь сразу прошла и спокойная уверенность начала разливаться по телу.

— Нет, почему? — спросил я.

«Неужели я не могу?» — подумал я. Мне стало неловко и стыдно, что я не могу этого сделать не из-за того, что не хочу, а потому что не могу, что я подумал, что я неполноценный, и мне захотелось убежать к чертям и плакать.

— Ты не волнуйся! — сказала она. — С тобой все в порядке.

«Но у нее же нет ног, — опять подумал я. — А как это можно?»

За окном уже стемнело, и она включила свет, подъехав к выключателю.

— Давай еще выпьем! — сказала она.

— Давайте, — печально произнес я.

— Забудь об этом. Все претотлично, мой мужчина!

Она улыбалась и насмешливо смотрела на меня. Мы выпили, потом еще. Я почувствовал, что пьянею.

— Давай я поставлю музыку? — спросила она.

— Ну, хорошо, — сказал я и закурил.

Она завела пластинку.

О, Джоэма!!!

«Где сейчас моя Маша?» — подумал я.

И мне опять захотелось бежать без оглядки, забыв обо всем, ворваться к Маше, броситься перед ней на колени и сказать: «Приди ко мне!..»

А передо мной сидела женщина в кресле-каталке и насмешливо улыбалась.

— Выпей еще, — сказала она.

Я выпил.

— Ты интересуешься всякими журналами с девочками? — спросила она. — Я знаю, ты должен, ты же уже мужчина!

— Ну, так... — сказал я.

Я уже ничего не понимал и ничего не мог оценивать. Она подкатила к какому-то шкафу и достала журнал. Господи боже, что это был за журнал! Все жалкие «Плейбои», которые я смотрел до этого, были ханжеской ерундой по сравнению с этим — чем-то животным и здоровым, грязным, низким и страшно привлекательным.

— Ну что? — спросила меня она.

— Отлично, — пробормотал я.

Каждую фотографию я смотрел по полчаса, запиная коньяком. Наконец я отложил журнал. Мне захотелось делать именно то, что было сфотографировано с таким вкусом.

— Пойду вымою руки, — загадочно сказала она. И уехала в ванную.

Я остался наедине с собой и со своим желанием. Я закурил и выпил еще. Потом встал и, шатаясь, пошел в ванную. Раздавался шум падающей воды.

Я постучал.

— Войдите, — сказал насмешливый голос.

Я вошел. Она сидела ко мне спиной, в юбке и лифчике. Я видел ее лицо в зеркале. Оно бесстрастно улыбалось.

Я подошел к ней сзади, обнял кресло, словно девушку, и обхватил ее. Она обняла меня за шею. Это еще больше распалило меня. Я стал часто дышать и залез под лифчик. Я нащупал ее груди — я никогда до этого не дотрагивался до женской груди — и почувствовал что-то неопишное и странное. Мне всегда казалось, что на самом деле женщина не может этого позволять, что это табу. Но она не сделала ничего и не остановила меня.

«Я щупаю ее груди!» — мысленно прошептал я, подумав, насколько я выше одноклассников.

Она развернула кресло ко мне. Я начал снимать ее лифчик, но она бешено улыбнулась и игриво начала мешать. Мне казалось, что я играю с кошкой.

— Что? — спросил я.

— Пойдем, — сказала она.

Она поехала вперед на кресле. Я шел за ней, ничего не понимая. Передо мной двигался инвалид. Это женщина.

Тут она развернулась, и я увидел, что она без лифчика. словно током ударило меня, и я пошел к ней. Она погасила свет, небрежно дотянувшись голой рукой до выключателя.

В темноте я почувствовал мрачное шуршание. И я понял, что она уже лежит на кровати под одеялом, и лежит абсолютно голая. Рядом валялась ее юбка.

— Иди ко мне, — прошептала она.

Я стал быстро раздеваться, я совсем уже не стеснялся ее, только немного шатался. Поколебавшись, я снял трусы и залез к ней. Она прижала меня к себе, и тут я понял и осознал, что у нее нет ног. Но растущее желание, которое она как можно сильнее во мне возбуждала, подавило странное чувство, которое я испытывал.

И я забыл обо всем, я весь ушел в нее и в наслаждение. Она тоже шумно сипела, показывая свое возбуждение, или делала вид.

— Я люблю тебя, — шептала она мне в ухо.

А я не мог ей ответить ничего, я словно перестал быть человеком и стал простейшим ординарным существом, с одним чувством.

Через целую вечность я отвалился от нее. Я лежал, как бревно, и шумно дышал. Я до конца еще не понимал, что произошло, но я не хотел ничего анализировать и ни о чем думать. Плохо ли, хорошо, я так устал. Ффу... Я стал мужчиной.

Через пять минут я услышал легкое сопение рядом. Она все еще была здесь. Теперь она превратилась для меня в грудку органических соединений. И я почувствовал ненависть к ней. Мне стало муторно. Я вспомнил, что у нее нет ног.

— Спасибо, — сказала она из темноты.

Я молчал. Больше всего мне сейчас хотелось улететь отсюда ко всем чертям со скоростью света. Мне хотелось ее убить.

— Спасибо, — повторила она сухим, серьезным голосом.

Я отвернулся.

Мы лежали молча минут пять.

— Убирайся вон! — сказала она. — Вон отсюда!

Я медленно встал, не глядя на нее, оделся.

Потом меня прорвало. Я посмотрел на колыхающую массу на кровати, которая издавала мерзкий приторный запах и потно дышала, и крикнул:

— Я ненавижу тебя, сволочь! Грязная шлюха!

— Что? — жалобно спросила она.

Я осекся и ничего не сказал.

— У меня будет сын, — сказала она металлическим голосом. — У меня будет сын! — радостно повторила она. — У меня должен быть сын! — крикнула она, молитвенно сложила руки и подняла глаза к небу. — А ты что? — спросила она меня. — Уходи!

— И уйду, — тускло сказал я. — Нужна ты мне! Мало ли потаскух на свете! Тьфу на тебя! — И я устало плюнул.

По дороге наткнулся на ее кресло. Колеса испуганно скрипнули.

Шатаясь, я вышел в коридор, надел куртку и оказался на лестнице с жертвенными ступенями.

Было тихо, и каждый шаг стучал, словно цоканье копыт. Я шатался, мне было так плохо, что показалось, будто я умираю. Захотелось не думать ни о чем, но перед глазами стояла она, издавая противный запах, участливо расстегиваясь. Если бы у меня была сейчас палка, я бы избил ее до полусмерти.

Я вышел на улицу, фонари сияли и отражались в бездонных лужах, как день назад.

Я медленно побрел по улице.

Потом мне стало очень плохо, я подошел к желтой стене ее дома и меня вырвало.

Я долго стоял, изрыгая все, что было во мне мерзкого и грязного, потом успокоенно замер и посмотрел по сторонам.

Люди шли туда-сюда, словно черные тени, спеша домой и куда-нибудь еще. Странное умиротворение охватило меня. Все желания перестали иметь надо мной власть.

Я прислонился спиной к желтой стене и воздел руки, словно был на кресте.

— Свершилось, — облегченно сказал я и, постояв еще минут пять, пошел домой.

ВETERАНЫ ПСИХИЧЕСКИХ ВОЙН

Одна моя родственница, всю жизнь проработавшая на предприятии, разрабатывающем химическое и бактериологическое оружие, рассказывала мне, что тогда в нашей стране, не в пример американцам-добровольцам, офицеров загоняли в какие-то специальные газовые камеры, куда подавалось вместе с воздухом ЛСД. Люди не были предупреждены даже о возможных последствиях такого кайфа; многие потом сошли с ума, тогда ведь никто ничего толком не знал — ни дозы, ни антидотов... И «психоделических гидов» у них тоже не было.

Итак, жертвы *психотронного* химического оружия существуют, хотя я с ними не сталкивался.

Поэтому, когда я все-таки увидел представителей Общества жертв психотронного оружия, мирно стоящих у входа в бывший Комитет защиты мира, я обратился со вполне конкретными вопросами к их главному человеку — председателю московского отделения информационного центра по правам человека, как он себя назвал, Николаю Ивановичу Анисимову.

— Монопольное право на ЛСД имела швейцарская фирма «Хонда», — бодро сказал он мне. — В пятидеся-

тые годы Советский Союз закупил у нее пятьдесят миллионов доз вот этого наркотика ЛСД.

— Почему «Хонда»? — удивился я. — А как же «Сандоз»?

— «Сандоз» я не слышал. «Хонда». На что их пустили — остается только догадываться... Но у нас есть люди, которые работали в оборонной промышленности, они нам сообщили, что их пустили по психбольницам, чтобы управлять психофизической деятельностью человека.

— Я знаю, что у нас были люди, которые вследствие экспериментов с ЛСД сошли с ума. Вы этим занимаетесь?

— Да, естественно, — тут же ответил он и продолжил: — Была дочь Дзержинского, кажется, по фамилии Кельце, она в двадцатые годы занималась воздействием этих веществ... Ну, ЛСД тогда еще не было, на Лубянке использовали обычное воздействие электромагнитных полей, там стоял гипнотизер, он вводил человека в состояние транса, и тот оговаривал самого себя. В тридцатые годы Запад писал, что у СССР есть какое-то оружие воздействия на людей — и это помимо голода, бессонницы, пыток...

— У вас есть информация о жертвах этих экспериментов, с ЛСД, например?

— У нас есть специальная информация о психотронном воздействии на людей. Во-первых, это осуществлялось с помощью вживленных датчиков — это раз.

— Датчиков? — искренне удивился я. — Как же их вживляют?

— Я слышал, — отвечал он, — что есть такие маленькие радиосхемы, которые обыкновенная выборка — игла, которой делают прививки — может легко вживить. Так вот, помимо этого, человек ведь из себя представляет электрическую машину. Мыслит он электрически. И эти поля можно изменять. Вот чем он мыслит, его ауру — вы знаете — ее можно фотографировать, замерять длину эмоций, так называемые квакеры... И эмоцию можно снять, перепрограммировать и опять внедрить в человека. Вот вам уже и управление человеком!

— А кто это делает, экстрасенсы? — почему-то спросил я, фактически не зная, что сказать.

— Я считаю, — так же бодро и совершенно спокойно отвечал он, — что экстрасенсы — просто ретрансляторы технической энергии. Есть люди, одаренные сильной психической энергией, и у них стоят генераторы психотронного воздействия, получается такой биокомпьютер, который может зомбировать людей. Это все началось еще в двадцатых годах, это делал

еще Бехтерев, это даже в печати есть... Бехтерев это делал с помощью радиосети — управлял эмоциями... Человек слушал радиодинамик и...

— А без помощи радио это можно делать? — перебил его я, словно боясь, что он просто не успеет мне поведать все, что может.

— Свободно можно, конечно. Мы все запрограммированы давным-давно. А в семидесятые годы психотронные ретрансляторы, психотронное оружие — можно его так назвать — выведено в космос. В Америке об этом говорилось, а у нас это засекречено.

— Зачем же все это надо? — спросил я, на секунду представив возможный масштаб таких глобальных акций.

— Ну, в прошлые годы это было надо, чтобы создать психически послушное население — и вот все по команде поднимали руки... Я написал об этом книжку «Психотронная Голгофа». А направление нашей организации — защита граждан от психотронного терроризма.

— А как же их защитить?

— Пресечь это очень сложно, — ровным тоном произнес Николай Иванович. — Нужен закон...

— У нас и так полно законов! — воскликнул я.

— Такого закона нет, к сожалению. Психотронное оружие относится к одному из видов, как мы его называем, нелетального оружия. Есть несколько типов...

«Он абсолютно напоминает штатного лектора по гражданской обороне, — подумал я. — Может быть, все это правда?»

— Психотронное оружие, — размеренно продолжал он, — относится к третьему типу нелетального вооружения. Первый тип выводит из строя технику, капитальные сооружения и так далее... Это физические, химические типы оружия — я сейчас не могу сказать... Так вот, по поводу химического оружия есть конвенция, по поводу биологического есть — женеvские, хельсинкские конвенции, а по психотронному и нелетальному — мы еще называем его гуманитарным оружием или гуманитарной бомбой — нет. Как писала «Вашингтон пост», а «Комсомолка» тоже это опубликовала, у американцев существует страх, что мы их опередили в разработке психооружия, которое может блокировать солдат в районах развертывания ядерного оружия — они просто не нажмут на кнопку либо ракета полетит не туда.

— А вы-то считаете, что это — так? — в лоб спросил я.

— Это — так! — торжественно отвечивал он. — Вспомним Лебеда. Лебедь сказал, что такой быстрый

слом советского общества неестествен, когда люди сразу забыли все, что было... Все ценности советского общества. И он сказал, что наше нынешнее общество смоделировано, и давным-давно.

— А много ли людей подвержено такому... психотронному воздействию?

— Я считаю, что все население, — совершенно просто сказал он, будто констатировал, что русский народ принадлежит к европеоидной расе. — И не только в районе психотронных станций, а психотронные станции назвал еще член-корреспондент Секретский, это — Киргизия, Киев, Москва, десять городов, которые собирались бомбить американцы...

— А сколько людей с датчиками? — настаивал я.

— Почему — датчики? — вдруг сказал он, пожал плечами, словно датчики были в самом деле не при чем. — Вы говорите только об одной из технологий, ведь можно управлять людьми без всяких датчиков. Я вам объяснил, что человек представляет собой что-то типа транзисторного приемника или электрической машины... И можно изменять его электромагнитные поля.

— А экстрасенсы? — вспомнил я почему-то опять экстрасенсов.

— Я считаю, что никаких экстрасенсов не существует. Есть просто психически одаренные люди, и если их вооружить...

— А они вооружены? — перебил я его, словно жадный до жареного репортер.

Он замолчал, вопросительно посмотрев на меня, и совершенно спокойно сказал:

— Ну, я считаю, что многие из них работают на психотронных станциях. А сами психотронные технологии основаны, конечно, на оккультных науках, которые развивались на протяжении столетий...

— А какая цель? — спросил я, как дурачок.

— Ну можно же управлять населением!.. — удивленно воскликнул он. — Это же самое страшное оружие.

— И управляют?

— Естественно. Вот Любимов написал в «Совершенно секретно», убрав, правда, психотронику, что нужно было показать народу псевдокапитализм, псевдодемократию, а потом вернуть одураченное население на прежний социалистический путь. Но это сейчас и происходит, между прочим. Только с помощью психотроники. А дело в том, что ЦК КПСС состояло из

кланов — это Горбачев говорил. Был комфашистский клан, который существовал с 17-го года — вы же знаете, что коммунистическая и фашистская идеологии идентичны. Так вот, в семидесятые годы СССР уже не мог участвовать в гонке вооружений из-за огромных затрат, экономика уже не позволяла. И появились большие бреши в «железном занавесе»; информация, как могут нормально жить люди, всюю начала поступать в «империю зла». Нужно было что-то менять в этой стране. И возник план — делать перестройку. Ее делал Горбачев, хотя он делал в основном внутривнутрипартийную перестройку... Но он все равно должен был знать, что для этого применяли психотронику, хотя, конечно же, будет молчать, так как это — преступление века.

— А что, применяли... психотронику? — переспросил я, пытаюсь переварить новый взгляд на историю СССР.

— Конечно. Так вот, нужно было создать класс предпринимателей. Было три варианта. Согласно первому варианту, нужно было показать народу псевдокапитализм и псевдодемократию, потому что разве это настоящий рынок — из карманов людей?..

— Да, — согласился я.

— Так вот, нужно было создать класс предпринимателей — и создали. Из кого? Из спекулянтов, из

разных сволочей, из жуликов и воров. Ну, поднялись они туда. А коммунисты вернулись. Сначала заняли Думу, затем все ключевые посты. И вот первый вариант — вернуться опять на социалистические рельсы. Второй вариант — пойти по пути Китая. А третий вариант, если два первые не проходят — твердо встать на капиталистические рельсы. Не получается. Значит, надо вернуться к старому. Но как? Еще древние говорили, что в одну реку нельзя войти дважды. Значит, мы можем прийти только к самому страшному государственному устройству, название которому — комфашизм.

— Как же тут задействована ваша психотроника? — спросил я, совершенно запутавшись в вариантах и путях.

— Так и задействована, поскольку народ, вместо того, чтобы улучшить эти вот демократические преобразования, рвется сейчас назад. Сейчас проведите опрос по Москве — хотите вернуться к тому, что было? И большинство скажет: «Хотим». Вспомнят хлеб по 16 копеек... Просто третье управление КГБ обрабатывало население через телевизионные приемники.

— А сейчас разве не обрабатывают? — живо воскликнул я, почуяв неожиданную прыть. — А реклама? — Я осекся и подавленно добавил, вопрошая: — Реклама — тоже психотроника?

— Естественно, — тут же отреагировал он. — Это делали и в Америке, и в Японии... Снимали банку «кока-колы» на каждый какой-то там кадр... Потом это запретили. Потому что это воздействие на человека! А когда воздействуют на мозг — гипнотизер, например, в мозгу выделяется серотонин. И когда он выделяется в больших дозах, он убивает клетки мозга.

Я осмотрелся по сторонам. Мы стояли у здания бывшего советского Комитета защиты мира; около нас тусовалась кучка самых разных людей — молодых и старых. Некоторые из них пристально смотрели на нас, пытаясь вслушаться в беседу.

— А кто это стоит? — спросил я Николая Ивановича Анисимова. — Жертвы психотронной войны?

— Тут люди с различными программами, — уклончиво ответил он. — Я вас предупреждаю об этом. Вот он будет вам говорить, что у него в глаза машинки вшиты, но это же — клоунада. Вам надо говорить с людьми, которые компетентны в этом деле!

Очевидно, он имел в виду самого себя.

— Я слышал, что появилось второе Общество жертв психотронного оружия...

— Если вы хотите знать историю этого движения, так вот: в 86-м году мною официально занялся КГБ

за антикоммунистическую агитацию и пропаганду. Я тогда был репрессирован... на немножко. Потом, в 87-м году, ко мне присоединились уже дистанционно. И стали обрабатывать. Вначале мне показали полтергейст и все такое... Все это я видел, все прошел... Я видел такие чудеса, что вы мне не поверите... Это и перевернутые машины — чего только мне не показывали!.. Потом — подключение соседей, подключение людей, любых людей; все, кто вступал со мной в какой-нибудь контакт, подпадали под такое же воздействие, что и я. Они мне продемонстрировали все технологии, но стали говорить, что это делают инопланетяне, хотя если посмотреть мою историю, все следы ведут на Лубянку. Кроме нее, некому; ко мне, например, был подключен агент КГБ, который был зомби. Была публикация в «Московском комсомольце» «Исповедь стукача» в 90-м году, в которой было рассказано, что меня и еще троих политических деятелей Новосибирска хотели уничтожить. Я сам — новосибирец. Меня сюда пригласил профессор Назаров, после конференции СБСЕ, когда было решено включить в Конституцию статью о запрещении каких бы то ни было экспериментов на людях без их согласия. Но опыты как проводились, так и продолжают проводиться. Я мог бы показать вам семь томов нашей деятельности под террором. Там есть фотографии людей в черных рамках, людей, которые занимались составлением документации, теперь они все в земле, включая профессора Назарова, который получил от меня киевские документы о создании оружия психотехники. Я хотел начать работать над за-

конопроектом. Если бы вы знали, как я живу, под каким террором, вы поймете, что это такое — даже не психотронный, а психофизический террор... Он же не действует только на голову, а на весь организм, на все, как говорится, чакры... Это сожженные половые органы, сожженное анальное отверстие, сожженная грудь, сожженные уши...

Я смотрел на Николая Ивановича — интеллигентного, вполне нормального с виду человека в очках, и не мог понять, имеет он в виду себя или же **ВООБЩЕ**.

Я всячески поблагодарил Николая Ивановича Анисимова и обратился к каким-то дедушке с бабушкой, которые стояли рядом и пытались внимательно слушать его и меня:

— А на вас действует психотронное оружие?

— Конечно! — весело улыбаясь, ответил старик. — Лазеры замучили, каждый день...

— Он как сядет в кресло, весь трясется, — бойко поддержала его бабушка. — Руки, ноги... Это все... воздействие!..

К сожалению, все, что мне было и стало известно, это то, что есть оружие *психотронное*, основанное на воздействии различных веществ на мозг. Оно ужас-

но, и оно существует. Что же касается оружия психотронного, все вот это — единственная информация, услышанная мною. И исходила она от очень несчастных или же, наоборот, от счастливых людей. Которым удалось как-то упорядочить свой разум. Которым удалось как-то вписаться в нашу тяжелую жизнь, где как будто нет очевидных врагов.

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

Чистое, не знающее пределов веселье, иссушает ум и сметливость, приводя душу в заблуждение относительно собственной природы.

Задумавшись, Незнайка неторопливо брел по лунной тропке, иногда срывая травинку, чтобы сосать. Его огненно-рыжие волосы сияли под солнцем, голубые глаза были печальны и светлы; с грустью он слушал вздохи радости, доносящиеся отовсюду, и даже блистательное море не могло успокоить роящихся в нем мыслей.

— Эй, друг, пошли, а ну, давай! — услышал он за спиной веселый клич.

Это был Козлик, щеки его были розовыми от восторга, и слюни уже готовы были течь с губ его поглупевшей головы.

— Ну что, брат Козлик... — рассудительно начал ответ Незнайка, — все дело в том, что убогость и тщета всегда присутствовали как в подлунном мире, так и в мире лунном, — в этом я мог убедиться на собственном опыте; и даже не то страшно, что царство Скуперфильдов и Жадингов отторгает духовное человеческое существо от вверенного ему Божьего мироздания,

но печалит меня их глубокая внутренняя правота, ибо мы — всего лишь коротышки, как бы ни жаждали мы чего-то высшего и лучшего; и нет никакой разницы между тобой, Козлик, и Жулио, между мной и Скуперфильдом. Нас привезли на этот Остров дураков с целью превратить в баранов. Так вот, Козлик, мы бараны и есть! И грустно мне все это, поскольку, думаю, что и вся Луна — это тоже Остров дураков, а я пришел из другой страны.

Козлик задумался и сразу посерьезнел.

— Незнайка! Ты тысячу раз прав! — сказал он. — Прости меня, грешного, за то, что я забыл все твои речи и заветы, ибо ты — ученый, Незнайка, и ты знаешь, что я сам записывал твои слова, даже когда ты мне говорил, что я пишу все неверно. Но здесь я усомнился во всем этом, ибо даже Эразм Роттердамский хвалил глупость, и вот видишь — ты сам признаешь, что нет разницы между борьбой и бездеятельностью, между умом и глупостью, между тобой и Скуперфильдом. Но страшно мне от сомнений моих, и я каюсь и прошу тебя простить меня.

— Я не прощаю! — горячо воскликнул Незнайка. — Я сам никто, я здесь только посланник другого мира! Тысячу и тысячу раз повторял я вам — верьте в иное пришествие, ибо великий Знайка должен сойти к вам на Луну и накормить всех голодных своими гигантскими растениями! Я лишь предтеча, и мука ждет

меня, но я сам верю в счастливое будущее всех коротышек на Луне!

Козлик подпрыгнул, и озорство засверкало в его взоре.

— Эх, Незнайка! А есть ли какая-то разница между растениями гигантскими и нормальными?!.. Стоит только захватить власть и убить Жадингов и К°, и мы засеем всю Луну множеством съедобных плодов и красивых цветов! Конечно, я верю в Знайку, но где он? Почему не прилетает? Почему он оставил нас?

Слезы закапали из глаз Незнайки, и он миролюбиво посмотрел в небо.

— Я не знаю, — сказал он. — Может быть, он хочет испытать нас. А может быть, его нет. И вообще, — он рассмеялся, — может быть, стоит действительно плюнуть на все и погрузиться в последнее веселье? Может быть, это — рай, ниспосланный нам Знайкой, а баран есть высшая стадия развития коротышки?

Козлик расцвел, как образец гигантского цветочного растения, и встал, словно ребенок, приобнимая друга за плечо.

— Вперед, товарищ! Вся Луна — безвидна и темна, и нам остается только воспринять все это как есть! Блаженны дураки, ибо у них есть свой остров!

— Верно, дружище! — весело согласился Незнайка. — Единственно, что я знаю, это то, что я ничего не знаю, и, может быть, глупо искать Знайку там, где его нет! Мы будем пить! Неси же вина, дорогой Козлик, зови прекрасных женщин, и мы переселимся в мир иной под чарующие звуки зурны!

Они побежали вперед и вперед, спускаясь с холмов к морю, где обнаженные красавицы и приятные дамы ждали их общества, соблазнительно расположившись на лунном грунте, и музыка гремела повсюду, и вкусные яблоки росли прямо у воды. Словно было воскресенье или просто прекрасный день, лица занимающихся кайфом коротышек были лишены всего неприятного и гневного, и, казалось, что только дурак может вернуться отсюда в страшный ад индустриального города!

Незнайка снял штаны и отбросил их далеко-далеко, как будто кончал со своими комплексами и умствованиями и начинал новую жизнь, возвращаясь в животное неведение добра и зла, которые остались где-то вдали от здешнего счастливого места, по ту сторону Острова дураков. И Козлик тоже ухмылялся и тер ладони, предвкушая неземные радости.

Все было чудесно, и жаль, что Знайки не было с ними, ибо они, наверное, разбили бы его толстые очки, приглашая его душу к соединению с возлюбленными ближними.

В глазах некоей девы Незнайка прочел любовь и уважение к своей особе, и, запечатлев поцелуй на ее томном рте, он занялся любовью с чудесной лунной негритянской, которая рдела на жарком песке, словно Аэлига, убежавшая на необитаемый остров.

Козлик обхаживал двух светских дам, не желающих приступить к приятному единению без предыдущей философической беседы.

— Вы, мадам, — говорил Козлик, откусывая кончик сигары, — хуже понимаете значение теории структур, нежели вы, мадам. Вы сами являетесь этой структурой, так же, как и я, мадам. Связь между нами функциональна, как и между нами, мадам.

Дамы расположились в шезлонгах и целовали у Козлика ручки. Козлик был счастлив и смотрел на горизонт, утверждаясь в мысли, что Луна — кругла, как апельсин.

В это время Незнайка, зайдя в чудный кабачок,пил маленький двойной и размышлял о сущем.

Потом он встал и пошел к Козлику.

— Эй, Козлик! — крикнул он, высматривая друга в методичном покачивании трахающихся на пляже тел.

И спустя какое-то мгновение недовольное личико приподнялось над поверхностью.

— Незнайка, нельзя так обламывать! — сказал ему женский голос, грозя пальчиком. — Козлик сейчас занят, подождите его чуть-чуть.

Незнайка сел на камень, закурил.

Козлик пришел — полуголый и счастливый.

— Это — дама, приятная во всех отношениях! — сообщил он, приобняв друга за талию.

— Я знаю, Козлик, — сказал Незнайка. — Но грустно мне опять почему-то. Ведь мы в клетке, мы здесь, словно обезьяны, зачинающие детенышей на радость людской толпе. Я осмотрел почти всех коротышек, но все они слишком мелкие. Нам нужна власть, понимаешь, Козлик, потому что мы все равны; и несправедливо нам с тобой сейчас кайфовать, в то время как наши братья в городах не имеют никакой работы и ночуют под мостами и на скамейках!..

— Ты прав, конечно, но что же нам делать?

— Мы должны восстать и свергнуть для начала руководство Острова дураков.

— Незнайка, — вкрадчиво произнес Козлик, — но здесь же слишком вредный воздух. Пока мы будем все это делать, мы обязательно превратимся в баранов, а тогда — прощай, великие идеи! Я считаю, что нам

нужно бежать отсюда, бежать во что бы то ни стало, и там — за океаном образовать подпольную партию с целью свержения руководства Острова дураков!

— Нет, брат, — резко сказал Незнайка, — ты это брось. Здесь моя судьба, и я разделю ее с моими ближними. Чем я лучше самого последнего из здешних коротышек?

— Ты — самый умный из нас, — серьезно ответил Козлик.

Они помолчали, думая о чем-то своем.

Потом Козлик крикнул, ударил себя по коленям и сказал:

— А может, ты и прав, черт этакий! Пойдем, пропустим по рюмочке в честь нашей победы!

— Вот это другой разговор, брат! — улыбнулся Незнайка, и они пошли.

Был уже вечер, свет мерк внутри лунной тверди, и где-то вдалеке, наверное, голубела загадочная Земля, на которой росли гигантские растения.

В баре им налили виски, и Козлик хватанул стакан, не закусывая. Незнайка попросил содовой и медленно потягивал напиток, не в состоянии избавиться от

тревожных настроений. Они пьянели, чувствуя недоступность своих задач.

Незнайка вдруг ударил по столу кулаком, словно готовый сопротивляться до последнего.

— Козлик... — мучительно произнес он. — Пошло все к черту... Где эти... бабы... как их там...

— Успокойся, брат, я сейчас, — сказал Козлик, что-то шепнув бармену.

— Козлик... — повторил Незнайка, оседая на стол. — Где эти тупые голые тела... этих ярких женщин...

— Не волнуйся, друг, все в порядке, ты лучше поспи, — озабоченно тараторил Козлик, выпивая стакан водки.

— Козлик... — опять повторил Незнайка, потом крикнул что-то очень громкое и рухнул на пол, извиваясь в судорогах, словно готовился стать матерью.

— Что с тобой? — спросил его Козлик, наклоняясь.

Но Незнайка, ударяясь головой о пол бара, уже ничего не мог слышать; он дергался и кривлялся, точно больной, закрыл глаза, словно возбужденная женщина, и повторял онемелым языком только одно членораздельное слово — «бараны» — совсем как Распутин в фильме Элема Климова.

— Оставьте его, — улыбнулся бармен. — Не видите разве, что он уже шерстяной?

— Нет! — вскричал Козлик, отступив. — Только не он... Ты видишь? — сказал он, подняв глаза кверху. — Ты слышишь? И ничего не сделаешь? Так будь же проклят!

Он бережно погладил уже вполне баранью мордочку Незнайки и вышел из бара, ни на кого не оглядываясь.

Позже, жарясь в виде шашлыка к столу Скуперфильда, Незнайка так и не знал, где же есть его бессмертная душа, и вошла ли она в иную реальность.

Рассвет погружал всю Луну в радостное сияние надежды, но все было тщетно и бессмысленно в этом забытом всеми подземном мире.

Знайка был в Солнечном городе.

ЦАРЬ ДОБР

1. Уроки истории

В середине XXI века православной эры (у них, кажется, это называется третьей декадой Пепси-Хиджры) Земная Россия стонала, раздираемая конфликтами Полного пиздеца — так один журналист тогда метко охарактеризовал страшный кризис, окончательно разрушивший жизнь великой страны.

Дальний Восток и Сибирь заселили китайцы, практически изгнав плохо размножавшихся русских с обжитых мест и перемешавшись с якутами и прочими северными монголоидами. В конце концов Пекин заявил о создании Новой Поднебесной империи, которая заняла пол-Азии и рвалась дальше на Запад, за Урал. Но там ее сдерживала Татаро-Башкирская орда, подчинившая огромную территорию, включающую Поволжье и даже треть Костромской области. Только Республика Мария оставалась последним русским бастионом среди расплодившихся тюрков, но тамошнее коренное население буквально выживало славян, не брезгуя любыми средствами, включая даже строительство концлагеря Кацапий Освенцим.

Куда было деваться русскому человеку?! С севера угрожали пробудившиеся после долгого историческо-

го сна скандинавы, почти без боя взявшие некогда грозный Санкт-Петербург, жители которого будто и не заметили перемены власти. Отряды финнов двигались к Москве, объявив ее своей прародиной и поставив цель «выгнать туземцев обратно в днепровские степи», но там процветали воинственные украинцы, которые вместе с поляками медленно, но верно покоряли и заселяли западные территории. Юг, после окончания Третьей Чеченской войны и победы в ней Объединенных сил Кавказа, колонизовался Турцией, а она, будучи членом НАТО, совершенно не препятствовала повсеместному созданию в Краснодарском и Ставропольском краях бесчисленных миротворческих баз, сводящих на нет начавшееся было казачье сопротивление. Ивановская область пока еще не ощутила на себе гнет чужеземцев, поскольку про нее просто забыли, и в Кремле оставалось русское правительство, с которым все заинтересованные стороны вели бесконечные переговоры.

Когда же передовой финский отряд под предводительством жестокого Юкки Маллинена занял район метро «Сокол» и выдвинулся к «Аэропорту», администрация Президента поняла: надо что-то делать, иначе все, полный пиздец. Россия исчезнет с лица Земли.

Взять штурмом Кремль для той эпохи было крайне просто, но там, по данным всех разведок, могла оставаться мощная водородная бомба, о которой постоянно как о последнем и главном аргументе заявлял в

пространных речах пресс-секретарь Президента; да и сам Президент, когда его иногда показывали по телевизору, хмурил старческий взор, бывший в молодости стальным и надменным, и как-нибудь намекал, что, мол, рано вы празднуете победу, поскольку, если мы захотим, сможем все взорвать — и себя, и вас. А поскольку нам по хую, вам придется с нами считаться.

И тогда государственный секретарь США Максуд Аль-Макдональд озвучил свой безумный план.

2. Американцы, папы и конец Израиля

Этот план, названный впоследствии Великим американским предложением, заключался в следующем: эвакуировать русских и вообще Россию на Марс.

Когда Аль-Макдональд впервые сказал это публично, подавляющее большинство людей во всех странах сочло, что он свихнулся. Но это, увы, было не так. Тайные переговоры шли давно, просто ни журналисты, ни обыватели об этом совершенно не догадывались. Да и кто мог бы даже представить такое, о, мой православный Бог?!

Дело в том, что Америка в середине печального XXI века п.э. продолжала оставаться мощнейшей сверхдержавой. После бесплодной войны с арабами, которая все никак не могла закончиться, наступило,

как это назвали в истории, Великое замирение Креста и Полумесяца — был подписан Пакт дружбы и солидарности; Аллах отныне стал Богом-Отцом (кем Он, собственно, всегда и являлся), а Его Сын Иса (Иисус Христос) остался Сыном Бога, как и было, однако Он стал и Отцом Пророка (Мухаммеда) — в этом заключался компромисс. Святой Дух стал исходить из Каабы в Мекке, но, как Ему свойственно, дышал и жил, где хотел. Троица зазвучала так: Аллах, Иса-Сын и Дух Пророка Святой; «аминь» остался; духовенство внесло некоторые коррективы в свои одежды, языки молитв признавались все, но предпочитались английский и арабский, а церкви и мечети повсюду увенчались крестом, обрамленным справа полумесяцем. Папа Римский сохранился, но его власть еще более поубавилась: единственное, что ему удалось отспорить, так это само свое наименование, правда, он назывался отныне Папою Всех Муфтиев Рима. Наступили мир и благоденствие; две религии, еще недавно схватившиеся в смертельной битве, плавно сливались воедино, теологическая мысль переживала бурнейший расцвет, а недовольны были только ортодоксы, которые оказались в поразительном меньшинстве, потому что к середине XXI века п.э. (третьей декады Пепси-Хиджры) верующих всерьез практически не осталось. Так что американцы и арабы, забыв распри, в результате настолько проросли друг в друга, что зачастую их называли в остальном мире СШАА — Соединенные Штаты Америки и Аравии.

Вот так случилось к моменту наименее трагичнейших для нашей великой Родины событий, когда госсекретарь Аль-Макдональд выдвинул свой чудовищный проект.

Когда я думаю обо всем этом, я негодую и недоумеваю: как это все могло произойти? Куда, наконец, смотрели евреи, а?! Как же Израиль, который всегда был яблоком раздора, который не давал двум мирам сойтись в дружбе и унаследовать всю Землю?! Ну, не всю, ну... Китай тут ни при чем, там — свои дела, с ним тоже можно договориться. И ведь договорились... Но вернемся к евреям, поскольку именно этот ключевой, поворотный момент русской истории я всегда обсуждал со своим отцом, от которого, собственно, все это и узнал.

Папа, когда я подросток, любил распить со мной на тесной кухне бутылку оранжерейной водки «Гагарин» из пшеничной соломы и поговорить о жизни, затрагивая вечные вопросы: кто мы? откуда мы? и какого хуя мы тут, на Марсе, очутились?

— Да как это могло быть!.. — кипятился я. — У Израиля была атомная бомба!!! В Америке существовало сильнейшее еврейское лобби!!! Да и как они вообще могли... После взрывов, после всего... А Холокост?!! А... Крестовые походы?!!

— Ты мыслишь категориями XX века, сын, — меланхолично замечал папа, отпивая глоток. — А мы с

тобой говорим о середине ХХI!.. В ХХ еще была это... культура, литература... Идеалы, наконец! Люди читали книжки, думали... Понимаешь?.. Потом это постепенно начало поглощаться... как это тогда называлось... попсой. Общий уровень культуры и, соответственно, человечества снижался, снижался, снижался... Люди деградировали; никто уже ничего не знал, не помнил, и самое главное, ничем не интересовался, кроме личных событий своей жизни. Знания люди черпали из американских фильмов, понимание насущных проблем — из теленовостей, которые становились все более примитивными. Так вот и пришли к интеллектуальному уровню трехлетнего ребенка, на этом все же остановились, видимо, сработал инстинкт самосохранения, а то бы наш вид сменили какие-нибудь собаки. Зато получили все, присущее этому возрасту: доверчивость, невежество, самолюбование и глупость. Вот таково было большинство людей в то время. Тебе кажется диким слияние христианства и ислама? Но тогда подавляющее число и христиан, и мусульман на самом деле ничего не знали ни о Христе, ни о Мухаммеде, а просто ходили в кино, смотрели телевизор и читали иллюстрированные журналы. А там им сняли парочку-другую «исторических» фильмов — и глядишь, получается, что никакой новой религии и нету, а всегда была только такая. Понял?..

— Но у них же была атомная бомба!!! У евреев была... бомба!!! — кричал я, напившись.

Папа всегда игнорировал еврейский вопрос, но в тот раз он ответил.

— Они верили в Бога, — тихо сказал он.

— Ну и что?! — Я не понял, как это может согласоваться со всем тем, что он сказал до этого.

— Ну, смотри... — серьезно проговорил отец. — Ты можешь погибнуть, своим самоубийством погубив врагов, а можешь выжить, затаиться на время, а потом опять... возродиться, идти опять к своей цели... Кто это решает?

— Я, — брякнул я.

— А если у тебя есть Бог?! Если у тебя есть... владыка?!

— Тогда Он, наверное, — отреагировал я. — Но откуда они... откуда я узнаю, каков Он... и чего Он хочет... и вообще?!!

— А разве ты не знаешь, каков Он?! — спросил отец и улыбнулся.

— А ты?

— Я могу уповать, — почему-то вдохновенно произнес отец и грозно посмотрел на меня, показав всем своим видом, что разговор окончен.

И все же, я думаю, Израилю еще повезло: народ, несмотря ни на что, сохранился на планете, и Святая Земля существовала, и Иерусалим; а вот что касается нас, русских, и России...

О, мой православный Бог!

3. Небесная Россия

Я всегда любил разыгрывать главную сцену нашего национального позора в лицах. Стоит зажмуриться, я прямо-таки вижу, как все произошло на самом деле, и слышу мерзкие голоса, торгующие моей Родиной.

Вот Кремль, а в нем закрылся в далеком кабинете наш Президент, хмуро посматривающий в окно, где за зубчатой стеной отныне начинался новый, чужой мир. Запасов продовольствия и воды было достаточно, но и они когда-нибудь кончатся; водородная бомба в самом деле существовала — и что?.. Взрывать всех этих гадов и... себя?! Неужели нету никакого выхода?

Вот, после бесчисленных переговоров и согласований, на вертолете на Соборную площадь приземляется американский президент Даглас Дак, или, как его звали, Даг Дак, или просто Дак. Американец прибыл, увешанный взрывчаткой и в респираторе; если его попытаются взять в плен или убить, он будет взорван по радио. Его костюм напичкан сенсорами и видеокаме-

рами — ЦРУ внимательно следит у мониторов за происходящим.

Тайная встреча в верхах начинается.

Беседа происходит по-русски — таково условие; в костюме Дака вмонтирован компьютерный переводчик, который практически одновременно с его английской речью выдает русский перевод низким, бесчеловечным тоном безжалостного киборга. Иногда компьютер тормозит; тогда вмешивается ангельский женский голосок — это Моника Гуччи, переводчик из Госдепартамента, приходит на помощь своему Президенту.

Дак располагается в кресле, кивает и приступает сразу к делу.

ДАК. Мы можем буквально через пять лет запустить девяносто девять космических кораблей, на борту которых будут по девяносто девять отборных русских пар — мужчин и женщин... Каждый сможет выбрать жену; командиру полагаются две. Корабли достигнут поверхности Марса через два года, топлива хватит только на путешествие в один конец. Таким образом...

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Стоп! Стоп!!! Подождите, мы еще ни о чем не договорились... Я не понимаю прежде всего... зачем вообще нужна такая... ху... в общем, вот это?! Там же получается... сколько...

ДАК (*женским голосом*). Девять тысяч восемьсот один человек!

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Ну, еб... Пардон. А нас — сто миллионов! Нас тьмы, и тьмы, и тьмы...

ДАК. Мы не имеем в виду эвакуацию всего русского населения... Мы не хотели... спасти всех русских! Мы хотели... спасти... Россию! Россия — слишком ценная вещь, чтобы просто так сгинуть... Как, скажем, Израиль... А ваши миллионы, это — рассеявшееся по всему миру, почти ассимилировавшееся, как вы называете... (*женским голосом*) быдло! (*Тоном киборга.*) Часть — в Китайской империи, большая часть — среди татар; в Средней России (Южной Финляндии), кстати, почти все повымерли. Десять, двадцать, тридцать, сто, наконец лет... Ну, и... Фьюить! (*Женщина свистит.*) Не услышишь русской речи! Вот в чем... проблема-то!

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Ну и отстаньте тогда от нас!.. Если вы так печетесь о России... Ценная вещь! Что вы к нам привязались?! Что мы вам сделали?! Вот возьмите да и уйдите... отовсюду... А мы тут уж как-нибудь здесь... Проживем.

ДАК (*сурово*). Не можем. Вы нам — как кость в горле. Всем, всему миру! Вы же видите, что происходит? Люди повсюду устали воевать, им надоело спорить, ссориться... Человечество хочет жить, и хочет жить хорошо! Впервые за всю нашу кровавую историю мы

всерьез начали договариваться и делиться друг с другом... Великие принципы всех религий наконец осуществляются! Мы с арабами, Китай и Япония, Африка и Южная Америка подтягиваются, Европа... этот замшелый заповедник... Европа, впрочем, не в счет, это — большой музей, который принадлежит всем... Но вы нам не нужны! Вы не нужны нашей планете, вы не нужны никому! Просто так получилось — вы же видите?.. Лично я против вас ничего не имею, да и никто, наверное. Более того, подавляющее число вашего народа нормально растворяется в новой цивилизации, которая, в отличие от всех других, создается на основе любви и процветания... Земля — наш дом, и отныне мы хотим жить в мире и согласии. Ну, а для России как таковой... просто не нашлось места! Извините, конечно, но что мы можем сделать?! Вот мы и предлагаем...

НАШ ПРЕЗИДЕНТ (*кричит в запальчивости*). Никогда!!! Ни за что!!! Мы — сами по себе! Мы — Россия!!! Великая Россия!!! И наше место...

ДАК. Правильно, на небесах! Вот мы вам и предлагаем...

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Да что за ху...

ДАК. У вас же писатель сказал: подлец-человек ко всему привыкает! Конечно, под человеком он имел в виду русского. Да вы где угодно выживете! Да лучших

людей для колонизации далеких планет... в частности, Марса... просто не найти!

НАШ ПРЕЗИДЕНТ (*гордо*). Так точно!

ДАК. Ну вот...

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Что — ну вот? Пошлите наших людей на Марс, хорошо... Но оставьте нам Россию!

ДАК. Так Россия там и будет! Настоящая, Небесная Россия, о которой грезили все русские!!! Смотрите — мы отберем самых лучших, здоровых, сильных, умных русских мужчин и русских женщин... Без них здесь нет будущего. Но здесь у вас и так его нет!!! Оно там, наверху, в небе, на Марсе! Вы станете авангардом человечества... Вы будете первыми... И вообще, подумайте: вам же отдается целая планета во владение!

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Там же нечем дышать! Там же... холодно!

ДАК. Ну, и у вас холодно — не привыкать... А дышать... Вы знаете, что наш марсоход нашел на Марсе воду? И мы сконструировали такой агрегат... Короче, он будет давать вам кислород. А там обживетесь, приспособитесь... Как писал ваш поэт... (*Женским голосом.*) Будут... яблони... цвести! Вы везде выживете — уж я-то точно знаю! И проложите путь... остальным!

НАШ ПРЕЗИДЕНТ (*мрачно*). Это через триста миллионов лет, что ли, вы к нам присоединитесь?

ДАК. Да раньше! Я уверен, что раньше!

Напряженная пауза.

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. И что — больше ничего нельзя сделать?

ДАК. Ничего... (*женским голосом*) э-э-э-э... ни... хуя... (*Строго.*) Мы все обо всем договорились. Азия дает рабочих, Африка — место для запуска, арабы — энергоресурс, мы — технологии, ну, и доллары, конечно... Без долларов же как?

НАШ ПРЕЗИДЕНТ (*тихо*). Тут есть один момент.

ДАК. Да, я знал, что мы дойдем и до этого. Русский царь всегда почитал свою жизнь важнее всех других... Извините. Что вы хотите для себя?

НАШ ПРЕЗИДЕНТ (*волнуясь*). Я сейчас отключил связь, точнее, создал помехи, есть только несколько секунд... Домик... в Венеции... В Небесном Петербурге... Всю жизнь хотел... Ну, и деньги...

ДАК. А вас не убьют?

НАШ ПРЕЗИДЕНТ. Ну, у вас же есть там... как она... программа защиты свидетелей... Пластическая операция там... Вот.

ДАК. Понял. Сделаем. Ну? По рукам?!

Вот так наш Президент за обеспеченную старость у Венецианской лагуны продал Родину. Об этом, конечно, узнали, но его так и не нашли. Может быть, Венеция прозвучала тогда для отвода глаз (кто-то ведь разобрал этот гнусный диалог в помехах), а он, гад, остался где-нибудь в Подмосковье за высоким забором, чтобы не видеть финские рожи, и умер в России, которую безжалостно предал. Его имя было проклято нашим народом; под страхом смерти запрещалось его упоминать, и теперь оно нам неизвестно.

О, мой православный Бог! Почему в такую суровую годину ты ниспослал управлять нами столь ничтожного человека?!!

Однако дело было сделано. Кремль был сдан врагу (Юкке Маллинену), Президент исчез, и уже через четыре года на Марс полетел первый корабль с двумя разведчиками — Акакием и Прокопием. Никто не знает, что в точности с ними произошло, обломки корабля нашли через семьдесят лет. Сохранились и мощи космонавтов; на этом месте теперь стоит церковь, названная в их честь, а сами Акакий и Прокопий канонизированы и признаны великомучениками.

Отбор переселенцев осуществляла международная комиссия во главе с упоминавшимся госсекретарем США Максудом Аль-Макдональдом. Никто, конечно, не

хотел никуда улетать, но с беднягами не церемонились — загнали, как скот, в корабли, усыпили, погрузив в недавно открытый наукой анабиоз, и дали старт. Когда все проснулись, было уже поздно. Радиоуправляемые корабли уверенно приближались к Марсу.

И практически все они долетели. Так началась история Небесной России — гнусное издевательство над вековой мечтой нашего многострадального народа.

Но поскольку мы выжили, мы обязаны вернуться.

Вернуться и отомстить!

4. Жизнь на Марсе

Меня зовут Иван Жуев. Я родился и вырос в местечке Грязновка — рядом с Большим Каналом, как эту унылую пустошь меж двух горных хребтов называли древние астрономы, когда смотрели на Марс в телескоп. Недалеко от нас располагались две деревни — Большая и Малая Кузя, а дальше, на протяжении двухсот верст, до губернского центра Новосвердловск, не было ничего — только красные горы, камни, жестокие ветры и мрачное инопланетное захолустье, охватывающее редкого путника, возжелавшего стать призраком, чувством абсолютной заброшенности и совершенного одиночества. По крайней мере, мне так

кажется — откуда я знаю, что ощущают призраки, да и есть ли они вообще?

Прошло почти сто пятьдесят лет после нашего позорного изгнания. Первое время, примерно каждые два года, приходила гуманитарная помощь — с неба сбрасывались спускаемые аппараты, наполненные разной ерундой. Там были и замороженные американские гамбургеры, и инструменты для поддержания наших кислородных агрегатов, какая-то одежда, крупы, рации и семена, среди которых были и яблочные семечки, что всеми воспринималось как издевательство. И никакой водки!

В первые пять-десять лет восемьдесят процентов долетевших до Марса русских умерло по тем или иным причинам; остались самые крепкие и негибкие. Среди выживших особенным авторитетом пользовался некто Козлов — убийца-рецидивист, отсидевший на Земле десять лет из пожизненного заключения и бывший, кажется, чуть ли не единственным, кто прилетел сюда по собственному желанию. Козлов проявил тогда недюжинный талант организатора, пресек панику, распределил очередную гуманитарную помощь, создал что-то типа войска из своих приспешников, наладил работу первого кислородного агрегата, поставленного у большого ледяного месторождения воды, и основал первый марсианский русский город — Ленинград, ставший столицей. Как ни странно, уцелев-

шие люди поверили ему, хотя за мельчайшую провинность он мог безжалостно казнить любого.

Таким образом, Козлов официально венчался на царство и стал царем русского Марса — Григорием Первым. Разве русские могут жить без царя, о, мой православный Бог?

Ленинград был построен из марсианского камня и остатков космических кораблей, на которых наш народ прибыл в это ужасное изгнание. На дворец царя пошло целых пять кораблей; говорили, что там внутри есть настоящий пруд с теплой голубовато-зеленой водой, обсыпанный грунтом, на котором каким-то непостижимым образом удалось вырастить карликовую березу. Рассказывали, что все свои решения Григорий принимает, плавая в пруду, и эта традиция затем перешла к его сыну, внуку, правнуку и так далее. Сейчас нами правит Григорий Шестой (Козлов), но кроме придворных и некоторых важных лиц планеты, никто его в глаза не видел — телевидения и газет у нас так и не возникло. Однако есть радио, сооруженное из раций, по которому мы ежедневно слушаем патриотические передачи об успехах нашей жизни на Марсе, об особой миссии России и о блистательном будущем, которое нас ждет.

Последняя гуманитарная помощь пришла с официальной бумагой на бланке ООН. Там было написано всего два слова: «Fuck off!!!» Стало ясно, что поддержки

больше не будет; и в самом деле, с Земли мы более не получали ничего — ни корабля, ни весточки; и радиоэфир молчит, как ни пытались мы его наладить, так что мы вообще не знаем, что там сейчас происходит.

Григорий Первый, пересчитав остающуюся в живых кучку поселенцев, поделил их на разнополюе пары, наказал тех, кто впал в уныние и неверие (ленинградская тюрьма была построена чуть ли не раньше дворца), и объявил свой указ: «Плодитесь и размножайтесь!» Отцу первого же рожденного ребенка он пообещал в качестве премии бутылку водки. Через девять месяцев родилось тридцать два младенца. Столько водки у Григория не было; он поплавал в пруду, и его осенило.

На главной площади, куда все пришли в скафандрах, он сказал народу:

— Я раздам всю водку, которую тайно вывез с Земли... Но так мы не решим нашу проблему. Нам нужны оранжереи, чтобы выращивать пшеницу и рожь! Нам нужны самогонные аппараты, а значит, надо искать металл... Нам нужно производство — и химическое тоже, поскольку нам потребуются и дрожжи! Так что — никто нам не поможет, если мы сами себе не поможем! Сегодня — выходной, пусть все пьют и гуляют, а уже завтра... за работу, товарищи! Вперед! Мы будем строить, будем трудиться... в поте лица... И получим вожделенную награду — то, без чего немыслим рус-

ский народ, куда бы его ни заслала жестокая судьба!
У нас будет водка, много, много водки!!!

Григорий выставил двадцать бутылок, которые были немедленно распиты, а на следующий день началась новая эра самоотверженного труда и подвигов. Все понимали, что быстро ничего не делается, но говорили своим подрастающим детям: «Уже твое поколение застанет прекрасное время, когда водки будет — хоть залейся!»

Только один человек — некто Ковалев — осмелился перечить Григорию. На очередном воскресном молебне, в наскоро построенной из космических обломков церкви, он вышел вперед и поднял руку.

— Наша цель несправедлива! — выпалил Ковалев. — Нас выгнали с Земли, потому что мы как нация полностью спились, и теперь вы хотите опять, опять, опять...

Народ неодобрительно зашумел.

— Чем ты недоволен, а?! — прищурился царь. — Тем, что тебе жены не досталось? Или ты язвенник-резвенник?

Народ рассмеялся.

— Не можешь жить сам, не мешай жить другим! Ты смотри, что происходит! Мы построили оранжереи,

посадили семена, скоро получим первый урожай, будем есть настоящий хлеб, а не это замерзшее американское говно, и пить не эту... кока-колу... а водку! И первый завод у нас заработал, и железную руду, кажется, нашли — там, на востоке... Что тебе не нравится?

— Надо не руду искать, а... нефть!!! — волнуясь, воскликнул Ковалев. — Если мы тут обживемся, мы сдадимся! И сопьемся! Мы должны... восстановить корабли... и вернуться!!! Вернуть Землю, вернуть Россию! Вот наша цель, а не водка!!!

— И как же ты без водки вернешь Россию? — спросил тогда Григорий Первый.

Народ захлопал в ладоши.

— Тьфу на вас! — срываясь на фальцет, крикнул Ковалев. — Рабья... нация! Так вас и отсюда... высылать! В... безвоздушное... пространство...

Все зашумели, окружили Ковалева; кто-то успел врезать ему в челюсть, прежде чем Григорий грозно рявкнул:

— Стойте!!!

Народ замер.

— Не будем его убивать. Он хочет найти нефть — пусть ищет нефть, пусть ищет. Мы дадим ему немного воздуха и воды, а дальше... пусть сам как-нибудь.

— Я... Я... — испуганно залепетал Ковалев.

— Вон отсюда, изменник!

Толпа подтолкнула его к выходу, он еле успел надеть скафандр.

— И если тебя кто-то увидит среди нас, любой имеет право тебя убить! Я сказал! — торжественно объявил царь.

Народ возликовал; Ковалева вытолкали вшащей.

О, мой православный Бог! Как же я его понимаю! Я ничего не имею против водки; более того, в каком-то смысле она явилась тогда главной причиной нашего здесь выживания и обустройства, но все же... Настоящая цель действительно заключается в том, что мы должны найти горючее, построить корабль... Да что строить? Все же знают, что один из тех самых кораблей остался целым до сих пор; его хранят на всякий случай в тайном ангаре где-то рядом с царским дворцом, а вокруг — караул головорезов, держащих пальцы на спусковых крючках арбалетов, ибо огнестрельное оружие так и не удалось изготовить, и они готовы застрелить любого, кто подступит...

А Ковалев невольно превратился в первого призрака. Многие потом его видели, хотя остальные им не верили, утверждая, что выжить на Марсе без кислорода и воды невозможно. Говорили, что он нашел ледяную глыбу, как-то ее грел и пил, но чем он дышал и почему не замерз, было непонятно. Говорили также, что он появлялся в сумерках — почти голый, в набедренной повязке; на губах сияла страшная, загадочная улыбка, а кожа стала синего-синего цвета, словно толща Северного океана.

Впрочем, может быть, это все полное вранье, но, тем не менее, слухи дали начало обществу — «Уйти, чтобы остаться»; многие потом мужчины и женщины, не найдя себя в марсианской жизни, как-то не вписавшись в реальность или по убеждению, уходили в призраки. Остались они живы и превратились в такие синие существа либо сразу умирали, нам неизвестно. Во всяком случае, никаких трупов найдено не было.

И хотя я, положа руку на сердце, ни в каких призраков всерьез не верю, одно понял точно, когда узнал от отца всю эту историю. Мы пойдем другим путем! Не таким путем надо идти! Нужен тайный заговор... Нужно захватить корабль, а там уж... Лететь назад, любым способом, в любом количестве, как угодно! Вернуть себе истинную Родину, а не приспособлять душу, дух и даже тело к этой красной холодной тюрьме

ме! Вот моя цель, цель жизни Ивана Жуева. И за это я готов отдать, о, мой православный Бог, и собственную жизнь и, если потребуется, жизни всех существ, если они встанут у меня на пути!

5. Моя борьба

В детстве я был хилым и низкорослым, боялся соседских мальчишек постарше, почти ни с кем не дружил, редко выходил гулять на пустынные просторы нелюдимой каменистой красноты, ненавидел скафандр и почти все время проводил за чтением немногочисленных книжек по истории человечества и России, что были в библиотеке отца, доставшейся ему от предка-первопоселенца.

Мой отец Фрол Жуев работал на фабрике, где выплавлялось мутное марсианское стекло, из которого потом делали бутылки для водки, стекло для окон, рюмки и прочие необходимые вещи. Все производилось вручную; часто кислородный агрегат ломался или возникал пожар, а бывало, что потолок и стены ни с того ни с сего обваливались — жертв бывало много: по десять-пятнадцать человек в год гибли либо становились калеками.

Утро начиналось, когда фабричный дневальный обрушивал одну специально оборудованную каменную плиту на другую; раздавался грохот, кое-как раз-

носящийся в разреженной атмосфере по окрестностям. В общем, некий отдаленный стук был слышен, и рабочие пробуждались и нехотя вставали. Моя мать обычно к этому времени уже была на ногах и готовила завтрак — кашу из пшеничной шелухи и кипяток, куда добавлялась вместо сахара кисло-горькая таблетка с витаминами. Таблеток нам наслали в виде гуманитарной помощи, наверное, на тысячу лет вперед — может быть, именно из-за них население наше не только не вымерло, но еще и приумножилось.

Отец был стеклодувом: он умел изготавливать милые каждому русскому сердцу почти прозрачные бутылки, которые потом, на спиртовом заводе заливались вождеденной водкой. За особое мастерство ему выдавали каждую пятницу лишнюю бутылку — к двум, которые полагались всем. Обычно с мамой они выпивали эти три бутылки пятничным вечером, после работы, потом надевали скафандры и шли гулять возле дома, может быть, воображая, что вокруг — восхитительная майская ночь в средней полосе России, цветет сирень, стрекочут сверчки, пахнет уже летним теплом, и под каждым кустом их ждет мягкая зеленая трава, на которую они, поцеловавшись, рухнут, скидывая легкую одежду и обнимаясь, и соединятся в порыве страстной весенней любви в блеклом лунном сиянии...

Когда я совсем подросток, я заменил маму — она практически перестала выпивать, ограничиваясь одной

рюмкой, а я, пойдя в шестнадцать лет на фабрику, присовокупил тем самым к отцовским трем еще свои две бутылки, так что мы с папой могли нормально напиваться и общаться целые выходные. И это были, наверное, лучшие дни моей жизни — еженедельные островки счастья, полные любви, надежд и упований. И, конечно, бесконечных споров о судьбе нашей Родины, которую мы потеряли.

Школы у нас не было, и на всей планете дети выросли просто так, ничего не зная о прошлом и практически ничего не желая в будущем, поскольку оно у всех, в общем, было одинаковым: фабрика, или завод, или какой-нибудь рудный карьер, водка, женитьба и бесконечная борьба за существование в бесчеловечных условиях.

Все мои сверстники до того, как пойти на работу, гуляли по гористой марсианской пустоте днями напролет, ухитряясь даже играть во что-то наподобие футбола, найдя более-менее округлый камешек и построив каменные ворота. Но мне все это было неинтересно: я читал книги, общался с папой и хотел все узнать и все понять.

У меня был только один друг, с которым я иногда гулял и разговаривал. Его звали Володя Турищев, и он, в отличие от меня, был рослым, сильным и веселым парнем.

Когда мы беседовали с Володей, гуляя по дорожкам среди скал, забираясь на какие-то остроконечные пригорки, рискуя порвать скафандр, играя в войну или в покорение индейцев, которые, как нам представлялось, засели тут повсюду, сжимая натянутые луки, Володя совершенно меня не понимал и лишь отшучивался, переводя разговор на что-то обыденное и очевидное. Я выходил из себя, я начинал кричать — но все было тщетно; мы шли рядом, перекидываясь словами, как двое глухих, существующих в разных мирах, неожиданно сошедшихся в этой точке пространства.

— Разве ты не хочешь в Россию — нашу Родину? Разве тебе не снятся березы, запах снега, золотая осень, старый дуб в древнем парке, погосты, церквимаковки, балалайки, наконец?.. — восклицал я.

— Я этого не знаю, — весело отвечал он и махал рукой. В моих наушниках возник какой-то писк, который потом тут же стих, словно его прогнал бодрый Володин голос. — Вот мы идем, вот — Марс, здесь я родился, здесь мой дом, мои родители... здесь, наконец... мой царь! А твоя береза для меня существует еще меньше, чем те индейцы, которых мы сейчас завоевываем... Я могу поверить, что вон там, за той скалой, притаился вождь краснокожих, хотя знаю, что все это — игра, несерьезно...

— Между прочим, про индейцев тебе рассказал именно я, потому что прочел об этом в книжке! А мо-

жет, я соврал?! В любом случае — почему ты веришь в индейцев, а не в Россию?!

— Мне все равно, — безразлично говорил Володя. — Давай играть в Россию.

— Давай!!!

Это была моя любимая игра; глаза мои наливались слезами, когда я начинал почти полностью верить, например, в то, что я — древний русич, стоящий у бойницы стены родного Пскова или Козельска, и сжимающий сосуд с расплавленной смолой, чтобы вылить ее на мерзкую узкоглазую рожу пришедшего на нашу Землю с мечом врага! Врагом был Володя, который обычно, получив отпор, кричал, падая со скалы, и бился в конвульсиях. Тут я выбегал из укрытия и длинным камешком как бы поражал его в сердце, произнося сокровенные слова: «Кто на нас с мечом пойдет...» И так далее.

Разновидностей игры в Россию было много: иногда я был Сталиным, а Володя — немецко-фашистским оккупантом, и тогда я брал Рейхстаг, а его расстреливал из автомата Калашникова (продолговатого каменного обломка); порой я становился Кутузовым и весело забавлялся, глядя на то, как Турищев-Наполеон мерз в Московском Кремле; а однажды я даже объявил себя генералом Ермоловым и ввел в столицу поверженного Володю-Шамиля, который рухнул на колени, войдя в

игровой раж, и взмолился: «Не казни мене, русский цар! Ты же добр, ты ж лучший цар в Поднебесье!»

Я задумался и гордо произнес:

— О, да! Я добр, потому что велик! Я — самый великий, поскольку Россия — самая великая держава Вселенной. Живи, басурманин, и расскажи об этом всякой твари по всем уголкам Галактики! И всегда помни...

Тут Турищев встал и засмеялся.

— А давай играть... в конец. В погибель Русской земли! Я буду Аль-Макдональдом, а ты... ты... Прези...

— Никогда!!!

Я бросился на него, пытаюсь ударить под дых, но руки скафандра плохо слушались; Володя пнул меня ногой, и я упал, ударившись об острый камешек, который прорвал мою герметичность. Струя вырывающегося воздуха зашипела; Володя испугался и подбежал ко мне, склоняя голову в шлеме. Я задыхался, мне становилось холодно, но я сжал руки в кулаки и попытался представить великий красно-кирпичный Кремль, над которым реют сразу три русских флага: красно-сине-белый, бело-желто-черный и красный с серпом и молотом.

— Гибели нет! — из последних сил вскричал я. — Играть будем... в возвращение... в спасение...

Я отключился и очухался только на кровати в родной хижине; надо мной стояла мать и нежно гладила по щекам.

— Ну, вот, — ласково сказала она. — Еле выжил... Выпей рюмку водки, согрейся! Если бы не Володя... Он тебе жизнь спас! Донес тебя... на руках!

— Володя...

— Ты обязан ему всем! Не забывай это, сынок...

Больше нас не выпускали гулять далеко — только возле дома. А играть в Возрождение России мы могли в моей комнатке. Здесь трудно было устраивать мощные баталии и драки, зато мы представляли, что сидим в штабе заговорщиков и придумываем план, как вернуться на Родину.

Мы писали мелом на черной доске — однажды этих школьных комплектов прибыло очень много в гуманитарной помощи; горела лампа, работающая, как и все на Марсе, на солнечных батареях; и мы придумывали различные истории — вот, мы, наконец, после долгих приключений, добираемся до единственного оставшегося неразобраным космического корабля, захватываем его и с финальной огненной вспышкой старта, в которой сгорают все наши враги, летим вперед, вверх, назад — на Землю, в Россию, домой!

— Главное — взлететь, — говорил я. — Потом врубим солнечные батареи и будем дрейфовать в пространстве, пока не достигнем Земли!

— Так мы сто лет продрейфуем! — возражал Володя. — Нужно дать сразу большую скорость. А для этого надо топливо, бензин или... взрыв, направленный взрыв... Что тут вообще, на этом долбаном Марсе есть?!

— Не знаю, — пожимал я плечами. — Призраки, может быть, знают!

— Ты в них веришь?

— Не особенно... Стоп! — осенило меня. — Я не верю в то, что наше правительство... наш царь... Что они ничего не знают! Что у них ничего нет! Я не верю, что связей с Землей больше не существует! Слышал позавчера грохот?!

— Да, — мрачно кивнул Володя.

— Откуда ты знаешь, что это — не запуск?! Может быть, они все время летают туда-сюда-обратно?! Почему, ты думаешь, у нас до сих пор все работает? Свет горит... лампочки появляются? Даже рейсовые вездеходы ходят?! Да мы бы тут не выдержали ни секунды без помощи извне! Мне кажется, они могут, гады, летать на Землю! Царь, ну, и... прочие. И помощь прихо-

дит, просто нам ничего не говорят! Они хорошо тут живут, у царя есть пруд, он всем правит... А захотел — слетал в Россию, постоял в березовом лесу, умилился, сорвал гриб... А может, он вообще — всегда там?! Откуда мы знаем? Мы же его не видели! Вдруг все правительство — давно уже там! Сидят на дачах, кайфуют... А нам шлют приказы, указы, ну, и... самое необходимое!

Володя остолбенело замолчал, потом, наконец, сказал:

— Да как тебе только могло прийти такое... в голову?

— Надо ехать в столицу, в Ленинград, пробиваться во дворец, к кораблю... И увидеть, что там! Вот тогда мы поймем, как все обстоит на самом деле!

— Но там же охрана... У них арбалеты! Кстати — если бы они летали туда-сюда, у них были бы и пистолеты!

— А если есть?! — крикнул я, все больше убеждаясь в своем предположении. — Нет, пока сам не увижу... Царя и корабль...

— Тебя убьют, — тихо произнес Володя.

— У меня тоже кое-что есть...

Я встал, пошел в отцовскую комнатку, подошел к шкафу, открыл маленькую дверцу, немного порылся, достал небольшой сверток и вернулся.

— Что это?

— Смотри!

Я осторожно развернул; в свете лампы сверкнуло лезвие.

— Настоящий земной кухонный нож... — восхищенно промолвил Володя. — Настоящая сталь... и пластмасса... Но что ты сможешь этим сделать против арбалета... пистолета? И ты... — он опустил голову, — готов... убить человека?

— Ради России я готов на все!!! — торжественно объявил я и потряс ножом.

После этого случая Володя от меня несколько отдалился; все реже и реже он заходил в гости, сознательно избегал разговоров на патриотические темы, а потом и вовсе куда-то пропал.

Когда я спросил отца, куда подевался мой лучший друг, папа тяжело вздохнул и ответил:

— Они уехали в столицу...

— Как?!

— Отец Володи — военный, точнее, работник Комитета госбезопасности... Он возглавлял тут местное отделение... А сейчас пошел на повышение... Вот так вот!

«О, мой православный Бог! — подумал я тогда. — Как же так! Я дружил с сыном гебиста, стукача, мусора, падлы! Как это могло случиться?! Он же мог все рассказать обо мне... о моем ноже... о наших планах... Моих планах! Пора действовать, надо что-то делать... Но что?! Боже, да он же, наверняка, все знал — где царь, как там Земля... и ничего, ничего мне не сказал! Сволочь!»

— Что ж... — выдавил я из себя. — Повезло... Вове. Он всегда был... везучим.

— Да уж, — кивнул папа. — Горбатишься тут всю жизнь... на этой фабрике! Блядь!!!

Это был первый раз, когда отец при мне ругнулся.

Вскоре я сам устроился на работу и, к своему ужасу, довольно быстро стал походить на типичного рядового жителя Марса, жизнь которого состояла из ненавистной рабочей смены и праздничных пооек. Но мечта о России продолжала жечь мое сердце; цель начиналась там — в Ленинграде, нож лежал в столе, а душа рвалась ввысь — назад, в березовый зеленый край, где пахнет грибами после дождя, и у покосив-

шихся изб сидят старушки и смотрят вдаль: на поля и золотые кресты церквей.

И однажды я не выдержал. Проснувшись рано-рано, до общего подъема, я схватил самый большой кусок мела, нацепил скафандр и побежал к зданию фабрики. Сейчас я понимаю, какая все это была глупость, — но я больше не мог тупо гнить в Грязновке и ничего не делать, я должен был начать борьбу.

Когда рабочие, матерясь после тяжелого сна, подошли к фабрике, они увидели громадную надпись: «ДОЛОЙ ЦАРЯ!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ!!!»

Я думаю, они ничего, конечно, не поняли, надпись быстро стерли, а мной занялся отдел КГБ, который возглавлял уже не папа Володи Турищева, а какой-то капитан Александр Иванов.

Он мгновенно меня расколел, да я и не отпирался. Я сказал ему все, что думаю. Он выслушал, а потом почему-то отпустил меня домой.

Вечером пришли папа и мама, которых тоже вызывали, вслед за мной.

Папа был грустен, мама бледна.

— Отца выгнали с работы, — тихо сказала она.

— Но... почему не меня? При чем тут папа?!

— Ты несовершеннолетний. Мы решили сегодня уйти.

— Уйти?! — задрожав, переспросил я. — Куда?

— Туда, — ответил папа, взмахнув рукой. — Мы, вообще-то, давно хотели... Мы больше так не можем... Все эти скафандры, агрегаты, шлемы... Мы хотим стать призраками. Если они существуют. В любом случае, наша жизнь сейчас — это не жизнь, а так... говно! И если нам суждено умереть — мы лучше умрем... как настоящие русские люди, с гордо поднятыми головами, без всех этих шлемов и питательных таблеток! Станем марсианами, раз так хочет Господь, раз Он решил, что наш дом — здесь...

— Мама! Папа! — завопил я. — Вы погибнете! Призраков нет! А если и есть... Это же окончательная капитуляция! Нас выперли с Земли именно для этого! Чтобы мы как-то приспособились, чтобы у нас была синяя кожа, чтобы не было пути назад... И наш царь тоже этого хочет! А сам сидит сейчас где-нибудь у русской реки и наслаждается закатом...

— Чушь, — сказал отец. — Царь здесь!

— Откуда ты знаешь?

— Я не знаю, — горько улыбнулся отец. — Но ты же помнишь? Я могу уповать!

— А я буду бороться!!!

В ту ночь они ушли.

Они покинули наш дом, взявшись за руки, и в скафандрах — я их упросил, чтобы не видеть сразу их смерти или жуткого превращения.

И я остался один.

Больше я ничего не знаю о своих родителях, хотя мне говорили, что кто-то иногда видел мужчину и женщину в набедренных повязках, которые быстро пробегали вдаль, у самого горизонта, с легкостью горных коз прыгая по скалам. Вроде даже слышали их громкий веселый смех и какой-то звериный клещ, а их кожа стала синей-синей, и волосы выгорели, превратившись в бронзовую гриву, цвета гор в сиянии марсианского восхода. Кто-то рассказывал, что у них выросли крылья, и они летают, но во всю эту чушь я не верил, внутренне смирившись с тем, что нету у меня больше ни отца, ни матери, и ничто отныне не препятствует моей борьбе.

Я продал дом соседу, получил много водки, приобрел воды и консервированной каши и взял билет на рейсовый вездеход, следующий до Новосвердловска, с тем, чтобы оттуда напрямик отправиться в столицу.

Я перекрестился и поехал навстречу будущим ужасам судьбы. Но я был счастлив тогда, о, мой православный Бог!

Моя борьба началась!

6. Преступление

Я помню, как мы ехали тогда по бескрайнему Марсу, огибая вырезающиеся в жидком голубовато-желтом небе красные остроконечные гряды гор, словно пытаюсь обнаружить где-нибудь там — за краем пустого окоема — человеческий мир с заливными лугами, свежим дыханием хмурого утра в измороси и реальный ветер; мы ехали, будто надеясь, что где-то там есть проход в русский уют — с валенками, печкой и запахом снега в сенях, куда ты вернулся после долгих странствий в чужеземных пространствах, в которых нет ничего, кроме каменной стужи и вечной песчаной пыли, настырно бьющейся, как птица, в стекло иллюминатора. Или в чудо верил я один, напряженно смотрящий вперед, где так ничего и не менялось?..

Остальные люди спали в креслах; кто-то посапывал, кто-то похрапывал. О, мой православный Бог! ужели им все... все равно, все по хую — говоря порусски?! Может быть, поэтому нас так легко выперли с родной планеты? О, мой народ! Что же нужно сделать, чтобы ты наконец проснулся?!!

В Новосвердловске, в каком-то пересадочном ангаре, я купил билет до столицы на вездеход, отправляющийся завтра на рассвете, съел последнюю баночку каши, выпил полбутылки водки и уснул. Несмотря на то, что всю ночь ревел кислородный агрегат, накачивающий воздух в ангар, постоянно бродили люди и орал ребенок, я спал очень крепко и даже видел небольшой сон, который тут же забыл, когда проснулся и обнаружил, что у меня украли весь запас водки.

Это было ужасно — я даже не мог теперь купить бутылочку воды! Вода на Марсе — вещь очень ценная, хотя ее и нашли в огромном количестве в виде мощных ледников, откуда, собственно, мы и получили воздух и вообще возможность здесь жить. Но без водки у нас — никуда; вся наша жизнь держалась на водке; не случайно именно из-за нее у нас и началось тут, на Марсе, хоть кое-какое производство и худо-бедно продолжалась дерьмовая жизнь!

Я вышел из ангара и посмотрел ввысь. Солнце застилало мутные тучи; где-то вддали клубился песчаный смерч; долина передо мной была красно-коричневой в пасмурной полутьме, а справа возвышалась одинокая зубчатая скала. Я испытал отчаянье; слезы набухли под веками, разъедая глаза горестной едкостью.

И тут — не знаю, что случилось: из-за скалы выбежала синяя яркая тень, мгновенно примчалась ко мне, на миг замерла и положила на твердый красный грунт

небольшой предмет. Я испуганно отшатнулся, отвернувшись, но затем заставил себя посмотреть. Улыбающееся лицо было прекрасным, воздушным, искрящимся. Губы что-то шептали; прозрачные руки указывали куда-то вверх.

— Папа?! — неожиданно прошептал я.

Тень немедленно вскочила, подпрыгнув в небо, образовала из себя сияющую протяженность, похожую на большую птицу, если смотреть на нее в расфокусированный бинокль, и, вспыхнув напоследок радужными бликами, исчезла за скалой.

Я зажмурился, затем открыл глаза — ничего не было, все оставалось неизменным, только у моих ног что-то лежало; я нагнулся, опасно дотронувшись пальцем до гладкой поверхности, и лишь потом схватил и поднял совершенно реальную бутылку водки.

Что это?! Откуда она взялась?! Наверное, это ты — мой православный Бог — не оставил меня в трудную минуту. Или это был... папа?! Призрак...

Папа, как он говорил, мог уповать, я же решил, что буду действовать — сам, без всякой помощи. Значило ли то, что сейчас произошло, что прав я? Да, я был в отчаянии, в греховном унынии, в тоске, но я все равно собирался совершить то, что решил. Может быть, это и было моим упованием?

Я вернулся в ангар, снял скафандр, подошел к пищевому ларьку и купил на всю водку большой запас воды и множество баночек каши.

— Нет, ты только посмотри! — услышал я за собой осуждающий, пораженный возглас. — Он водку — водку! — на еду меняет! Прямо не русский какой-то!

Я улыбнулся, отойдя от ларька, даже не посмотрев на того, кто это сказал.

Остальное мое путешествие проходило без приключений.

Наконец мы въехали в столицу Русского Марса Ленинград, главный наш поселок в изгнании. Стояла ясная тихая ночь, но кое-где горели фонари, которых я до этого в жизни не видел.

Ленинград был совершенно не похож на Грязновку, состоявшую из неказистых жилищ за каменными заборами; здесь высились двух- и даже трехэтажные здания; дорожки были выложены камнями, словно всамделишные улицы, а впереди, когда мы подъехали к центру, сиял резкий свет.

— Что это?... — изумленно спросил я у грузного седого мужичка, сидящего справа от меня.

Это были мои первые слова за всю дорогу; мужичок изумленно посмотрел в мое лицо, потом усмехнулся и ответил:

— Дворец, ебеноть!..

— А как они его освещают?

— Никогда здесь не был, что ли?.. Да хуй их знает. У них там, кажется, вообще, все заебись. Батареи, аккумуляторы... Хуй знает. Вот там памятник Григорию Первому, а вот — памятник Водке. А вон там, если пройти Дворцовую площадь, будет ангар с космическим кораблем, который не стали переплавлять...

— Что?! — вскричал я.

— Чего ты орешь?.. — мужичок грозно приблизил испитое лицо.

— И что... в корабль-то можно зайти? — тихо спросил я.

— А зачем тебе? Хотя мне по хую, у каждого свои дела... Хочешь его запустить? Так там бензина нету, хотя я не знаю... Да иди вон туда, там и вход. Только там часовой. Может, ты с ним и добазаришься, дашь ему пару бутылок...

Я выбрался из вездехода и отрешенно, как лунатик, побрел вперед, через светлую площадь. Разве случаен

был этот разговор с мужичком, который мне тут же выдал всю информацию?! Нет, мною правила отныне Божественная Русская Сила, я стал ее орудием, и теперь мне ничего не страшно, и никто меня не остановит, даже сам царь, если он действительно здесь есть!

В резко начавшейся тьме можно было все же различить высокое мощное здание, сложенное из больших камней, плотно подогнанных друг к другу. В арке, где были двери — железные?! — стояла человеческая фигура в скафандре; у пояса что-то висело — арбалет?! Пистолет?!

Я вытащил нож и начал осторожно приближаться. Человек заметил меня, стал вначале по стойке «смирно», затем, увидев у меня в руках нож, блеснувший в дворцовом свете, заметался, отцепил то, что у него висело у пояса, и направил на меня.

Мы посмотрели друг на друга; за шлемом я не видел лица и никак не мог понять, что же он держит в руке.

— Стой! — раздался окрик в моих наушниках. — Кто идет?! Кто ты?

Голос был поразительно знакомым.

— Корабль здесь? — почему-то спросил я.

— Здесь! Кто ты?! Стоять!!! Дальше нельзя! Положи...

— Вовка? — произнес я.

— Старший сержант Турищев, — поправил он. — Часовой Его Величества. Я знал, что ты все-таки придешь, Иван Жуев... Придешь со своим кухонным ножом... Но надо же было так случиться, что сегодня сюда поставили именно меня!

— Вовка! — обрадовался я и бросился вперед.

— Стой!!! — рявкнул он, отпрянув.

— Вовка, это же я, твой друг, и мы сейчас вместе... У корабля!!! Мы можем его захватить, найти горючее, лететь, лететь... в Россию, как мы хотели, мечтали... Помнишь?! Наши планы, наш...

Я был почти рядом с ним; он попятился и взмахнул тем, что держал в правой руке.

Теперь я мог рассмотреть — это был настоящий металлический пистолет. Я резко встал, не дойдя до него совсем чуть-чуть, не зная, что делать.

— Так, значит... — сказал я. — Значит, все — правда?! И ты меня убьешь, застрелишь... Значит, есть и оружие, и топливо, а царь...

— Царь здесь, — ответил Володя. — И здесь наш дом... Здесь настоящий мир! Правда — совсем не та,

что ты думаешь... Да, это — пистолет, но это — муляж, видимость... И патронов у меня никаких нет, они не нужны больше... Пойми, нас выгнали из России, потому что мы ценили некую абстрактную цель... выше жизни, выше реального человека, выше... вот этого настоящего, здесь, сейчас! Мы больше не должны повторять этой ошибки; мы будем жить здесь, на Марсе, по-новому, по-другому... Мы приспособимся! Больше никого никогда не убьют во имя... чего угодно! Как ты мог подумать, что я тебя... застрелю?! Ведь я же спас тебе жизнь — разве ты не помнишь?!

Я помолчал, потом крепче сжал нож.

— Не понимаю, о чем ты говоришь! На Марсе ужасно! Здесь нет России, здесь нет настоящего мира, здесь ничего нет!!! Здесь только водка и какое-то дерьмо... Вместо величия нашей страны, нашей Родины...

— К черту Родину! — выпалил Володя. — Она у тебя внутри, а не там — на небе, в виде этой синей звездочки... Как ты не понимаешь, что ты сам — намного больше, чем любая Родина, чем Россия, чем все эти отвлеченные...

— Да что ты такое говоришь! — заорал я в микрофон. — Как тебе... мозги промыли! Да оглянись ты вокруг! Все спиваются, ненавидят друг друга, и эти долбанные скафандры со шлемами... Ты говоришь — будем жить здесь, приспособимся... Ты кого имеешь в

виду — призраков?! Это они, что ли, приспособились?! Да их нет вообще, это — наши глюки, бред, сказки!.. Пошли, захватим корабль, у меня — нож, у тебя — пистолет, это реально, и мы объявим народу, что полетим назад, в Россию, на Землю...

— Призраков нет, — совершенно успокоившись, сказал Володя. — Есть марсиане. Русские марсиане...

— Все! — крикнул я. — Не могу больше слушать твою чушь! Предатель! Отойди... Если ты не можешь меня убить, хотя бы отойди...

— Я не могу отойти, — грустно проговорил Володя. — Мой долг — стоять здесь. Забудь о корабле, твой дом — тут, где ты сейчас... Вот твои родители...

— Что ты о них знаешь?! — рявкнул я и прыгнул к нему, приставляя к его груди нож.

— Я ничего не знаю. Я могу только уповать! Понял?!!

Я замер на какой-то долгий, нескончаемый миг, вспомнив отца, всю свою жизнь, наши беседы на кухне; представив сверкающую радугой летящую тень, бескрайние, пустые марсианские просторы, черноту неба и маленькую-маленькую синюю звездочку.

— Отойди, — сказал я.

— Не могу, — отозвался он. — Я защищаю... моего царя и наш... мир.

— Тогда умри, придурок! — крикнул я и вонзил нож в его тело, пробив оболочку скафандра, одежду и кожу.

— Тревога... — тихо простонал Володя и упал на грунт головой вперед — я едва успел отскочить.

Видимо, он успел нажать какую-то кнопку тревоги, потому что тут же, откуда ни возьмись, выбежали люди. На меня набросили что-то вроде сети, потом отобрали нож и связали.

И вот так, не добравшись буквально совсем чуть-чуть до своей цели, я был пойман, арестован и отправлен в тюрьму, в пригород Ленинграда, в Москву-3.

Володя умер прямо там, у ворот — я пробил ножом его сердце.

Теперь я сижу в камере и жду приговора, который мне должны объявить без всякого суда и разбирательства. Но самое главное — то, что мне так и не удалось ничего узнать.

Что было за этими воротами? Корабль? Царь? Марсианские сады будущего или проход сквозь звезды в любимый русский березовый край? Что Володя

так защищал, не пожалев своей жизни?! Призраков, которых нет?

Я не стану призраком!

Я не сопьюсь на какой-нибудь фабрике этого долбаного Марса!

Я никогда не перестану верить в настоящую Россию!

Я никогда не сдамся!

7. Казнь

Ночь кончалась — камера, сквозь маленькое окошко, наглухо закрытое толстым стеклом и мелкой решеткой, уже начинала заполняться предрассветным серым сумраком — блеклым, подкрадывающимся, как вор, предшественником победной вспышки утреннего солнца. Звезды пропадали в мутнеющем небе, и я терял свою Землю из виду. Сегодня мне должны объявить приговор и, наверное, убить, несмотря ни на что — неужели никогда в жизни я не увижу Небесную Родину, блистающую в черном провале Вселенной?.. Я не знаю — теперь от меня ничего не зависит.

Сердце мое забилося быстро-быстро, когда я отчетливо услышал медленные неотвратимые шаги. Они приближались — неужели все случится вот так, зап-

росто?! Но они же не могут меня убить! Ведь Володя... Но почему я должен ему верить?! Каждый отвечает за себя; и это он — он сам! — не захотел лишать меня жизни, которую однажды спас, а я — лично, по своему желанию! — убил его. Я — сволочь, я, а не он и не они; они пока мне ничего не сделали и... Может быть, я действительно заслужил наказания, смерти, презренного конца?!

Я хотел спасти свой народ, а в результате зарезал лучшего друга.

Шаги приблизились к двери камеры и прекратились.

Раздался лязг открываемого замка; я в страхе вжался в угол стены; дверь распахнулась, внутрь вошел человек в красном плаще и в красной маске с прорезью для глаз. Вот уж не думал, что все будет выглядеть настолько банально!

— Кто вы? — задрожав, спросил я.

— Я — никто, — надменным басом отвечал он. — Я исполнитель, служитель, длань царя, карающая и освобождающая!

— Вы... пришли меня... освободить?

— Идем, — сказал человек в плаще и вышел из камеры.

Я боязливо последовал за ним. Мы шли долго, поднимаясь вверх по каким-то неровным ступеням и иногда спускаясь вниз; наконец, коридор кончился, приведя нас в круглую комнату с большой железной дверью.

На полу лежал скафандр; человек остановился, поднял его и подозвал меня.

— Надевай! — скомандовал он.

— Вы меня отпускаете?!!

— Я оглашу тебе приговор. Приговор царя! Итак, Иван Жуев, гражданин России, вы признаны виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами и поэтому, руководствуясь нашими законами, царь приговаривает вас... к смерти!

— Но вы же решили больше не убивать! — вскричал я. — И... зачем этот... скафандр? И объясните... У вас же ничего нет?... Патронов нет... А пистолет... муляж...

— Патронов нет, — повторил человек. — Пистолет — муляж. Но есть стрелы!

Он вытащил откуда-то из складок плаща арбалет, потрогал пальцем тетиву, так, что она зазвенела, и достал небольшую стрелу с острым каменным наконечником.

Я отшатнулся. Вот и все.

— Слушай меня, Иван Жуев! Ты только что услышал приговор царя! Царь правит нашим миром, настоящим миром!!! Царь всемогущ — только на него ты вправе надеяться, только ему ты обязан служить, только он распоряжается твоей жизнью и смертью... Но тебе повезло — нам всем повезло! Наш царь... добрый! Он способен сделать с тобой все, что угодно, но он — добр!!! Сейчас я открою дверь, и ты пойдешь вперед — навстречу своей судьбе, которая никому не известна, но только царю.

— То есть... я могу уйти? А вы... можете меня убить или не убить?! Это ужасно!

— Дурак! Это же твоя судьба! Могу убить сейчас, могу убить потом, я вообще ничего не могу! Может царь. А царь — добр! Ты опять ничего не понял?!

— Н-нет... А... как же призраки? Вы меня изгоняете? Вы хотите, чтобы я стал призраком?!

— Я не знаю никаких призраков, их нет. Есть русские марсиане. Все принадлежат царю, и всем управляет царь! Мир — здесь, ощути его, не беги от себя! Помни о моей стреле, которая всегда наготове. Ты свободен. Призрак или рабочий, Земля или Марс — нет разницы. Живи в настоящем мире, где есть настоящий царь. Забудь о всяких целях, стань собой, знай правду! Она — здесь, и она там — за дверью.

— Но стрела-то наготове! — отчаянно воскликнул я.

— Но царь добр, — тут же ответил человек, взмахнув арбалетом.

Я понял, что на этом беседа кончена. Я опять ничего не узнал. Я даже не знаю, что меня ждет в следующую секунду. И отныне никогда не буду этого знать. Но, может быть, это и есть окончательная истина?!

Я надел скафандр и подошел к двери. Теперь я не мог больше слышать этого палача; я остался один, наедине со своей судьбой, которой распоряжался неведомый мне царь.

Но ведь царь — добр!

Неожиданная легкость охватила меня; страх прошел, сменившись веселым безразличием.

Я вышел наружу — передо мной расстилался безбрежный, восхитительный, бесконечный Марс, зажигающийся огнями рассвета. Где-то на горизонте мелькали синие, радужные, прекрасные тени — они ждали меня, они звали меня, или это только казалось?! Будь что будет — этот последний миг, готовый протянуться в Вечность, я должен пережить как самое лучшее в своей жизни, а этот мир передо мной пусть будет единственным и настоящим.

«Царь может тебя убить или миловать, — повторил я про себя, — он может возвысить тебя до небес или втоптать в прах... Но царь... добр!»

Царь добр... Так вот в чем дело!

Я могу уповать — понял я.

Я улыбаюсь, испытав абсолютное счастье, оглядываюсь назад, видя человека в красном плаще, наставившего на меня арбалет со стрелой, и смело иду вперед, отстегивая шлем, — в бездонный свет свершившейся вспышки нового восхода.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ

(По поводу романа «Я»)

Я сижу перед окном, как перед стеклом, — зеркало без имени, но с объектом ночных крыш. Надвигается пыль — можно зевать, потому что понятно все остальное — спать, целовать себя со стороны, словно в последний, первый, предпоследний раз. И то, что стирало с лица Земли, то, что заставляло корчиться в судорогах на Земле, то, что набивало протухший рот комьями земли, превращается в акт, в сновидение, в слово, в идею, в роман, наконец... Снова горячий, я чувствую за собой материнскую утробу, я смотрю вперед и вижу — стекло, окно, зеркало. Хаос стал простым, как дом, в котором я жил, наверное, там даже есть космонавты. И разделилось все остальное — отдайте же слова словам! И будет пыль, и ее прибьет дождь, и дождь заткнет мой рот, поцелует меня со стороны, дождь — без ассоциаций.

Все потеряло свои разломанные швы, из которых вылетали искры ассоциаций, и все предметы стали протяженны.

У меня нет достаточной наглости, чтобы описать вас всех такими, какие вы есть, и я вижу знакомый предмет и рождающееся в нем «я», и стремлюсь подать ему руку. Когда вы плевали в мой мозг, я сходил

с ума от чувства своей болезни, теперь я здоров и готов здороваться за руку.

Однажды я решил попробовать на вкус то, что всегда стыдно и закрыто — помойку и протухшую кровь. Я тянулся вверх к затхлости, и у меня болел живот. Теперь я чувствую, что готов упасть до свежего мяса, и у меня больше нет дурных желаний. Но ломать нечего, нечего строить, нечего принимать. Прощай, я. Зеркало стало прозрачным, как писали поэты. И слова — лишь воздушные знаки на леске. Бывало и хуже, и я вас слушаю с вниманием, Иванов!!! И сижу перед окном — всего лишь.

МАНДУСТРА

Мандуистра — эстетическая суть Всего, святой дух мира и не-мира, воспоминание о настоящем. Это есть единственно неуничтожаемое, единственное, что нельзя убить. Ибо как убить сам принцип убийства? Как уничтожить уничтожение? Если ты умираешь, то стань смертью, останови миг, чтоб он был абсолютным, стань самой идеей сгнивания, сгнивая, будь любой верой или неверием — что можно тогда сделать с тобой?

Бог кайфует от тебя, как от своего персонажа. Стань на его точку зрения.

Мандуистра — благодать, одинаково присутствующая во всем. Если здесь дерьмо, то она есть его дерьмистость, если там верх, то она — верховность, если тут убийство, то она есть сам принцип его существования в мире и не-мире. Она есть эстетическая подоснова, а эстетичны даже хаос, ужас, мерзость и мрак. И скука, и случайное, и то, на что можно наплевать. Если ты бабушка или слесарь с одной рукой, или красивый парень, живущий в бывшей советской стране, и ты идешь по искореженной льдом весны хмурой многолюдной улице, и дух агрессии окружает твою лысую голову, и вонь бьет в твои сопливые ноздри, заставляя жмуриться, а дебильным раскосым глазом, ты — счастлив. По-

скольку это — реальность, эта улица — одна, здесь, сейчас, в *этом* льду, в *этой* вони, в *этом* совершенстве, которое нарушит любое вторжение, но приведет его к новому совершенству, ты — счастлив. Но ты не знаешь этого, и ты счастлив вдвойне.

Ты просыпаешься в своем маленьком унылом захезанном городке, который любишь и ненавидишь, будто это — Лесбия у Катулла. Ты печально встаешь, чтобы идти на какую-нибудь идиотическую работу, или радостно торговать ошметками за границы. Между тем и тобой нет разницы. Мандуэтра везде. Мандуэтра переполняет твой унылый городок, она *есть* этот унылый городок. Мандуэтра есть твоя идиотическая работа. Мандуэтра — это ошметок.

Ты не можешь ее унижить, потому что она — низ, ты не можешь ее возвысить, потому что она — верх; как ты можешь унижить само унижение?

По принципу искусства устроен мир, который рождает искусство, устроенное по принципу этого мира. Сущность этого принципа — мандуэтра. Ты можешь оскорбить мандуэтру, сказать: «Мандуэтра — это гадость», и это будет чистой правдой, поскольку гадость мандуэтриальна.

Политика — это кайф, искусство — это кайф, мир — это кайф, война — это кайф, скука — это кайф, богатство — это кайф, бедность — это кайф, арбуз — это

кайф, Космос — это кайф. Здесь мандуэтра. Наиболее глобально осознавшие это из русских — Пушкин и Толстой. За рубежом почти вплотную к этому подошел Пруст. Джойс сопротивлялся мандуэтре, пытаясь ее выблевать Богу обратно в рожу, но в результате воспел ее, как никто. Шри Ауробиндо хотел преобразовать весь мир в чистую мандуэтру, точнее, абсолютно проявить ее в мире, где ее постоянно ощущают лишь существа, овладевшие более высшей энергией, и она возникает яркими вспышками в отдельные мгновения для всех остальных. Если я живу в Москве в 1993 году, в условиях социального кризиса или благоденствия, это меня совершенно не касается, потому что это, наоборот, замечательно. Это не означает, что я не плачу горючими слезами, мечтая о пальмах, улыбках и сверкающих бассейнах. Но как раз в этой скорби о солнечной иной легкости под гнусной московской изморозью и присутствует мандуэтра. Ибо каждый пенек неповторим, и существует его суть, его пеньковость. И если это русский пенек, тем более или все равно.

Мандуэтра со мной, она открывает путь к самой себе, путь к невозможному, но можно на него хотя бы вступить. Будда считал, что нужно, чтоб тебе было все по фигу. Христос считал, что надо возлюбить. Но ты стань всем по отдельности. Не Всем, а чем-нибудь в каждый миг. Спасай *вещи*, а не душу. Ощути их дух. И ты прикоснешься к мандуэтре.

В своих мандустриальных очерках я собираюсь охватить различные стороны нашей реальности, всегда делая нужный вывод в виде соответствующей мандустриальной *морали*, если можно употребить здесь это слово из чуждого нам *этического* лексикона.

Мандустру нельзя определить. Ее можно лишь попробовать описать. Я попробую описать современную жизнь, пытаюсь увидеть и утвердить в ней мандустру. Чтобы она возникла для нас, хотя бы на миг.

**ИЗ КНИГИ
«РАССКАЗЫ ПРО ВСЁ»**

Я И МОРЖИХА

Устав от беспутного одиночества и неудовлетворенных страстей, я женился, и, кажется, вышло довольно удачно. Невозможно же всю жизнь жить одному, можно умереть со скуки, но, с другой стороны, женщины страшно отталкивают своими вечными претензиями, плохо скрываемой глупостью и назойливым стремлением казаться прекрасными и талантливыми. И все же я женился и не жалею, напротив, я очень рад. Мне даже кажется, что я достиг идеала в супружестве и моя жизнь представляет собой идиллию. Вначале были некоторые неполадки, но теперь — все отлично.

Моя жена — моржиха из московского зоопарка, я украл ее оттуда и взял на содержание. Мы живем вместе уже целый год, и я еще никогда не был так счастлив.

Как только я увидел ее в зоопарке, когда она вылезла на берег из грязного прудика, где до этого бултыхалась, я сразу же понял, что здесь я найду свою судьбу. На ее мощных усах застыли капли воды, клыков почти не было, как у девочки: она отфыркивалась и хрипела, коричнево-розовая кожа лоснилась, сминаясь в складки, и слегка колыхалась от толстого жирового слоя. Она перевернулась на спину, зевнула, как-то хрюкнула

и раздвинула нижние лапы, устроив такой стриптиз, который мне не приходилось видеть. И я понял, что погиб, я чуть не умер от страшного желания, а она, словно разгадав мои мысли, перевернулась обратно на живот и нырнула опять в вонючий грязный прудик с мелкими льдинами.

Я влюбился в нее, я не мог спать, не мог ничего читать, писать, ни о чем думать.

Наконец я решился и украл ее.

Но когда я привез ее домой, мне стало ясно, что поместить ее некуда. Она лежала посреди квартиры на ковре, воняла чем-то липким и гнусным и жалобно кричала.

— Успокойся, моя милая, — сказал я ей, — не надо кричать, любимая...

И тут она обгадила мой ковер, а потом облегченно поползла куда-то вперед. Я решил уложить ее в ванну; но она не умещалась в ванне. Тогда я взгромоздил ее на кровать. Поскольку наш брак еще не был заключен, я не стал приставать к ней с гнусными предложениями, а закрыл дверь и ушел спать в другую комнату, хотя всем сердцем был с ней.

Посреди ночи раздался страшный вопль. Я проснулся и побежал в комнату, где была моя любовь.

Она лежала на кровати, задрав лапы. Из ее рта сочилась вонючая слюна или сопля, усы нервно дрожали. Она тряслась, словно пытаясь извиваться, и орала.

— Послушай, — строго сказал я ей, — если ты так будешь орать, то я еще подумаю, брать ли тебя замуж. Да, я люблю тебя, но что значит любовь в наши дни? Да, ты глупа, как пробка, это хорошо; да, ты не вставишь лишнего слова, но зачем же так орать? Мне нужна жена, чтобы она вообще рта не раскрывала, понятно?

Моржиха не слушала моей тирады, продолжая кричать так, что я подумал, не сбегутся ли соседи, особенно секретарь горкома, живущий надо мной. И я понял, что придется ей вырезать голосовые связки, иначе она будет орать все время, а такая жена мне не нужна. Мне нужна жена, молчащая, как рыба. Я бы, может быть, женился на рыбе, но с ней почти невозможно жить половой жизнью.

В дни моей молодости я увлекался всякими врачебными штучками: курил марихуану, колол морфий и тому подобное — и я решил провести операцию сам. Но я не живодер, я решил усыпить мою моржиху — спи, красавица!..

— Потерпи, моя хорошая, моя родная, — говорил я ей, наклоняясь со шприцем в руке, — сейчас укусит комарик, и все.

Но оказалось, что на комаров ей глубоко наплевать, и все эти уколы ее не волнуют. Мой шприц еле-еле продырявил толстую кожу и увяз в слое жира. Моржиха на это никак не отреагировала, только слабо, невыразительно рывкнула.

Я попробовал шприц для лошади, но и он был слишком мал, чтобы пройти сквозь кожу и этот проклятый жировой слой, а я считаю, что вводить лекарство надо исключительно в плоть. И тогда я взял шприц для лошади и засунул иглу прямо в горло. Моржиха взвизгнула от боли и страха и бешено дернулась, проколов себе нёбо. Я сразу же нажал на шприц и, двинув ей лошадиную дозу сильнейшего снотворного с новокаином, выдернул его. Ответом был фонтанчик крови изо рта моей ненаглядной. Она посмотрела толстыми выпученными глазами на свою кровь, которая сочилась сейчас, словно молоко из перевернутой детской бутылочки с соской, напряженно вздохнула и затем резко выдохнула воздух, успокоенно замерев. Я понял, что она обгадила мне всю постель. Но ради моей любви я был готов на любые жертвы.

Когда она окончательно заснула, я вырезал ей ко всем чертям голосовые связки, но оставил язык, чтобы она могла нормально есть и глотать. Затем наложил швы, остановил кровотечение, вмазал ей морфия, чтобы она ловила кайф, и привязал ее к кровати.

— Бедная ты моя, бедная, — сказал я, склонившись над ней.

Я чуть не расплакался, увидев ее, исполосованную скальпелем и в бинтах. Я даже на мгновение засомневался, люблю ли я ее, но потом отринул сомнения.

— Спи, моя радость, усни, — жалостливо проговорил я и ушел к себе.

Рана заживала почти неделю, но все это время моржиха вела себя тихо и спокойно, потому что я избавил ее от нужды кричать. Только иногда она напрягалась, будто ей пучило живот, пытаюсь издать хоть какой-то звук, но потом, понимая, что это невозможно, замолкала. И наконец этот ужасный рефлекс — говорить — исчез и больше не появлялся.

И когда я снял с нее швы, я решил оформить наш брак. Я изготовил свидетельство и однажды утром, купив бутылку шампанского и пару золотых колец, явился к моей возлюбленной. Тут я вспомнил, что нужно свадебное платье, иначе что же это за свадьба? Я купил его, пришел домой и принялся надевать на свою милую. Моржиха сипела от негодования, но ничего не могла сказать. Я напялил на нее фату, нарисовал ей усы, так, что они из грязно-белых превратились в красные, отошел на пять шагов и, посмотрев на нее, восхитился. Ну и жену я отхватил! Дородная, ничего не говорит, сексуальная, в общем, красота.

И я торжественно объявил:

— Хотите ли вы выйти за меня замуж?

Но она молчала, выпучив на меня огромные, как у бегемота, глаза.

— Я думаю, вы согласны? Тогда подпишите вот здесь.

Я подал бумагу, но она отмахнула ее своей ластой. На бумаге появился перистый отпечаток.

— Вот и все, — удовлетворенно проговорил я, подписал тоже и надел на палец кольцо.

Затем я надел кольцо на один коготь моржихиной ласты.

Она дернулась так, что порвала платье.

— Ну зачем же? — укоризненно проговорил я. — Теперь мы — муж и жена. Надо поцеловаться.

И я с вождением прикоснулся к ее усатому рту, схватившись руками за клыки. Усы больно кольнули меня, но поцелуй любви все равно опьянил меня, словно волшебный сок.

Я открыл ей пасть и влил шампанское. Потом выпил сам.

— А теперь нам пора идти почивать, — сказал я.

Я задернул шторы и стал ее раздевать. Я медленно расстегивал платье. Она помогала мне судорожными движениями ластов. Я снял с нее фату.

О, моя любовь! О, светлый миг!

Голую и розовую я положил ее на кровать. Она уставилась на меня непонимающе. Тогда я разделся сам и залез к ней. Я набросил на нас одеяло.

И я добился ее!

Не могу сказать, что она страстная и опытная, но я также не могу сказать, что она — девственница. Меня это сильно возмутило: кто мог быть с ней до меня?!

Зачастую у меня было ощущение, что со мной лежит бревно, а иногда мне казалось, что я утону в ней. И все же я был счастлив.

И как было прекрасно, когда я ушел в свою комнату, оставив ее лежать и засыпать в одиночестве, — она не сказала мне ни слова, никаких дурацких женских требований, признаний и тому подобного, что мешает нормальному сну и вызывает отвращение.

Я заснул, как ангел, и проснулся на следующее утро в блестящем расположении духа.

Я покормил ее рыбой, позавтракал и ушел гулять.

Вот так я и живу с моржихой около года. Я счастлив, как никто другой. Дни проходят, а я не устаю радоваться своему правильному решению.

Недавно мой друг сделал в моем холле небольшой резиновый бассейн, я налил туда воды и запустил дражайшую половину. Когда я ничем другим не занят, влезая туда и плаваю с ней туда-сюда, туда-сюда... Потом мы занимаемся любовью. Один раз она меня, правда, приняла за какого-то хищника и начала кусаться. Но затем ее агрессивность прошла и сменилась восхитительной нежностью.

Она не произносит ни звука, не нарушает мой покой: когда я хочу ее — я получаю ее, когда не хочу — посылаю ее подальше. Я могу говорить ей все, что угодно, она же не поймет, она же глупая, как пробка, и этим мне нравится все больше и больше. Когда я хочу выпить, я напиваюсь, и ей это все равно. Когда я хочу изменить ей, привожу пару проституток с улицы, и она даже этого не замечает. Хочу любить — люблю, хочу ненавидеть — ненавижу. Я не даю ей денег, она не заставляет меня делать карьеру, она просто живет и молчит. Плавает в бассейне, и для нее в этом мире все прекрасно. И для меня тоже.

И неужели ктонибудь думает, что наш брак — не самый лучший и что существует более скромная, более приятная и более удобная жена, чем моя?

ИСТОЧНИК ЗАРАЗЫ

Я проснулся от солнца, повергшего мое тело под простыней в жаркое и потное состояние. Я вспомнил какие-то стихи и побежал на кухню принимать лекарства. Вводя себе в вену чудный раствор пещилина — препарата, изготовляемого из слюнных желез пещцов — я ощутил прилив бодрости и веселья в своих больных членах. Сегодня должен был быть счастливый день — наша компания, состоящая из друзей и подруг, решила развлечься немного: и я тоже был приглашен на вечеринку, собирающуюся у Марка, и предвкушал последневный разврат с чувством глубочайшего освобождения от окружающего постылого мира.

Промыв замечательный шприц, который выиграл недавно в лотерею, я бережно погладил его и положил на специальную полочку. Затем выпил еще пару таблеток нового средства, чтобы оттянуть смерть, нависшую надо мной, и пошел умываться.

В ванне мне стало смешно почему-то. Очевидно, таблетки, на название которых я так и не посмотрел, обладали приятным побочным действием. Все же я намылился и даже, после всего, употребил дезодорант, который, помимо запаха, обладал свойством прижимать мелкие гнойнички и язвочки, выступившие на

теле поутру, поскольку я не сторонник вставлять по ночам и принимать что-нибудь, заглушающее их образование.

После всего можно было покурить — я так и сделал, восхитившись неизменной сущности личной сигареты в руках, которая стерильна и сокращает жизнь всего на три минуты. О, сигарета, сигарета! Если б люди только курили и пьянствовали, забыв о приятных дамах и любимом потомстве! Может быть, весь мир был бы здоров и весел сейчас! Не то ли предлагал Толстой, считавший, что лучше спокойно умереть стареньким импотентом, чем прожигать безрадостную жизнь в качестве вечно озабоченного больного. Не зря лучшие его последователи, имея твердый дух, не раздумывая долго, отрезали себе свой вредный и заразный придаток!

Но люди оказались глухи, тем более что опасались лишиться вместе с детьми и общечеловеческого будущего, хотя я думаю, что если б знали они, что за будущее ждет их сыновей и дочерей, то испытали бы позор и стыд и, наверное, просто вымерли бы по-тихому, завершив доблестную людскую историю достойным образом.

И я горжусь тем, что именно русская литература оказалась на высоте в данном вопросе! Онегин, отсылающий Татьяну, Печорин, не пожелавший почему-то овладеть княжной Мери, и прочие любимые персона-

жи, среди которых Павел Власов займет не последнее место, — все били в набат, в то время как гнусный Запад напряженно болел сифилисом и гонореей и, не смотря на это, продолжал воспевать блеск куртизанок и милых друзей.

Все эти размышления можно продолжать вечно, и я совсем расстроился, ощутив совестливые мысли в мозгах. Тем не менее, сейчас нам остался только добросовестный разврат, да и то урезанный донельзя в силу множественности смертельных недугов, и поэтому, скрипя зубами и проклиная все на свете, придется заниматься именно им, а совсем не желанной жизнью в семье или у станка.

Я подошел к столу и выпил стакан вина, чтобы не думать о судьбах человечества. В конце концов, поскольку я являюсь личностью, я имею право на личную жизнь и готов иногда перестать думать о народе, а подумать, возможно, и о себе самом, тем более что очень люблю свою умную душу.

Я надел респиратор и герметический комбинезон, сохраняя под ним праздничный вечериночный вид, состоящий из яркой рубашки и банта вместе с короткими зелеными штанами, и вышел на улицу. Вечером необходимо надевать полный комплект предохраняющей одежды, так как злые бактерии, погибающие от миролюбивого солнечного света, страшно активизируются во тьме. Вероятность заражения на улице была

бесконечно малой, но я не собирался платить милиционерам штраф за несоблюдение правил безопасности и вообще не хотел вступать с ними в разговоры, поскольку вечеринки были запрещены специальным указом радеющего о здоровье правительства, хотя все жители и даже менты никак не могли перестать заниматься этим единственно приятным делом в жизни.

Туго застегнутый на молнии, я шел мимо плакатов, призывающих использовать новую модель презервативов, которые надеваются на все тело и являются неким тонким комбинезоном, а также мимо навязшего в зубах и глазах изречения, написанного почти везде, и гласящего: «Свежий воздух — источник заразы». Не знаю, насколько это так. Например, мой друг Марк, к которому я направлялся в гости, никогда не использовал презервативы и противогазы, общаясь с женщинами, и постоянно вдыхал свежий воздух, совершенно не пугаясь новых болезней, но, возможно, ему уже наплевать, так как он, наверное, имеет полный набор всего, что постигло человечество в последнее время. Однако он был всегда бодрым и свежим: и некоторые дамы пугаются одного только его вида, его мрачных глаз и незащищенных участков тела. И мы тоже немного боимся его и ждем его смерти, которая, по нашим подсчетам, уже должна была наступить, но почему-то задерживалась, словно уважала его презрение к своей женской особе.

Я шел и вдруг почувствовал озноб — это просто приступ достаточно легкой болезни волосянки, которая совершенно безвредна и выражается в периодических ознобах, а иногда переходит в насморк. Заражение ею происходит посредством контакта волос, поэтому некоторые, особенно люди старшего поколения, бреются наголо, если они еще не лысы, или носят парик, поскольку очередной приступ волосянки добавляет неприятные секунды в их и без того безрадостное существование.

Озноб прошел, и я продолжил путь.

Обходя алчущих и страждущих жителей, которые просили что-нибудь съестное, я вошел в винный магазин. Продавец вежливо повернул ко мне противогазную голову. Я вытащил из сумки три месячных талона на водку и протянул ему. Он кивнул, выставляя бутылки, потом снял противогаз, продемонстрировав задержанное и насмешливое усатое лицо.

— У нас все чисто, — сказал он мне. — А вы слышали о случаях заболевания копцом — новой болезнью, завезенной из Польши? Заражаются прямо в домах, бактерии, как тараканы, проникают во все поры...

— Копец? — переспросил я, сняв респиратор.

— Да, копец. Заражение через воздух, смерть через два года. Завез какой-то еврей, его четвертовали вчера

на площади Победы. Больных-то всех усыпили, но кто знает...

— Да уже все едино! — отмахнулся я. — А вы чем болеете?

— У меня клей в крови и СПИД.

— Тогда вам, конечно, есть чего бояться — лет пять-десять вы можете протянуть, если все будет нормально.

Продавец заулыбался, потом спросил:

— А что у вас?

И я, сделав страшное лицо, ответил:

— У меня ничего не было, а сейчас вот почему-то чешется левая ягодица.

Продавец резко помрачнел.

— Да это же копец и есть! — заорал он, быстро надевая противогаз и выталкивая меня вон.

— Стоять! — крикнул я ему, показав, что при совместной борьбе обязательно заражу его, дунув в лицо. Продавец застыл в жалобной позе.

Я подошел к двери, усмехнулся и сказал:

— Не волнуйтесь, я пошутил, у меня тоже СПИД.

Продавец недоверчиво снял противогаз, но потом, задумавшись, вынул револьвер.

— А ну-ка, — сказал он. — Убирайся! Шутник нашелся...

Я вышел, помахав ему ручкой. Так я развлекался иногда, когда у меня бывало грустное настроение. Но сейчас мне не стало особенно весело, потому что он был прав, а я вел себя, как школьник, который только только начал проходить венерические болезни.

И я шел дальше, позвякивая водкой, как прокаженный, предупреждающий о своем нездоровье. В конце-концов можно наплевать на все, и меня ждет вечеринка, и возлюбленные друзья хотя и сократят мою жизнь еще на какие-то месяцы или годы, внесут в меня радость быть легким, словно в золотой каменный век, когда волосатый человек, почувствовав недомогание, не мог понять в силу своего уркобия, что оно означает гнусную и опасную болезнь, а продолжал вести суровую и насыщенную жизнь, полную удовольствий и приключений, и погибал в когтях саблезубого тигра или от клыков мамонта, как настоящий мужчина.

Я очутился перед дверью в квартиру Марка, за которой слышались радостные покрикивания. Дверь открыл Марк, он был одет в плавки, и его мощные бицепсы мужественно посверкивали в свете коридорной лампочки.

— Привет! — весело крикнул Марк, когда я снял респиратор. — Присоединяйся! У нас сегодня сюрприз — абсолютно чистая девочка!

Я увидел человеческую фигуру в комбинезоне, стоявшую в центре недоверчиво осматривающих ее людей.

— Не может быть... — сказал я.

— Может! — закричал Марк, выпив шампанского. — Она — девственница, желающая выйти замуж. Она ищет абсолютно чистого мальчика! Это не ты, случайно?

— Нет, что ты, — смущенно сказал я. — Ты же знаешь, у меня кобелит.

Кобелит — гнусное заболевание, распространяемое любителями собак и кошек, я заразился им при первом поцелуе со школьной подругой, в которую был влюблен.

— А, кобелит... — сказал Марк, выпив коньяку, — это не страшно. Лет десять у тебя есть?

— Как раз десять.

— Думаю, ей больше и не надо... Правда?

Я услышал небесный голос чистого создания, которое непонятно почему оказалось в нашей гнилой развратной компании:

— Нет, только всю жизнь, и умереть в один день!

— Ну, уж умереть в один день — это не так сложно, если ты заболеешь кобелитом, как и любимый муж... — закричал Марк, подпрыгивая. — Решайся, ненаглядная!

Я прошел в комнату с намерением выпить чего-нибудь. Настроение испортилось, но тут я ощутил сильный удар в спину.

Я обернулся, это был Марк.

— Куда же ты? — спросил он. — Сейчас мы посмотрим на нее. Я привез специальную герметическую камеру из стекла, и она, находясь в ней, будет парить между нами, как Мадонна, благословляя наши грехи!

Он выпил водки.

Я вернулся.

Фигура в комбинезоне вошла в камеру и сняла противогаз.

Признаться, я думал, что она будет красивой. Ей было года двадцать два, и неумолимые прыщи — спутники девственности — сильно портили не такое уж миловидное лицо. Но я увидел румянец — это был ру-

мянец здоровья — и этого было достаточно, чтобы возжелать ее, тем более что нельзя было ничего с ней делать: она сняла комбинезон и стояла в красивом платье, и мы все — даже наши больные дамы — ласкали ее страстными взглядами, словно надеясь на что-то.

Она действительно стояла в камере, как в райском облаке, и я уже почти не замечал прыщей и лошадиного носа — ведь, возможно, и сама Мадонна выглядела не лучшим образом, а ее возжелал сам Господь!

— Нет уж, подружка, — раздался голос Марка, — раздевайся до конца, чтобы полностью смутить нас!

— Что вы!.. — возмущенно крикнула из камеры чистая девочка.

— Давай, давай, а то мы начнем тебя заражать...

— Я заявлю на вас! — заплакала она. — Вас всех расстреляют!

— Нам все равно, — пусто сказал Николай.

— Я могу тебе помочь, — сказала Ксения, гнусно хихикнув.

Девочка залилась слезами. Но выхода не было. Она огляделась по сторонам, словно проверяя, не подглядывают ли за ней, и стала снимать платье через голову. Под платьем были трусы и лифчик.

И тут какой-то Петров с почти уже провалившимися ушами из-за третьей стадии триховонита, грозно встал перед нами и закричал:

— Уйдите все отсюда, гнусные люди! Я буду защищать ее до последнего, даже если мне придется подцепить копец!

— Что это с ним? — недоуменно спросил Марк.

— Чем ты нам угрожаешь? — пискляво завопила Ксения. — Свой триховонит можешь засунуть себе в задницу, он никого не пугает. А приятного зрелища мы из-за тебя не лишимся. Я восемь лет не видала голой девственницы. Так что проваливай, безухий кретин!

Петров озирался, будто его затравили. И тут, увидев у стены полуразвалившегося Ивана Ильича, который болел всем, он подскочил к нему и страстно стал целовать гнойные губы. Потом, не ограничиваясь этим, Петров разорвал штаны довольного Ивана Ильича и несколько раз лизнул остатки мужского члена, распространившего мерзкий запах.

— Вот так вот! — победительно крикнул Петров. — Кто на меня?!

Петров постоял еще с минуту в полной тишине, потом рухнул, повернулся и умер.

— Козел, — сказал Марк, — он забыл, что при сочетании вирусов триховонита и пердяницы, например, наступает мгновенная смерть. Уберите его куда-нибудь.

Иван Ильич, проливая слезы, отправился выбрасывать труп в трупопровод, который находился на лестничной клетке.

— Ну все, — удовлетворенно сказал Марк. — А теперь раздевайся, милая! И иди к нам.

— Я не могу к вам, — с ужасом сказала девочка. — Свежий воздух — источник заразы.

— Ладно, фиг с тобой, стой там.

Девочка разделась. Ее тело не отличалось от тел наших дам, поэтому, поглазев немножко на нее, мы пошли в другую комнату.

Марк налил всем шампанского.

— А сейчас мы приступим. Но прежде всего надо сделать анализы и разбиться на пары.

Он сел и вытащил внутривенную иглу.

— Кто первый?

Мы встали в очередь. Марк брал у всех кровь, мгновенно делая пробы; его щеки начинали румяно лос-

ниться, когда он получал результат. Он выкрикивал названия болезней, и гости разбивались на пары — все это делалось для того, чтобы к имеющимся заболеваниям не прибавить новых, а тем более, чтобы не помереть так глупо, как Петров, вообразивший себя прогнившим Дон Кихотом.

Когда очередь дошла до меня, Марк сообщил:

— Кобелит! Кто желает? Делайте ваши ставки! Никто не желает? Что, ни у кого нет кобелита?

— У меня есть, — сказала гениальная девушка, скромно сидящая в уголке, — но у меня есть еще и пердяница, поэтому я не знаю...

— Как ты насчет пердяницы, старик? — спросил Марк, глядя в мои глаза.

Я отошел от него, раздосадованный. Последнее время мне не везло. Кобелит — распространенное заболевание, оно редко встречается в единственном числе, и хотя говорят, что свежий воздух — источник заразы, у меня никак не получалось заболеть чем-нибудь еще, а заразиться специально для того, чтобы иметь больше женщин, не хватало духа. Посмотрим, если ее не возьмет какойнибудь счастличик, совпадающий с ней, может, я и решусь — уж больно хороша, несмотря на пердяницу, которая в третьей стадии добавляет человеку характерный нестерпимый запах.

И я стоял у стены, поглядывая на гениальную девушку, и она долго смотрела прямо в мой взгляд.

Жеребьевка подошла к концу, пары определились, и какой-то долговязый юноша с красными глазами робко, но уверенно встал возле гениальной девушки. Вот и все — она будет сегодня с ним.

Проклинаю несчастную судьбу, я подошел к столу и выпил шампанского, желая хотя бы выпиться в этот вечер.

Марк включил музыку, и мы стали танцевать. Я танцевал только быстрые танцы, а когда танец был медленным и склонным к обниманию друг друга, я валился на стул рядом с Марком и смотрел на веселых дам и кавалеров с чувством глубокого неудовлетворения.

— А ты сегодня будешь с кем-нибудь, Марк? — спросил я.

— Не знаю. Мне все равно. В каждой женщине есть своя прелесть и своя болезнь.

— Как ты еще жив? Ты же даже по улице ходишь без всего!

— Не знаю, — отвечал Марк, — мне наплевать. Может быть, так, наоборот, лучше.

Он пошел в комнату к чистой девочке. Она сидела внутри камеры, прижавшись к ее стеклянному углу, и излучала надежду и скуку.

— Скучаешь? — спросил ее Марк.

Я встал рядом и наблюдал их разговор, попивая водку.

— Да, — призналась девочка.

— Пошли со мной.

— Нет, что ты!..

— Я — не заразный, — гордо объявил Марк.

— Как это?

— Не знаю. Но это так. Хочешь, я приду к тебе — Марк отворил дверь в камеру. — Хочешь, буду ласкать тебя, хочешь, буду с тобой? Я чист, как и ты, — ты будешь моей жрицей, ибо черное не причинит белому вреда, и мы будем с тобой, как «да» и «нет» — в вечной любви и безопасности.

Девочка жалась в угол камеры, Марк наступал.

— Уверяю тебя, я чист. Ты мне нравишься, мне нравятся твои плечи и грудь...

Он коснулся ее.

— А-а-а-а! — заорала девочка и рухнула в объятия Марка.

Я грустно наблюдал характерную для Марка сцену. Потом отвернулся, чтобы не видеть его триумфа.

Я вошел в другую комнату и выпил большой стакан водки. Все было уже почти тихо: пары разбрелись по местам обоюдных удовольствий, и магическая ночь пронизывала заразный воздух за окном.

Я сел в кресло и настроился на грустно-лирический лад. И тут мягкая рука обхватила мое плечо. Я посмотрел и увидел гениальную девушку, сидящую рядом.

— Я люблю тебя, — сказала она. — Пойдем со мной!

— Но ты...

— Я соврала вам всем. Я тоже чиста. Ты мне не веришь?

— Но ведь я... Ведь у меня... Ведь у меня кобелит!

— Мне все равно. Я влюбилась в тебя — и мне все равно.

Я пытался вспоминать ее анализ, но не мог вспомнить; ее рука ласкала меня, и мне это нравилось, и потом, когда она поцеловала мою щеку, мне тоже стало все равно, и я подумал, что миг истинной любви может стоить пердяницы и даже конца!

Мы рухнули на пол, раздевая друг друга, и на секунду я забыл о презервативах и противоязгах, охраняющих нас от вредных любимых людей, и был готов к заражению чем угодно, во имя этой минуты, когда я просто целовал ее лоб.

Мы соединили свои половые части, не используя ни резину, ни целлофан, и я впился в ее губы, с остервенением желая мгновенной смерти в объятиях больной любви. Она стонала, словно боялась своей горькой судьбы и восторгалась ею, я же был с нею, словно первобытный мужчина, верящий в могущество своих богов и не боящийся мерзкой биологии невидимых глаз существ! И я завершил свой великий любовный акт, будто собирался иметь от нее детей — бедных уродов с врожденными болезнями, которые, может быть, будут счастливы только лицезрением друг друга, а может, еще и пожатием изъязвленных рук.

Мы лежали на полу, и абсолютно голый Марк пришел в нашу комнату.

— Друзья! — кричал он. — Давайте выпьем!

Он посмотрел на меня, подмигнул и сказал:

— Поздравляю, друг, с любовницей и пердяницей!

И я засмеялся, потому что мне стало очень смешно.

Наша компания собралась вместе, люди были по-луодеты и гладили друг друга, несмотря на гнойнички на своих телах.

Марк налил виски, выпил, и в комнату вошла чистая девочка.

Она сияла, прыщи словно испарились.

— Примите ее, — сказал Марк, — ибо она очень хороша.

Мы все поцеловали ее в щеку и снова стали пить.

Марк включил радио.

Бесстрастный голос неожиданно проговорил:

— ...повторяем экстренное сообщение. Как уже сообщалось, страна находится под опасностью заражением копцом — страшной болезнью, от которой наступает смерть через два года после заражения. Но последние исследования показали, что вирус копца, попадая в кровь человека, болеющего всеми венерическими болезнями, полностью вылечивает их, после чего сам умирает от свежего воздуха. Свежий ветер больше не является источником заразы! Братья и сес-

тры! Заражайтесь друг от друга! Открывайте окна! Вылечивайтесь! Нам больше ничего не грозит! Повторяю...

— Ура!!! — закричал Марк. — Я всегда это знал!

Мы сидели, обезумевшие от этих слов. Потом мы подпрыгнули, начали кричать, целоваться и делать все, что угодно, и Марк стулом разбил наше герметическое окно, чтобы свежий воздух, не являющийся больше источником заразы, проник в наши усталые и больные члены, словно святой дух, излечивая их.

Мы плакали и смеялись, делали друг другу непристойные предложения, исполняли их, прыгали и бегали и не могли насладиться счастьем.

Я обнял свою любовь, и мы стояли у окна и смотрели на прекрасный мир, в котором так вовремя появилась окончательная страшная болезнь, не терпящая ничего иного в человеческой бедной крови и умирающая вкупе со всей остальной дрянью от простой свежести, которой изобилуют природа и жизнь.

Мы стояли и стояли и готовы были вечно стоять у этого окна. Но взошло солнце, преображающее весь мир и вирус своим светом, и тогда нам всем пришел долгожданный копец.

ИСКУССТВО ЭТО КАЙФ

Мне хочется плакать, когда я листаю зарубежные журналы, посвященные сексуальной жизни в иноземных краях, которые где то наверняка располагаются на нашей планете. Мое мальчишеское мужество рыдает в снежную ночь, когда я вижу перед собой лоснящееся бумажное тело, которое возлежит на осыпанном бликами морском берегу, где танцуют кукарачу едва одетые особи гомо, и когда они открывают свои части тела, переступив через одежду, как через кровь или лимфу. Я всегда вижу в этом победу — когда под сдержанными трусами оказывается именно то, чего ждешь; я вижу в этом строгую гармонию нашего мира, в котором космос победил хаос.

Мне почти тринадцать лет, но я хорошо сохранился для этого возраста. Девушки не смотрят мне вслед, поворачивая, словно совы навстречу опасности, свои головы: и мне стыдно быть мальчиком в обществе девушек и женщин, и душа моя рвется в Париж, где возможна занятая игра в дочки-матери, и где маленький мальчик может обладать роскошной зрело-женской природой.

Начальник мамы Ильич, с которым она познакомилась в Швеции на приеме по поводу поддержки стран Азии Эфиопией (где также был замечательный член

эфиопского комитета Оссеуйле Куйле Жол, которому оттяпали его гордость в девическом возрасте по обычаям тамошних мест, но которую ему починили в Японии, в результате чего он осуществил свои многолетние грезы), сидел у меня на кухне, попивая кофе после душа, и сверкал очками, в которых отражался огонек его западносторонней зажигалки, в то время как я рассматривал порнографический журнал.

— Стариканчик! — сказал он мне, хлебнув кофе. — У нас за это дают сорок лет каторжной тюрьмы!

Я смущался. Я вздрагивал. Я загорался. Я гас.

— Русская шутка! — ухмыльнулся Амилькар Ильич, отбарабанив что-то китайское на своем чемодане. — На самом деле всего лишь — семь, мальчонок, поэтому — живи, ребенок, смотри, зайчонок! Хорошо, что в советской стране таких журналов нет!

Я пошел и плюнул с балкона.

Я стоял и думал: «Есть ли жизнь на обратной стороне Земли?» Потом я понял, что это западентально для пионера.

Вечером Ильич и мама пели песню про мороз. Я не знал, украинская ли это, белорусская ли песня, но она мне не нравилась. Я хотел красивых и мягких женщин. Я хотел женщин, которые не общаются и не смеются,

а только занимаются любовью — желательно со мной. Я просто хотел женщин. Хотел женщин априори. Женщин, которые женщины и все — больше ничего не требуется.

ИЛЬИЧ (*разусанив бородку, забивая трубку*). Мальчику нужно, уже пора! Ребенок должен познать уже любовь! Дорогая — ты не задумывалась об этом? Он, наверное, уже занимается онанизмом? В наш век это немудрено. Першинги заслонили собой женскую жопу. Рейган писал, что вырубит все женское население Союза за пять минут. Тем самым, он хочет, чтобы мужчины повесились.

МАМОЧКА. Но ведь он еще ребенок! Но ведь он еще ребенок! Но ведь он еще ребенок! Я не позволю говорить слово «жопа» при детях!

Мы сидели втроем, я пил джин и тоник. Ильич говорил, что в Алжире — жарко, в Гренландии холодно. Мама сказала, что Афанасий Салынский стал носить мятый пиджак. У меня случилась эрекция. Я пил коньяк. Ильич снял пиджак, мама застегнула ширинку, я кашлял.

Он появился в среду, принес мне подарок в огромном ящике. Моя мама была членом Мира, и поэтому отсутствовала в Узбекистане. Ящик был завязан красивой ленточкой, я потянул ее за конец, и коробка распахнулась, обнажив искусственную японку, кото-

рая стояла передо мной в одном белье с вечно соблазнительным лицом. Она была совсем девочка — мне под стать: и ее все таки женственная фигура задорно приглашала к односторонним занятиям, для которых не нужно ходить в кафе или кланчить плоть на остановках автобуса или метро. Я расцеловал Ильича, почуяв дезодорант на его лошадиных усах. Ильич прослезился, поправил кепку на макушке и уехал в аэропорт — встречать габонских спортсменов.

Я был один, прыгал по квартире, пускал слюни и уничтожал картон, чтобы узреть наготу века НТР! К женщине прилагалась книжечка, но она была на японском. И я взял, наконец, ее тело и медленно понес на свое ложе — она была теплая, молчаливая и покорная, батарейка была рассчитана на два года: глаза ее горели, и она смотрела на меня со всепроникающей любовью. Ее нежные ноги прикрывал пеньюар, и я стал медленно раздевать ее — я впервые раздевал женщину — и она была заранее готова ко всему, она заранее была согласна на мой любой каприз!

— Вот тебе! — громко вскричал я, с размаху ударив ее по щеке: я бил в ее лице всех девочек, которые плевали мне вслед и смеялись надо мной, издавая все равно соблазнительный запах дешевых духов; я бил всех своих будущих любовниц, которых мне придется бросать, которых мне придется соблазнять, которые будут плакать в мое плечо перед тем, как сказать очередную глупость возвышенной ночью; я бил в ее лице

свою будущую жену, которая не сможет исчезать тогда, когда нужно, и появляться тогда, когда я захочу ее использовать как любовницу; я бил свою маму, радуясь извращению Эдипова комплекса; и я сразу победил ее женскую природу — ведь я должен быть сильным и мужественным: жаль, что получив женщину, я забыл купить хлыст!

Она не среагировала на мой дерзкий шлепок — она все так же улыбалась мне, будто между нами ничего и не было! Я целую ее сухой рот, щекочу ее резиновое ухо — она не запрещает мне ничего; мне больше не нужна девочка Лена, которая не хочет целоваться, хотя это всего лишь начало.

Я бросился на нее со всего размаху, шарнирно обнажив ее кожаную плоть — Боже, неужели же меня никто сейчас не видит, и никто не смеется над тем, что я делаю? Сейчас я должен стать мужчиной, но как же, в конце концов, это делается, друзья? Наверное, нужно руководство, иначе я не соображу, что к чему.

Я тыкался в новую реальность, не в силах сломать стену и открыть дверь; как ни странно, это была именно Она, когда воспылав неким электромотором, и шепнув некий звук, она направила меня в правильное русло, где я сразу же почувствовал себя уверенным. Она смотрела на меня нежно, ничуть не обижаясь моей детской неопытностью; она только сделала свое дело, и даже улыбнулась, когда я все же научился управлять

самим собой. Великое удовольствие росло во мне, как цветок: имея ее, я имел всех своих знакомых девочек, я имел всех своих будущих любовниц, я имел, наконец, свою маму, наслаждаясь свершившимся Эдиповым комплексом, оживленной волшебной палочкой я имел чудесный, лакированный западентальный мир, который сиял бриолиновым блеском журнальных страниц; более того — я имел Весь Мир, чьим членом была моя мама и ее добрый начальник Амилькар Ильич!

Потом я отвалился от нее, почувствовав себя крепким мужиком, рядом с которым лежит кинозвезда. В этой жизни нужно пользоваться только самыми лучшими вещами, поэтому зачем мне нужна девочка Лена, которая неизвестно, чем хороша, если есть Джина Лоллобриджида? Мы рождены для счастья, ведь на это указывал даже Христос, который говорил в «Евангелии от Фомы», что все вы, мол, думаете о каком-то Царстве небесном, а на самом-то деле, это Царство уже давно наступило!

МАМА. Ребенок гол! Ребенок гол! Ребенок гол! Что это за девка?

Я. Мамик, это — Ильич.

МАМА. Только не забеременей. Я привезла узбекский коньяк. Меня все любят. Сам Председатель Земного Шара специально проснулся на заседании, когда я произнесла по-узбекски: «Рахат! Саодат!»

Я. Мама, я стал мужчиной.

МАМА. Это похвально. Только учись хорошо.

Вошел Ильич, он нес пасхальный кулич. Вошли га-бонский негр с вьетнамцем. Мы пили узбекский коньяк, я же все время отлучался к моей любимой Лоре (пусть она получит такое имя!).

И я напился, и заснул с ней в обнимку. С тех пор я живу с ней. И очень счастлив. Мне больше не нужно никаких женщин.

Сейчас у меня сидит Лена с кагором, но меня раздражает ее родинка за ухом. Ее не слишком тонкая талия. Ее не совсем правильная грудь. Лора стоит в гардеробе, и совсем не переживает, если я вдруг ей изменю. Я думаю, что это ей даже понравится. А потому мне даже и не хочется ей изменять. Интересен запретный плод. Верность же — это мудрость имущих.

ЛЕНА. Коля, давай поцелуемся!

Я. Давай, Леноч.

Мы поцеловались. Она чуть не откусила мне язык. Но я все равно возбуждился, и тут же побежал в свою комнату, потому что мы сидели на кухне, как и всякая интеллигенция, достал Лору и удовлетворил с ней свое желание.

После этого я успокоился и побежал назад — беседовать с Леной и пить с ней кагор.

ЛЕНА. Коля, давай еще поцелуемся, а ты меня при этом... приласкаешь.

Я. Конечно, Ленок.

Мы так и сделали. Ее тело оставляло желать лучшего, но все же было ничего. И я возбуждился, и поэтому пошел в свою комнату — к Лоре.

Когда я закончил, опять пришел на кухню.

ЛЕНА. Коля, а давай, ты меня... еще сильнее приласкаешь!

Я. О чем разговор, Ленок!

Так мы и поступили. Пришлось немного раздеть ее. Когда я это сделал, я увидел, что она вся дрожит. Это на меня очень подействовало, и, конечно же, я сразу возбуждился. А возбуждившись, тотчас побежал осуществлять это с Лорой, чтобы можно было дальше продолжать беседы с Леной.

Потом я опять пришел на кухню и обнаружил совсем голую Лену.

ЛЕНА. Коля, давай с тобой...

Я. Ну а как же? Все ясно. Сперва поцелуй, а потом — последствия.

Я попытался представить, что это Лора, но она не была столь послушна под моими руками, а кроме того, она оказалась девочкой — а я был слишком удовлетворен, чтобы решиться совершить роковой шаг в ее жизни. И мы поняли, что совсем не подходим друг другу.

Она оделась и сказала мне:

— Прощай, Коля! Я никак не думала, что ты — импотэнт!

Она ушла, а я подумал: «Жаль. Но ладно». И я вспомнил ее прерывистое дыхание и зажмуренные глаза, и, конечно же, возбудился. А возбудившись, немедленно пошел к Лоре, которая ни разу не сказала мне еще ничего обидного.

Так я и жил. Я возмужал и стал красивым мужчиной. Мама обсуждала со мной сексуальные проблемы, попивая джин.

Но однажды счастье кончилось. Лору украли. Я плакал всю жизнь.

Грязный Ильич в вельветовой рубашке подошел, закурив «Кэмел», и сказал:

ИЛЬИЧ. Сматывай удочку, малец-удалец! Девицу дали напрокат, ей цена — пятьсот рублей. Мой приятель занят сыроедением, ему тоже нужна ночная помощница, которая не скулит и не плачет!

Я. О, боже! Моя любовь! Моя жена! Невеста! Мать! Дочка! Сестра!

Но все было тщетно в этом худшем из двух лучших миров, которые имеются у нас в наличии. Лору увезли нехорошие люди, словно Констанцию, в зашторенной черной «Волге», а я навсегда остался безутешен.

Прошли годы. Сейчас я — почти седой и злой мужичок — сижу на скамейке и размышляю о жизни. Я — кандидат в члены Мира, и иногда выбираюсь в Алжир или Того, но нигде нету моей любимой, бедной, прелестной, неувядаемой женщины! Любовь мне опротивела с детских времен, и я ни разу больше не прикоснулся к женскому телу — мне не нужны суррогаты! Мне нужна Она и только Она — мягкая, вечная, своя в доску; верная и молчаливая, она не имеет изъяна, в ней все продумано лучшими умами человечества, она — Незнакомка, Жена, Женщина Сама по Себе; только с ней я могу быть счастлив, ибо она — это я, моя половинка, мой платоновский двойник, который я буду искать до старости, не зная отдыха, и не веря в смерть.

Я сижу на скамье, наблюдая закутанных в пальто женщин, и по стариковски посмеиваюсь над их не

слишком тонкими талиями, над их не слишком правильными носами, над их не слишком большим умом. А если он небольшой — не лучше ль, если б его не было вообще, но зато была бы тонкая талия, правильная фигура, вечный огонь в глазах и вечная молодость в искусственном теле?! Искусство вечно, а жизнь приходит и уходит.

И как законченный идиот, я жду командировки в Майами, которую мне дадут только тогда, когда я стану действительным членом Мира: и я жду ее, потому что там живет сбежавший от нас Ильич, где он ест щи на вершине небоскреба, вспоминает узбекский коньяк и насилует женщину моей мечты. Я приеду, вытащу смертельный револьвер, который куплю у своих арабских друзей, и заставлю его отдать мне мою дорогу — мою самую лучшую, незабвенную и нестареющую Ее — мою Незнакомку, — мою Лору!

ЖЕНИНЫ МГНОВЕНИЯ

Boy, I'm a boy — you've made me...

Boy George

Я хочу описать величайший день моей жизни; день, гениальные мгновения которого полностью изменили мою судьбу, сделав ее донельзя счастливой и прекрасной и вообще — похожей на начавшийся тогда и не прекратившийся до сих пор чудесный сладостно нежный восторженный сон; истинно-реальный и окончательно победивший бесконечные грустно-серые будни, являющиеся обыкновенно основным наполнением жизней большинства живых существ и бывшие главным фоном моей тогдашней тоскливой глупой жизни с редкими проблесками подлинного Праздника, Чувства и Любви.

Я проснулся в тот день утром в своей кровати, голый, как всегда. Под простыней лениво лежали мои телесные члены, бугрясь гладкой мужской грудью, аккуратным животом и упругой наполненностью бедер; все было создано так, что просто нельзя было не возлюбить эту определенную нежащуюся сейчас плоть, которую хотелось погладить и всячески приласкать. Между ног, куда-то вниз, свесился мой аккуратный половой орган — я сжимаю колени, чтобы он исчез,

скрылся, пропал и вдруг преобразился в свой абсолютный — женский — антипод, который я всегда жаждал и желал если не у себя, то у других; но мне было безумно приятно сейчас представлять его здесь — внизу от пупка, чтобы почти непроснувшаяся рука стремилась к нему, а лицо озарялось кокетливой улыбкой; и чтобы трепетали соски, совсем как у любимой, когда я беру ее за талию и погружаю свой грубый мужской язык в ее теплое ухо.

Я не женщина! Я не девушка и не девочка! Но я только, всего лишь, мужчина — какая жуткая несправедливость и однобокость видится мне в этом слишком жестоко определенном жесте судьбы!

Раз, два, три — я встал! Я встала! Я проснулась; скорее (если б так можно было выразиться), я встало!..

Эх! Вихляя бедрами и выставив грудь, я иду в ванную, чтобы заняться утренним туалетом; я не спеша подхожу к мягкому зеленому креслу и накидываю на плечи розовый ажурный пеньюар; длинный вздох — и я улыбаюсь озорной счастливой улыбкой весеннему солнцу за окном, взрывающему матовым сиянием мои щеки и губы, и я готов жить и тут же заняться любовью с самим собой; мне не нужен никто, я сам есть Женщина для самого себя; меня зовут Женя, то есть почти Женщи-на, и зачем мне нужны какие-то другие тела и души, когда стоит мне надеть мой любимый черный лифчик и медленно провести ладонью по своей талии,

я тут же явственно ощущаю этот, извиняюсь, великолепный хуй вонзенным в эту же роскошную нарядную плоть; и тогда оргазм озаряет всего меня, словно истинное Откровение, и зарождается Новая Жизнь.

Я долго стоял у зеркала после душа, расчесывая свои кудри и крася губы; я решил сегодня избрать лиловую помаду и обвести ее по краям черным карандашом, чтобы мой рот вспыхнул бешеным огнем чувственности и страсти, а глаза, обведенные черно-зеленой тушью, лукаво смотрели на мир из-под длинных, вздымающихся вверх, как вечный восторг моей души, ресниц. Я надеваю прозрачные красные трусики и опять зажимаю ногами мой член; теперь можно видеть лишь соблазнительно рыжеющие сквозь бельевой шелк волоски, один вид которых повергает меня в экстаз и радостный трепет.

— Какая милая!.. — басом говорю я сам себе, ухватив правой рукой свое левое плечо, словно стесняясь своей груди, а затем, расставив ноги и на миг став опять мужчиной, подмигиваю сам себе, и в зеркале мне улыбается прекраснейшее девичье лицо: ее зовут Женя, как и меня, и она — это тоже я, и я вечно влюблен в нее, как и она в меня, и — о, Боже! — как же нам хорошо вдвоем!..

Я начинаю теревить свой член-клитор, вопя вместе с ней от восторга, и наконец мы кончаем одновременно; и теплая свежая сперма стреляет в ее-мой пупок, а

я подставляю ладонь и пью ее своим ртом, размазывая ее прямо по Жениным губам в помаде, в то время как я — Женя — шепчу одну и ту же великую фразу, которую она упоительно повторяет за мной своим колокольчиковым мятым голосом: «О, как прекрасна ты, возлюбленная моя!..»

Потом спешно подмываюсь, чищу зубы; а потом сижу за чашкой кофе на кухне и курю длинную коричневую сигарету, одновременно бегло осматривая ногти и размышляя, каким бы лаком их покрасить; я все-таки не сдержался в ванной, и этот секс немного испортил макияж, но ведь все поправимо, и я удовлетворенно смеюсь, стряхивая пепел и поправляя на пальце золотой перстень с большим изумрудом.

Сегодня выходной день, и мне совершенно не нужно крутиться на всевозможных работах, чтобы получить деньги, которые я обычно спускаю на прихоти; раз сегодня выходной, я полностью предоставлен (предоставлена!) сам себе, и вечером — а сейчас уже три часа дня! — я, наверное, отправлюсь в какой-нибудь ночной бар, например в любимое заведение под странным названием «Двустволка», и буду танцевать, пить шампанское и таинственно смотреть на происходящее там повсюду всеобщее веселье.

— Пойдем в «Двустволку», Женя? — спрашиваю я.

— Да, Женя!

— Мне хорошо с тобой!

— Я люблю тебя!

Вот так; обычно мы не спорим, хотя один раз даже подрались, когда не могли согласовать место наших любовных утех; я дал ей тогда пощечину, от которой у меня немедленно покраснела левая скула, а она расцарапала мне грудь, выдрав из нее волосок, что было очень больно. Но я извинился и даже решил доставить ей «оральное удовольствие», как сказано в фильме «Pulp Fiction», но у меня ничего не получилось, поскольку мы с ней все-таки занимаем одно тело и при всем своем желании я не могу выделить ее в отдельный организм, как бы нам этого ни хотелось; а может быть, это и к лучшему: ведь главная мечта человеческих мужчин и женщин на этой планете состоит в бесконечном приближении к абсолютному единству, а у нас эта задача решена изначально и окончательно.

Через несколько часов, которые я потратил на тщательное одевание в шикарное платье, чулки (как же я люблю великолепный кружевной пояс!) и наложение косметики везде, где только можно, я сидел за столиком в любимом ночном заведении и надо мной грохотала изнуряющая тяжелой, истинно фоновой однообразностью, техномузыка. Я подстукивал шпилькой ее вечному такту. Везде тусовались разукрашенные люди; в центре зала дергались, разбившись на пары, натуралы, слева от меня разместилась тихая и немно-

гочисленная компания лесбиянок, а справа шумно пили пиво плечистые педерасты в кожаных куртках и майках советского образца.

Я ласково смотрел на все это характерное ночное действие одобрительным женственным взором и откидывал со лба налаченную прядь. Я весь источал запах гениальных духов и чувствовал их безумно возбуждающий аромат в полную силу, стоило поднять верхнюю губу к ноздрям; у меня нос даже запачкался помадой. Как же я прекрасна!..

И тут я заметил, что мужичок, сидящий рядом с лесбиянками, вперился в меня и буквально не может оторвать взгляд от моих великолепных коленей, призывно выступающих из под-подола.

Он был одет в строгий черный костюм, черные сапоги и черную шляпу; на его верхней губе краской или углем были нарисованы задорные тонкие усики; рот застыл в ироничной усмешке, он потягивал через соломинку коктейль из огромного стакана. Почему он так уставился на меня?.. Бессознательно поднимаю голову и смотрю прямо в его глаза; плечи мои разворачиваются, проявляя грудь, у меня в лифчик вместо сисек засунуты скомканные носки и носовые платки, но в такой тьме это все равно — я выгляжу абсолютной, стопроцентной привлекательнейшей женщиной и могу даже заигрывать с противоположным полом, почему бы нет?..

Женя, что ты делаешь, ведь я — твой единственный любимый, ведь правда? Женя, правда?! Потрогай, какой у меня классный член, какие у меня упругие ягодицы, как точено выглядит мой холеный подбородок, где может отрасти чудеснейшая, густая борода... Я ревную, я бешусь, не смотри туда, не смотри!..

Пошел ты, сколько можно, я — Женя, я — свободная девица, у меня нет члена, на мне женские трусики и лифчик; мое платье шуршит, я ведь могу тебе изменить?

Нет, никогда, ведь ты же не педераст, что ты делаешь, проказница!

Я, конечно, не педераст, я скажу тебе, кто я. Я — лесбиянец, вот я кто; и не мешай мне строить глазки и настраивать свой голосок на высокий девичий грудной тон; что будет, если он захочет пригласить меня на танец?

Пошли отсюда!

Уходи сам, придурок! Надо подкрасить губы.

Ну и уйду! У нас с тобой все кончено.

Я встаю из-за столика, беру сумочку; тут мужичок с угольными усиками тоже встает, пересекает зал и оказывается рядом со мной.

— Потанцуем? — говорит он, указывая рукой на стойку бара. — Меня зовут Женя!

Я прыскаю от смеха, вынимаю из сумочки носовой платок, вытираю себе лоб и замираю в нерешительности. Я жду, что скажет мой собственный Женя, но внутри меня все тихо: блин, неужели он в самом деле ушел?!

— Ха! — смело отвечаю я настроенным на нужную высоту девичьим грудным тоном. — И меня зовут Женя. Ну пошли. Только мне надо...

— Я вас провожу!

Он словно читает мысли, а может быть, хочет как-то унять мою нерешительность, знал бы он, в чем ее причина...

Он приобнимает меня за плечо, другой рукой осторожно касаясь моей талии. Мы входим в неразбериху дрыгающихся в танце людей и тоже начинаем ритмически дергаться, причем его таз буквально ходит ходунком, вверх-вниз, словно он дает мне понять, с каким остервенением и настоящей страстью может заниматься любовью... А где же мой Женя? Женя, откликнись! Молчит, ушел, да и к черту его; зубы мои разжимаются, высунутый язычок облизывает губы — это я ему показываю, как я могла бы делать, и стараюсь двигать задницей вправо-влево, чтобы он обратил на нее

пристальное внимание, но, кажется, я ему и так понравилась — что же делать? что же делать?!

Мы оттанцевали с полчаса, я устала. Я посмотрела на свои маленькие аккуратные часики; он опять обнял меня за плечо и зашептал в левое ушко:

— Вы спешите, вам надо уходить, давайте я провожу вас, вы такая красивая, вы — моя богиня!..

— Ты тоже ничего, Женя, — говорю я и сама удивляюсь, что я это говорю, — но не надо, меня ждут, мне надо быстро-быстро...

— Ну и я с вами быстро-быстро...

— Ты такой быстрый?..

Мы хохочем вдвоем; он уже совершенно уверенно обхватывает мою талию, и я понимаю, что мне не вырваться.

— Не надо!..

Блин, что я несу, надо сматываться, и чем скорее, тем лучше. Но мне не уйти просто так, тем более что мой любимый... оставил меня. Ах, была не была!

Мы вышли из «Двустволки» и очутились в мягкой ночной тьме; он шел рядом со мной разлапистой мужской походкой, и мои шпильки победно стучали по ас-

фальту, вызывая гулкое эхо в соседних подворотнях. Мы шли и молчали, а он все время смотрел куда-то в мою шею горячим, соблазняющим, вопросительным взором; мне надоело, и я взяла его под руку.

— Мне в самом деле надо идти...

— Ну я хоть поцелую вас на прощание! Да, да, не спорьте, это — нужно, хотя...

— А что, собственно, хотя?! — изумляюсь я, злобно останавливаясь и глядя в его ставшее вдруг почти по детски растерянным лицо.

— Да... Извините.

Он отходит от меня и стоит напротив, ничего не делая, словно ни на что не решаясь. Наконец он улыбается и тихо говорит:

— Мы с тобой одного пола — ты и я.

Что?!

— Конечно, конечно, — разочарованно отвечаю я ему. — Мы с тобой одного пола — я и ты. — Интересно, он только сейчас меня просек? — Но... Я просто это люблю...

— А я не лесбиянка, — говорит он мне, — хотя иногда... Но сейчас я просто заигралась. Ты — шикарная баба.

Тьфу!

— Да я — мужчина! — кричу я ему, совсем как в кино с Мэрилин Монро, и даже пытаюсь расстегнуть какую-то пуговицу на платье. — И, в отличие от тебя, совершенно не голубой! Я просто, просто...

Тут он начинает бешено ржать, словно накурился марихуаны.

— Ты что, серьезно — мужчина? И — Женя? Я-то ведь — женщина! Я просто так люблю... Женя...

— Врешь, — остолбенело говорю я.

— Нет, это ты врешь!..

И тут, будто по команде, мы отходим в ночную тень и одновременно выставляем вперед свои правые руки и... засовываем их: я ему в штаны, а он мне под платье. Я чувствую полное отсутствие любых выпуклостей в паху, даже напротив, мягкую покатошь, волосы, в то время как он резко хватает меня прямо за яйца, отчего я инстинктивно дергаюсь, чуть ли не сгибаясь пополам.

— Женя?! — говорим мы друг другу одновременно, ошарашенные, очумленные, остолбенелые. — Женя?!

— Женя, — говорит она мне красивым мужским баритоном, — ну теперь-то я могу тебя поцеловать?!

Вот так, ночью того великого дня своей жизни я нашел свою судьбу.

Мы женаты шесть лет, и я не перестаю благодарить Высшие Силы, которые нас свели. Мы живем вместе, в моей квартире, а по уик-эндам ходим в любимое кафе «Двустволка», где танцуем и целуемся. Мы так любим друг друга!

Но если вы думаете, что мы перестали надевать наши любимые одежды и представлять самих себя на месте самих же себя, то глубоко заблуждаетесь. Более того, мы окончательно уверились, что произошедшее было не случайно и все надо оставить именно так, как оно и случилось. И хотя у нас двое детей — мальчик и девочка, даже они не знают подоплеку нашей жизни и любви. А впрочем: зачем им знать прошлое, пускай будут счастливы сейчас, в настоящем и в будущем. Ведь все мы — счастливая, дружная семья, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы они не думали никаких глупостей о своих родителях, о своем появлении на свет, в этот мир, и о том, в каком качестве их родители друг с другом познакомились. Я никогда им ничего не скажу, никогда! Пусть растут и спят спокойно — ведь я же их мама.

НЕ ВЫНИМАЯ ИЗО РТА

1. Поездка в Америку

Зовите меня Суюнов. Когда я смотрю на себя в зеркало, меня охватывает восторг, изумление и счастье. Я дотрагиваюсь до мочек своих ушей большими пальцами рук — и истома нежности пронзает меня, словно первые пять секунд после введения в канал пениса наркотика кобзон. Я трогаю мочки ладонью и погружаюсь в сладкое бесконечное умиротворение, напоминающее пик действия ХПЖСКУУКТ. Я подпрыгиваю, хватаю мочки указательным и большим пальцами, начинаю онанировать, то разжимая, то опять сжимая их, и предчувствие великого, сильного, огромного оргазма обволакивает голову, повергая меня в трепет, блаженство и страсть; мочки будто заполняют меня целиком, я весь преображаюсь, теряю свет в глазах, понимание и стыд, и бешеный конец затопляет меня всего, отзываясь пульсацией крови во всем теле, судорожным сердцебиением и изливанием семени внутрь. Мне кажется, я не забеременел, я думаю, что могу ощутить сам момент зачатия, самоосеменения, и я боюсь умереть от любви и счастья в тот миг, и мне страшно, и все как волшебство. О, Иван Теберда!..

Сегодня было хорошо. Я припудрил уши, расчесал лобковую область и застегнул чемодан. Я решил поехать в Америку — страну педерастов.

Я — монолиз. Монолизы составляют примерно половину русских и четверть украинцев. Мы трахаемся через мастурбацию мочек ушей. Американцы — педерасты. Немцы — подмышкочесы, французы — говно. Австрийцы делятся на мужчин и женщин, папуасы различают двадцать девять полов. Теберда! Мне страшно думать о возможностях, открытых перед ними. Но извращения запрещены. Родился монолизом — дрочи уши. Если педераст — поступай соответственно. Я боюсь законов, боюсь отрезания своих ушей. Они так прекрасны, что если я смотрюсь в зеркало, я тут же возбуждаюсь и начинаю немножечко потрагивать мочки. И если это случается в общественном месте — ужасно! Мне не раз уже приходилось платить штраф. О, Теберда!

В детстве, когда я начинал заниматься этим за столом, тут же получал оглушительную пощечину от родителя.

— Люби в одиночестве! — выкрикивал он надоевшую общеизвестную фразу, написанную в каждой букваре. — Ты что, русский язык не понимаешь?!

— Понимаю, — отвечал я в испуге.

— Так вот, иди в туалет и там давай!!

— Там воняет.

— Мне наплевать! — восклицал человек, производший меня на свет. — Ты должен вести себя прилично! Вот когда я умру, ты останешься один в квартире, и хоть обдрочись!

— К тебе вчера две муженоски приходили сосать... — говорил я, плача.

— Ах ты, гнида! — ярился мой гнусный отец-мать. — Я тебе дам!

И он стегал меня ремнем по плечам. Когда он умирал от несварения мочи, я додушил его. Мне хотелось отрезать его мерзкие уши, которые были много меньше моих, но я подумал, что это может вызвать подозрения у милиции, а наши милиционеры — дотошнейший народ. Они все белорусы и имеют по два влагалища на брата. Когда им нужно делать тю-тю, они обнимаются, целуются, называют друг друга машками и засовывают каждый другому по два пальца рук в эти влагалища. И так могут стоять часами. И постоянно — поцелуи, машки. Неудивительно, что их прозвали машками. Я их ненавидел, а они нас называли ухвертками и постоянно пытались поймать на каком-нибудь нарушении закона о приличиях. Один машка меня особенно невзлюбил.

— Эй ты, ухвертка! — кричал он мне. — Ты не за мочку ли схватился?!

Он шел на меня, смердя своими гордо выставленными влагалищами, которые налились кровью, как глаза навывкате.

— Никак нет, мой дорогой приятель и друг! — нехотя отвечал я.

— Смотри, упэрэ!.. — говорил машка и степенно уходил.

О, Теберда! Сколько они могут издеваться надо мной!

Сегодня я решил лететь в Америку. Там педерасты, а я — турист. Да, я хочу извратиться. Да, это стоит больших денег (американцам на все наплевать, кроме своих загорелых мужественных попок и денег). Да, я заработал у мерзких японцев, которые испражнялись мне в рот. Да, меня чуть было не застукали с этим, и мне пришлось отвечать, что я ел у самого себя (как хорошо, что говно у всех одинакового вкуса!). Но я хочу испытать все то, что видел когда-то в детстве, подсматривая за родителем, размотавшим все деньги, оставленные ему дедушкой, на разные забавы. Я хочу! И хотя у нас тоже в принципе можно найти любые удовольствия и радости, я хочу уехать. Я хочу увидеть другую страну, посмотреть на небоскреб и прикоснуться к заднице Американской Мечты — главному их монументу, стоящему где-то там. И я полетел.

2. В самолете

Стюардесса с большим хуем на лбу спросила меня:

— Коньяк, изжолку, мочу, воду?

— Я хочу кольнуться, — сказал я робко.

— Бой, ты, дурак, шутишь?! — рассердилась она. — Иди-ка быстро в туалет, подожди.

Я встал, но тут же самолет вошел в крутой вираж. Я упал на какого-то вьетнамца, напоминающего желе, и он начал меня обволакивать, урча.

— Ты — ласковый, как груша в моей стране! — воскликнул он.

— Иди в дупло! — крикнул я. — Я — русский!

Он выделял какую-то пахучую вещь, напоминающую клей. Он был страшно похотлив.

— Ты летишь в Америку, муздрильник... — мурлыкал он. Я не мог отпутаться от этого липкого человеческого существа. — Там свобода, там все. Ты — монолиз?

— Да, — агрессивно отвечал я.

И тогда этот гад начал раздражать мои уши своими щупальцами или чем-то еще, что выделяло тот самый клей.

— А! — заорал я. — Я не готов! Мне очень очень очень приятно!

Самолет опять сделал какой то идиотский вираж (очевидно, пилоты занимались тю-тю), и меня тут же отбросило от вьетнамца.

— Бой, ты здесь? — удивленно спросила стюардесса, которую я чуть не сшиб. Она направлялась к японцу с ночным горшком.

— Я вас люблю, человечинка моя! — насмешливо заявил я, дотронувшись до своих мочек.

— Быстро туда, — сказала стюардесса шепотом.

Я помчался в туалет и заперся там. Через какое-то время раздался стук. Я отворил, и вошла стюардесса с огромным шприцем.

— Что это? — оторопел я.

— Это — вань-вань! — гордо произнесла она. — Лучшее вещество, последнее достижение подпольных дельцов. Вводится в спинной мозг. Для тебя бесплатно, но ты должен поцеловать меня в щеку.

— Пожалуйста, — сказал я и поцеловал ее.

Она тут же стала красной; хуй на лбу эректировал, и глаза ее наполнились спермой.

— Невозможно... — выдохнула она. — Это — все... Я не знаю... не могу просить тебя еще...

— Мы договаривались только на один раз! — рассерженно заявил я, обнажая спину. — Попрошу соблюдать!

— Ну ладно, ладно... — залепетала она. — Я же просто так...

Я почувствовал ужасную боль, будто мне разламывали спину на две части, но как только я хотел повернуться и врезать этой гадине, тут же наступило такое бешеное наслаждение, тепло и счастье, что я упал прямо на туалетный пол, не обратив внимания, что ударился затылком об унитаз, я провалился в какую-то сладкую вечность, к которой лучше всего подходило простое, короткое слово «рай».

3. Винтом

Я очнулся, когда самолет уже стоял на земле. Кто-то сильно стучал в дверь туалета, где я до сих пор лежал. Мочка моего правого уха была погружена в чье-

то дерьмо. Это было немного приятно, но тут же я вскочил, немедленно вспомнив японцев. Спина страшно болела. Опять раздался нервный громкий стук.

— Открой, кто там, или я сорву тебе нос!

Я отворил, передо мной стоял пилот.

Увидев меня, он приосанился и произнес:

— Простите меня, сэр. Я думал, это Джонс, сэр. А это вы, сэр. Добро пожаловать в Америку, сэр.

— Где небоскреб? — сонно спросил я.

— Там, сэр, — отвечал пилот.

Я вышел, взял свою небольшую сумку и ступил на американскую землю.

Было жарко, повсюду ездили автобусы, управляемые загорелыми мужчинами.

После разных формальностей я оказался в аэропорту. Прямо передо мной находился бар, в котором было виски.

Я вошел, сел за стойку, ощущая дикую спинную боль. Иван Теберда! Подошел загорелый молодева-тый бармен, улыбнулся мне белозубо и потом зевнул.

— Я хочу выпить чашечку виски, — заявил я.

Он кивнул, налил. И тут я увидел, что справа и слева от меня садятся два парня. Они были американцы, румяные, как помидоры, и в ярко зеленых фермерских кепках, на которых почему то было написано «хуй».

— Эй ты, мужчинка, — сказал один из них.

— Мальчоночек, малек, пацан, — сказал другой.

— Ты — русский?!

Я отхлебнул виски и прибавил лицу решимости.

— Монолиз! — гордо произнес я.

— А ты не хочешь ли винтом? — спросил один.

— Да, винтом не желаешь? Пятьдесят долларов плюс твоя попка, а?!

Положение становилось критическим. Если бы у меня было два ножа, я зарезал бы их сразу — в горла.

Я улыбнулся и сказал:

— О'кэй, ребятня.

Они обрадовались, стали хлопать меня по спине, отчего я чуть не умер, и повели в туалет.

— Наши туалеты — это не ваши туалеты, — говорил мне один из них по дороге. — Зови меня Абрам.

— Да, ваши туалеты — дерьмо, а наши — отлэ, — восклицал другой. — А меня зови Исаак.

И мы все вошли в туалет и встали посреди него.

— Ну и что? — спросил я.

— Что? — отозвался один.

— Что? — повторил другой.

— Как это? — сказал я.

Тут они расхохотались и ударили меня по жопе.

— Малец кажется, еще не пробовал винтом. Он — мальчик! Это ведь удача, Абрам?

— Точно, Исаак!

Они заставили меня опуститься на колени, а сами встали у моих ушей справа и слева от меня. И вдруг они как по команде сняли свои штаны и трусы и обнажили огромные члены. Абрам крикнул: «Хоп!» и они стали неистово трахать мои мочки с двух сторон в едином ритме. Вжик-вжик-вжик-вжик...

Иван Теберда! Что за наслаждение?.. Что за чудо, что за прелесть, стыд, предел! Теперь я знаю, что такое извращаться! Теперь я понял, как прав был мой сука-отцемать. Еще! Еще! Еще!

И тут, в самый момент моего оргазма, когда голова моя словно расширилась до размеров Вселенной, раздался свисток.

— Полиция! — испуганно заорали Абрам и Исаак, быстро застегивая штаны. — Прощай, парень, мы найдем тебя. Твоя попка с нами!

С этими словами они тут же вылезли в окно и умчались.

Я остался на коленях, как раз испытывая пик удовольствия.

— А, русский, — сказал загорелый полицейский, — и сразу же начал! Ай-яй-яй! Турист!.. В каталажку его! К разному сброду. Он не должен общаться с настоящими мужчинами! Жаль, не успел поймать этих подонков...

На меня надели наручники и куда-то повели. Я подумал, что вряд ли теперь увижу небоскреб. И все таки мое настроение было прекрасным. Винтом!

4. Не вынимая изо рта

— Ты должен, паскуда, соблюдать законы этой камеры! — заявил восьмийцевый человек, вставший надо мной. — Я здесь главный! Когда я какаю, мое дерьмо делится на двадцать девять частей и поедается всеми. Понятно?!

— Пошел ты в дупло, отброс чешский! — сказал я, поднимаясь. — Жри у себя сам.

— Ах ты... — начал чех, разгневанный моей наглостью, но тут я вцепился зубами ему в елдык.

Он завопил, начал бить меня руками, ногами, дергаться, но я не отпускал. Он схватил острую ложку и занес надо мной, и тогда я окончательно разозлился. Я сильно сжал челюсти и откусил елдык. Чех пал на пол камеры и отключился.

Я выплюнул елдык и громко сказал, чтобы всем было слышно:

— Чех без елдыка — словак!

Всеобщий хохот был мне ответом.

Подошла какая-то нанайка, вся состоящая из щелей и пропищала:

— Теперь ты — наш командир. Мы все будем есть твое говно!

Все одобрительно закивали.

С этого момента моя жизнь стала просто замечательной. Я делал, что хотел. Поскольку это была тюрьма и здесь не было загорелых американцев, за нами никто не следил, и я испытал, наверное, все виды извращений по Шнобельшнейдеру. О, Иван Теберда! Как прекрасно, как чудно, как замечательно было все то, что я испытывал! Но особенно меня любили две англичанки близняшки, соединенные единым клитором.

Они обычно подходили ко мне рано утром, когда я лежал и мои уши обдувались двенадцатью немцами, и говорили:

— О, повелитель, о, любимый, о, радость, о, смысл! Позволь, пососать тебе, позволь!

— Еще не время, девчонки, — отвечал я. — Потерпите.

Посасывание я откладывал на потом, боясь быстро перепробовать все извращения и разочароваться в них. А они все подходили и подходили.

Наконец, когда, как мне показалось, что я в самом деле исчерпал набор того, что можно получить от живой и мертвой человечинки (все трупы съедал наш бельгиец), я заявил:

— Хорошо. Я согласен. Сосите, милые, сосите!

Я отогнал всех, они подошли ко мне, встали на колени и каждая взяла мою мочку в свой рот. Уже одно только это поразило меня, как стрелой в грудь. И они стали сосать...

Они сосали, а я испытывал то, что еще никогда не ощущал, я кричал, визжал, стонал, почти терял сознание, и наконец я понял, что больше не могу, что не выдержу, и выдавил из себя:

— Все... Все... Остановитесь... Стоп...

Но они не прекратили, и не вынули мои уши из своих ртов. Я начал дергаться, попытался встать, но оказалось, что меня держат. Немцы или кто-то еще держали меня за руки и за ноги и не давали возможности уйти от этого бешенства, от этой прелести, от этой смерти. Я оцепенел, потом меня, наоборот, стало судорожно колотить, как в припадке эпилепсии, и я понял тогда, что монолизу нельзя испытывать сосание столь долго, что это губительно, страшно, смертельно, и что вся камера знала это, и, ненавидя мои издевательства, решила таким образом расправиться со мной. Что ж! Что может быть лучше смерти от самого высшего наслаждения, которое только возможно?

Я увидел, как влетаю в какой-то радужный ласковый туннель, он обволакивает меня любовью, предан-

ностью, величием, и когда вдруг вспыхнула вспышка, и я осознал, что пришла моя смерть, вся эта реальность исчезла.

1992

КАК Я БЫЛ ВЕЛИКАНОМ

(Быль)

Я давно хотел стать великаном — величиной с десятиэтажный дом, а может быть, и выше — сильным, привлекательным и непобедимым. Тогда мне уже никто не смог бы ничего сделать, а я любому диктовал бы свою волю и власть. Иногда мне даже хотелось обладать чудесным свойством проходить сквозь все окружающее, будто вихрь каких-нибудь гамма- или альфа-частиц; я был бы тогда совершенно вне этого мира и мог бы говорить и делать все, что только захочу, без всякой опаски. Я мог бы даже насмеяться над лучшим другом и над собственной матерью, и для меня не осталось бы совершенно ничего святого — ведь кто может меня тогда остановить или чем-нибудь помешать?!

И вот однажды я действительно стал великаном: часто наши желания исполняются. Я стал большим и могучим, страшно сильным и непобедимым. Я стал величиной с Землю. А затем я стал еще больше.

Началось это так: одним неприметным серым полуднем я стоял в какой-то парковой бильярдной вместе с лучшим другом — маленький, скромный и жалкий; играл, проигрывал рубли и тайно злился, хотя и не показывал виду. Мой второй лучший друг был в это время

дома, он не пошел вместе с нами в парк, а мы играли, играли и проигрывали постепенно все наши деньги. Наконец они закончились, и после этого мы стали великанами.

— Ну что, пацанчики, больше нету бабок? — нагло улыбаясь, осведомился у нас наш победитель, завсегда́тай бильярдной.

— Нету.

— Тогда валите отсюда, игра окончена, ха-ха!..

— Вы бы лучше не играли с ним, ребятки, — сказал нам добренький старичок, наблюдавший нашу игру.

— Молчал бы лучше! — огрызнулся на него завсегда́тай.

И вот тут-то мы начали становиться великанами. Сперва мы мгновенно стали выше на голову этого противного завсегда́тая бильярдной.

Как только это произошло, я подошел к нему и угрожающе сказал:

— Ну, чего ты там?..

— Да нет, нет, ничего, — засмутился он, увидев, как мы резко прибавили в росте и весе.

Потом он внимательно нас осмотрел, задумался, отошел немного назад и крикнул:

— А ну уматывайте, пока я не позвал кой-кого!..

После этого мы так разгневались, что в миг стали вдвое больше нашего победителя. Вместе с нами увеличились и наши кии, которые мы держали наперевес. И тут я решил, что пора дать ему по морде, подошел поближе и легко ткнул его кулаком в рожу.

Раздался сильный тупой стук; он вскрикнул, отлетел куда-то и замолк. Его широко раскрытые глаза остановились, а лицо словно застыло в выражении некоего сложного философского вопроса. Вокруг него скоро натекла лужа крови.

Тут я, продолжающий расти, стукнулся головой о потолок бильярдной и, чтобы ее не порушить, решил выйти на улицу. Друг последовал за мной.

Пока мы выходили, кто-то где-то засвистел, закричал, и, как только мы вышли, нас тут же окружили человек двадцать. Один из них вытащил длинный сверкающий нож.

Но, очутившись на улице, где над нами не было никаких преград, мы моментально так выросли, что все эти люди своими размерами доходили нам теперь до коленей. Мы сразу же раскидали их ногами, а того, кто

был с ножом, подбросили куда-то вверх, и, когда он шлепнулся обратно на землю, голова его с треском раскололась и из нее потек, точно кокосовое молоко с клюквенным вареньем, красно-белый мозг.

Тут опять кто-то засвистел, и вся эта небольшая толпа в ужасе закричала и начала разбегаться в разные стороны. А мы разгоняли их своими огромными киями.

— Ты что?! — вдруг ужаснулся друг. — Что же мы делаем?! Сейчас милиция приедет...

— Ну и что? — спросил я. — И пусть едет. Если начнут стрелять, вырастем еще, чтобы их пули нам были по фигу.

— Но это же милиция! — настаивал друг.

— А это мы! — ответил я. — Они же все такие маленькие...

Действительно, через несколько минут начали съезжаться милиционеры на желтых мотоциклах.

Они нас окружили, после чего один из них заорал в мегафон:

— Предлагаю сдаться, вы окружены!

От подобной наглости мы выросли еще больше, и милиционеры с их мотоциклами нам были теперь

буквально до щиколоток. Я поднял свой мощный кий и ударил толстым концом по одному из мотоциклов, по тому, на котором сидел милиционер, который предлагал нам сдаться. Мотоцикл тут же сплющился, схоронив в себе этого милиционера, будто сжимающийся кулак, поймавший красивую бабочку или божью коровку. Милиционеры засуетились повсюду, словно муравьи, почуявшие страшную опасность.

И вот тогда-то они открыли по нам огонь из своих автоматов и пистолетов, но мы уже стали такими большими, что могли почти незаметно для себя давить их всех ступнями. Столь же незаметными для нас были их пули, напоминающие, когда они попадали в наши ножищи, нежное щекотание тончайших волосков.

— Ну, все, — в ужасе произнес друг, — теперь нам точно дадут высшую меру.

— Это кто это? — насмешливо спросил я.

— Да кто, кто! Суд!..

— Это вот эти, что ли, или какиенибудь другие такие же? — указал я на барахтающихся где-то далеко внизу едва различимых нами милиционеров, которые тем не менее упорно продолжали в нас стрелять, постоянно попадая почему то в большой палец моей левой ноги.

И я пошел прямо по ним, как Христос по воде. А затем стал с ними играть. Я выбирал одного из них, гонял, угрожая кием, пока он не выдыхался, а потом клал его себе на ладонь и всячески над ним измывался. И я не испытывал тогда к нему ни малейших чувств, никакого сострадания; он был обыкновенной козьявкой или букашкой. Мне было воистину забавно, как бедняга в ужасе пищал, и я даже удивлялся, с чего бы это такая мошка столь зверски цепляется за жизнь. Произдевавшись вволю, я обычно убивал их — одного за другим. Но какого-то из них я неожиданно для самого себя взял и отпустил — никогда не забуду потока благодарностей, которые он мне напищал! Он скрылся так быстро, что я не успел его снова поймать и убить.

Затем мне это наскучило.

— Растем дальше? — спросил я друга.

— Можно.

И мы стали расти дальше. Я посмотрел на далекую далекую маленькую-маленькую бильярдную и даже смог рассмотреть стоящего в ней у окна добренького старичка, который еще совсем недавно советовал нам никогда не играть в бильярд с местным завсегдаем. Этот старичок мирно стоял у окна, наблюдая, наверное, все наши превращения и подвиги, и курил, потешно пуская дым.

— А ну их всех! — крикнул я в каком-то упоении происходящим и ударил ногой по бильярдной.

Она рассыпалась, словно карточный домик. У бывшего входа я смог увидеть верхнюю половину трупика нашего добренького старичка, застывшего в нелепой позе.

Потом мы стали расти все дальше и дальше, и все, что было внизу, исчезло из нашего зрения. Мы проросли сквозь всю атмосферу вместе со стратосферой и ионосферой, и скоро уже наши головы оказались в Космосе. Там не было воздуха, но мы абсолютно не задыхались — должно быть, весь этот воздух нужен только всяким мелким личностям, а такие громадные существа, как мы, как выяснилось, могли спокойно обходиться без него.

И мы росли, и росли, и росли. Наконец, мы уже не помещались на Земле и сошли с нее, повиснув в пространстве. В этом не было ничего удивительного — ведь пространство и есть материя, не так ли? А материя не выносит пустоты. Поэтому мы стояли вертикально совершенно спокойно и никуда не падали. Да и куда нам падать, если вокруг невесомость?

И мы увеличивались, и увеличивались, и скоро уже могли взять всю Землю в руки и кидать ее туда сюда. Земля стала для нас размером с бильярдный шар.

— А давай играть в бильярд, — предложил я другу.

— Как? — не понял он.

— Планетами. Будем играть в пирамиду. Земля — биток, а остальные — просто шары под номерами. Или лучше будем играть в карамболь. Предположим, надо одним ударом коснуться Землей Юпитера и Сатурна.

— Постой-ка, — сказал друг. — Как это — играть Землей? Тогда же придет конец катастрофа, все. И там ведь живет наш общий лучший друг. И моя мама, и твоя мама.

— Где это — вот здесь? — ехидно спросил я, концом кия указывая на Землю. — Ты говоришь: здесь?! Этого не может быть. Да, где то есть наш друг. И где-то есть наши мамы. Но не могут же они быть прямо вот здесь... Бред какой-то!

И я взял Землю в правую руку и поднял ее высоко над головой. Затем я встал в позу греческого дискобола, собравшись со всеми своими мощными силами, и резко бросил Землю далеко-далеко вдаль. А потом, будто охотничья собака, устремившаяся за подстреленной уткой, я бросился за Землею и принес ее обратно к другу — этот теплый, источающий любовь и ужас шарик — в своих горячих руках...

И тогда мы стали играть в бильярд. Я ударил первым и попал в Юпитер. Земля отскочила от него с та-

кой резкостью, словно и он, и она были резиновыми. А потом ударил мой друг и тут же попал в Сатурн. Земля отскочила от него, но, приняв неожиданную для нас траекторию, угодила почему-то в Плутон.

И мы играли так, наверное, целый час или тысячу лет, ибо в нашем новом состоянии времени для нас словно не было вовсе.

Потом нам это надоело, и я от нечего делать стал долбить огромным кием родную Землю. Я крушил ее и крушил толстым концом кия, пока она не раскололась надвое, и это мне почему-то напомнило разрыв сердца. Два куска нашей Земли отчаянно завертелись, словно пропеллеры самолета, и у меня от этого зарябило в глазах.

— Что же ты делаешь, мой маленький! — вдруг услышал я голос своей мамы. — Как тебе не стыдно, не совестно!

Она сидела рядом с вертящейся двойной Землей и грозила мне пальцем.

— Я больше не буду, — тут же выпалил я.

Видение исчезло.

— Скучно, — сообщил я другу. — У меня больше нет никого.

- Скучно, — согласился друг.
- Пошли отсюда, — предложил я ему.
- Пошли.
- Будем искать конец Вселенной!

И с тех пор мы идем и идем по Вселенной, иногда играя в снежки или бильярд планетами, иногда греемся у звезд, ублажая свои усталые огромные тела, засыпаем на целую Вечность без всяких снов и затем вновь продолжаем путь. И вот так, многие световые годы, мы идем, идем и идем, все вперед и вперед, сквозь одинаковые везде пространство и время, абсолютно нас утомившие, мечтаем хоть о какойнибудь черной дыре, ищем конец этой бесконечной Вселенной, но никак не можем его найти.

1980, 1995

МАЛЬЧИКИ

*...Вскоре после этого они достигли Страны Женщин
и увидели царицу женщин в гавани.*

— Сойди на землю, о Бран, сын Фебала!

— сказала царица женщин. — Добро пожаловать!

Бран не решался сойти на берег.

Женщина бросила клубок нитей прямо в него.

Бран схватил клубок рукою, и он пристал к его ладони.

Конец нити был в руке женщины, и таким образом

она притянула ладью в гавань.

Они вошли в большой дом.

Там было по ложу на каждых двоих — трижды девять лож.

*Яства, предложенные им, не иссякали на блюдах,
и каждый находил в них вкус того кушанья, какого ждал.*

Им казалось, что они побыли там один год,

а прошло уже много много лет.

«Плавание Брана, сына Фебала» (пер. А. Смирнова)

Они тузятся. Их лица выпучены на теле, как опухшие глаза; слюна выделяется в обилии изнутри и, точно роса, туманом покрывает свалку снаружи — красные губки дрожат, изобретая что-нибудь неестественное духовной природе; и половая принадлежность сквозит во всем, что есть вонючего рядом, — ибо они всего лишь играют в игрушки унижения друг друга, и бесстрастный кулак, словно ценность экспозициониста, всегда при себе — бык сочтется сладострастием при виде красной рожи; и вот — они тузятся, будто детки,

чтобы скорее прошла вечность и чтобы наступило уважение друг друга, — вот что значит шлепок по щечке любимого противника.

Мальчик —

это внук евнуха; клей лба; вассал без феодала; свехравный среди равных себе; голый король, который не отличается от других; лошадь, глупая, как клен; только пыль.

Это лагерь любящих, это — клан.

Просто во всем они живут, и творят, и дышат, и их кулачки ухмыляются, стремясь завладеть честью другого; или кто то, икнув, продемонстрирует общий смех; или кто то, рыгнув, попадет впросак. Ибо мальчик — многоликое животное, образуя стадо, он строит клетки.

Мальчик —

это клетка без любви!!!

Как голо жить посреди жителей, душа еле тлеет в золе; и рядом копошатся чьи-то создания и кто то сипит во тьме. Кого-то вешают за ноги, чтоб было веселее, и старшие мальчики одобрительно похохатывают, словно бабы, наблюдая интересную биологию мужского тела.

Вот так они и жили и спали врозь — хотя немногие образовывали свальное устройство из ночных тел без любви, когда трогательная грусть поселяется рядом с лицом и кому-то хочется картавить на «л», как в детские годы, а кто-то обнимает плечо друга, кладя третий глаз на ночь в стакан, чтоб он, как ночник или свеча, подчеркивал тьму между ними, — это передышка перед боем; слюни готовы для всех путей и детей, и ноги снова будут потеть, пока в них теплится жизнь, поскольку жизнь человечья в пиджаке и дезодорированная рождается из вони подкожных разноцветных реакций; и хочется сплевать всю эту биологию и предстать перед миром гладко выбритым, с сигарой и будто оболочка. Но во внутренних органах уже царствуют желчь и разные соки, и не будь их — нечем было бы усваивать ценный сигарный дым, убивающий лошадь и приближающий собственные легкие к естественному концу. Конец — не значит благородное одеревенение, и хотя труп не плюется и не соплвится, он разлагается, что еще более характерно. Не зря некоторые умащивали останки благовониями и мумифицировали их, чтоб хоть как-то приблизить к внутреннему комфорту человеческое тело, — но, гляди ж ты, сморщенное безобразие просматривается и в этой мумии, из которой, как из воблы, давным-давно вырезали кишечную дрянь с дерьмом. Это просто чудеса — дерьмом поддерживается жизнь, и даже лорд всего лишь яйцеклетное устройство, непомерно разросшееся благодаря замечательной питательности окружающей ее жидкой мерзостной Среды.

Тьфу — клейкая паутина лейкоцитов и всяких...
НК!

И мальчик —

эта глокая куздра, тоже глюкоза и глюк; благодаря пищеварению и дыхательному устройству имеющий румянец и стройный вид. Он кровав, он даже мог бы менструировать, если б мог. Он годен к войне — он знобит обезноженный подвиг и верную смерть; он глотает лекарства, чтобы стать из чистого мяса; он — словно громобой, и клич его — громкий наглый лепет, который не лишен глупости, среди площади, где сверкают клинки.

Но сейчас — он в пижаме, бледен, но готов биться и смеется, как шизофреник, над причудами других мальчуганов.

Он весел.

Вот так и живут мальчишки: между ними даже идут диалоги, и кто-то иногда говорит речь, и если у него есть авторитет, то его слушают с участием и кивками, пока перекур продолжается. Иные из мальчишек седы, иные уж лысы, у некоторых плешь проглядывает из-за вихров, но они все могут стать монолитом, неразделяемым на личности; они жмутся друг к другу в своем коллективе, они — друзья, кореша между собой и не стесняются друг друга. В своем доме они могут сво-

бодно менять белье и скакать голыми по кроватям, швыряясь башмаками, но это — минутная вспышка веселости, она может пройти и не возникнет никаких чувств. Просто они все — «ребята», и самые лучшие — тоже «ребята», и они не зря живут, а то, что всегда тузятся, так это с жиру. Иногда берут штангу и таскают ее вверх-вниз, изображая некий мышечный онанизм; и рыльца их краснеют, губки что-то шепчут, внутригортанные органы похрюкивают или что-то бурчат от удовольствия, и вот уже все тело скрипит, словно самолет, идущий на посадку или на взлет; но все нормально, все системы отлажены, и финальный плевок завершает физкультуру, и он красноречив. А то какой-то мальчик встанет и просто стоит у стенки или просто посреди жилища, о чем-то, видимо, думая или чтоб просто постоять, но здоровое тело, проходя мимо иного тела, пнет его иной раз, и другой мальчик обязательно пошутит, оказавшись рядом с тем, что стоит просто так, и как шваркнет его двумя пальцами сильной кисти по уху, а то еще проведет серию ударов в дыхало, или в грудину, или в задницу — чтоб смешно было. И радуются все вокруг, и как барабан гудит тело того, что стоял. И сам смеется, и жить веселее становится. А еще по шее накаратированным углом ладони, которая привыкла сжимать штангу и рабочий рычаг, и тогда губы побиваемого от неожиданности что-то булькнут, если тем более они до этого что-нибудь излагали, и вообще все будет смехотворно. А если тот, которого избивают, еще и сам умеет производить всякие удары и приемчики, то это просто будет,

как в театре или в кино, — и глядишь, уже все общество, словно Кутерьма какая-то, тыркается внутри самого себя, трепыхается, точно в сетях, и будто даже можно было бы какую-нибудь энергию из этого получать, поскольку идет бурный активный процесс — жизнь бьет ключом, и, может, иным приятнее Луна, где все голо и где даже какая-нибудь живучая злая гадина, которая свои кишки может сожрать, не выживет — настолько идеал Луны обволакивает вакуумом и небесным холодом все живущее и жрущее, но все-таки картина жизни заставляет любоваться ею — вот пирании кружат под водой, вот змеи кишат, клоповьи гниды скапливаются в запрелых матрацах, а вот мальчики занимаются пинками. Может, и новое что-нибудь будет — когда-то ведь ухал задумчивый гиббон, а теперь шимпанзе учится разговаривать.

И вот жизнь —

это иглокожее, заваренное в архейском бульоне, налет Опарина, желающий нуклеинизироваться, это жаба змеи, это дыхание, новая материя, это жизнь — она родила кровавое тело, и дух родила смерть! Большое болото, святой гной и внутренняя секреция; мальчик — плод Земли с серыми плевелами; его сны, словно полногрудые бабочки, уносят физическую самость в высший свет, где рай совпадает с местом рождения; но мальчик должен проснуться и тут же бежать кругами, чтобы солнце отражалось в его бодрости и чтоб белый свет покрыл его позор.

Утро, в конце концов, это —

черное дело, раненая экзистенция, ушат со льдом в лоб индивидуального человека, это белая смерть на оборот и муки бесполезного рождения.

Лучше б солнце застряло в чьей то утробе и не заставляло жизнь завинчиваться с новой силою.

— Я был бы мертв! — сказал один из средних мальчиков, одеваясь.

— Моя рожа была бы красивым лицом! — сказал кто-то.

Эти реплики пугали тишь в округе, и старший мальчик бил кого-то ремнем, и кто-то хихикал в туалете.

Потом возник общий ор и гул ног, и все это было мужским. Неожиданно из хаоса возникла организация, и все изобразили четкую геометрическую фигуру из самих же себя, словно их причесали на пробор, единый для всех.

— Стоять, мальчуганы!

Все это было смешно, но старшие мальчики и их помощники считали всех остальных, проверяя их наличие.

— Стервы! Вы — все стервы! Хитрые!

Зычный голос мальчика, который недавно стал старшим, угнетал уши. Он, словно заведенное приспособление, ходил туда-сюда вдоль человекобруска из мальчиков и хотел шутить. Так начинался день. Потом глазки его начинали наливаться ехидством — он видел беспорядок, и тут же с разбегу ударял ногой в живот кое-кого, чтобы животное мясо не омрачило общего внешнего вида. Наконец-то становилось смешно. И тут совсем затюканный мальчик в широких штанах появлялся у входа — и все предвкушали приятную сцену.

— Ты как идешь, гадина?

Бедняжка смущался и начинал изображать почтение. Но все равно ему пришлось раз двадцать спросить разрешения, после чего к нему вплотную подходил один из старших и начинал кричать:

— Где ты был? Где ты был?

И кто-то шепнул другому: «Смотри — сейчас последует удар в грудь».

И точно — бах!!! Звук тупой, как в тюк ваты. Лицо ударяемого мальчика сразу же белело, и он переставал дышать. Все молчали. Только сзади другой старший дал кому-то по ногам — чтоб лучше стоял.

— Ладно, иди! — отпускали наконец затюканного, и он ковылял к общей массе.

Вот такой эпизод, резкий, как удар по шее ребром ладони, когда в глазах начинают вспыхивать белые цветки, можно было бы понаблюдать, будь вы все там. Это всего-навсего утренняя гимнастика.

А потом — змеиная суета, ноги до ушей, зуботычины среди людей, и огромный путь до завтрака, когда рот орет задорную песню и нужно улыбаться, чтобы изображать спокойствие.

Нежность кого-то, как —

старость любви, смоква сна, клей Луны, доказательство Бога, белье, пропитанное тобой, милый мальчик с девочкой под ручку, семерка червей на зеленом сукне, кофе моей души!

Кто-то нежен из всех и готов целовать снег и ласкать сугроб; он среди слепой белизны мертвого мороза; в вагоне горит лампа, и здесь, где хранится груз, можно было бы сделать ресторан или ложе — но кто, если не мы, будет работать для того, чтобы думать о прелестях зимнего железа! Слезы мерзнут в железах, и пальцы сжимают груз. Мальчики работают, чтобы занять свое время на планете, синева которой позволяет ее выделить в особый предмет. И утренняя Луна, как большая снежинка, пусто висит наверху. Для чего мое тело напряжено?!

Вот завтрак, словно смесь брюкв и углеводов, он — углеводороден и неестествен в тарелке; но это — будто баланда, которую нужно проглотить, чтобы горячий чай, как кайф, утеплит внутренность, где словно образовался человек в кресле и, отдыхая, читает утренние газеты.

Этот завтрак есть вырванное из мясного тела дня приятное время, чтобы сидеть, будто в свободной стране, где каждому полагается свое вкусное блюдо из омара или даже шашлык — чтобы кровь, словно сок для Кровавой Мэри, стекала по чистому ножу, в составе которого есть небесное серебро. Мальчики хлебают голый суп, они тузятся.

Некто трогательный, который устал от жизни, не приемлет окружающего мира. Его проклятия летят в тарелку и тонут в перловой массе. Он согласен отдать свою жизнь, чтобы большая современная бомба уничтожила все, что он видит.

Лица старших моих —

как бычьи помочи, белье зла, гнилой лак или голый Глеб. Голем как глава племени — глиняный чурбан во главе всех — нужно в рот ему указку в виде зуботычины, но почтение не позволяет измыываться над начальством и не выполнять условия своей рабочей участи — напротив, вождь будет блаженствовать над внешностью себе подобных и кричать им в рожу то,

что нужно для поддержания общей жизни. Мальчишество есть клад без золота, которое все-таки блестит.

И все кончается, и опять линейка из мальчуганов призвана заниматься ручными обязанностями, и груз ждет своей спины, и это не обязательно крест, но возможно — ящик, а может, и лопата, чтобы разъесть внутренности Земли в поисках абстрактных богатств или просто чтобы копать, для того чтобы провести время, поскольку, будучи мужчиной, мальчик мускулист и жилист и он иногда с удовольствием рукоприкладствует, используя мишенью неодушевленные вещи, которые все в конце-концов — рычаги, чтобы ворочать тяжелые предметы, будь то камни или неприятный грунт.

Туда-сюда, туда-сюда, труд стал владыкой мира, и рука уже чувствует характерное изменение: пальцы готовы сжать пращу или рубило и использовать природный материал как орудие.

Работа нужна рукам, как привязанность к природе, что вокруг; и мальчики, словно древние рабы, не расслабляясь, терзают чурбанные предметы, которые, подобно чугуну, чересчур тяжелы, хотя иные и не так уж, — но все равно требуется непонятное и направленное в конечном итоге в себя усилие, от которого мальчик, точно мужик, наливается агрегатным оком тяжелой индустрии и уже может, шутя, бросаться бывшими ранее тяжкими даже для поднимания вещами: вот так рождается рабочий.

Труд длится многими часами, когда солнце уже заставляет про себя вспомнить, и ноги хотят взлететь из этого мира и возлечь среди яств и чудес, но кувалда остается перед тобой, готовая убить чью-то голову, ежели руки жаждут любви, а не ее рукоятку.

Итак, полдень —

когда время унеслось от тебя, как потерянный мир, слепота судьбы, сахар во сне, собака за поворотом, — где-то режут грязный овощ в обеденный суп, где-то сервируют стол, чтобы мальчики заняли свои места для приема пищи, где-то ничего нет, кроме голой любви под небесами, когда хочется прогрызть плоть до печеник и полностью скрыться в отворившемся лоне, и труд сливается с радостью в единую сущность: лучше быть гермафродитом и не разъединяться на полюса, из которых южный еще голоднее и злее, несмотря на тоску по древности и Гондване!

Мальчики могут работать до бесконечности, и где-то спит старший, и готов будто дирижировать этим, наверное, полезным трудом, — он возлежит на солнцепеке, как литературный штамп, и хранит в себе свое бессмыслие, словно айсберг без основания или часть природы, — ему стоит щелкнуть двумя пальчиками, чтобы заставить младших мальчуганов объяснять свой не слишком резвый бросок погрузочного материала во чрево очередной техники, где мальчик шофер усталождет конца своей скучной жизни, наблюдая согбен-

ные сильные спины остальных существ единого пола, преображающих перед ним реальность физическим способом.

Когда-то старший был средним, но его красный кулак дал ему силы пробиться и пользоваться теперь заслуженным бездельем, отдыхая на лоне возделываемого мироздания, которое гнется, но не ломается под увлеченными усилиями мальчишеской толпы. Старший мальчик красив, он пальчиком манит представителя подвластной ему организованной толпы, он может его тузить или заставить чегонибудь еще сделать помимо основных заданий, но может и смотреть на солнце, думая о прелестях обнаженных небес, в которых нет ничего одушевленного, кроме птиц, которым неважно — мужчина ты или женщина.

Предвкушение отдыха от незаслуженной работы, это —

цель добра, обед полдня, ласка реальности, свежесть в согнутых коленях, соловей за стеклом и салат на столе! Пока кто то идет среди всех остальных, сколько сказок и снов проносится в его теле и мозгу, где начинают функционировать пищеварительные центры! Он любит свою ложечку, под которой сосет — непонятно кто и непонятно зачем, он благодарит старшего за молчание и усталость, поскольку этот день — такой же, как и завтрашний, и поэтому прелесть секунды все равно встречается и у нас, когда все подчи-

нены единому порыву, и словно какая то неотменяемая весна стремится сделать свое черное дело и обратить злую белизну в предчувствие возможности иных путей и рождений в этих задворках родной галактики, где суждено трудиться, чтобы скоротать время до абсолютного великого отдыха. Или смысл не оставит нас и там?

— Я хочу жрать! — говорит умный мальчик, и сейчас он равен всему остальному, что видит перед собой, а ничего нового он видеть не в силах, и даже готов полюбить эти потные бредущие тела, организованные в единый потенциальный монолит, где не нужно иных полов, как не нужно новых рождений. Пусть все исчерпают свои жизни до предела, и нет нужды перекладывать на хрупкие плечи следующих детей нерешенные собственные трудности, и пусть весь мир существует лишь для нас, и хотя было несладко, мы все существовали по-настоящему, а то, что именно таким способом, так это все равно — ведь путь спасения неважен и, может быть, лучше быть прекрасным механизмом в общей бездарной машине, чем скупающим индивидом, сотрясающим небеса и подземелья своими детскими вопросами и не умеющим умирать, то есть уничтожаться, с ясными, как у старшего мальчика, глазами?!

Все можно придумать, и некто трогательный из мальчиков тоже молится про себя и готов есть очередной обед, чтобы поддерживать свои силы для продол-

жения трудового дня. Можно разворотить землю, если делать это постепенно и не отвлекаясь на собственную личность, а ведь религия зачеркивает твою самость! Не в этом божественность мальчиков и их вознесение, как ангелов, в иные создания — ведь они делают свое дело, и нету тут восстания против единого для всех смысла, которого нет, и единственных для всех старших мальчуганов — пойди же и оспорь, что они не старшие тебе!

Черный труд —

как белый путь, лучшее воскресение и модель занятия, высшее слово без слов, костер из вспышек, осетрина, обращенная в хлеб, — и пусть вино не ослабляет мускулистую плоть! Свирепые окрики в рожу несчастных, борьба каждую минуту и царственный стол с добавлением лишнего масла — вот поле жизни, и ничего иного, никаких более сложных устройств, для которых еще не придумали упорядоченности; ведь не боги мы, в самом деле, чтобы оправдываться перед злым своим творением? И кто-то хочет спать, и кого-то бьют ногой по почке, чтобы исправно ходил по струнке и чтобы не чуял самого себя, начиная от шеи, как спящий Доуэль, которому будто бы пришили замечательную юношескую плоть без нервов и теперь можно пилить хоть ногу — он так же готов к труду и жизни, как и непрофессор, который еще мальчик и не умудрен знанием иного телесного устройства.

— Молчать! — кричат всем роящимся мыслям, и слова более не рожают красивых ассоциаций.

Снова столовая не есть новая столовая, и просто здесь можно поесть и некому говорить «спасибо» — все делают свое дело, и кому-то более легко, но, значит, он молодец — этот мальчик, которого уважают мальчики! Мужская дружба — вершина человеческих отношений, и столовая синего цвета наполнит свою уборную утробу мальчишеской начинкой, которая вмиг обратит в испражнение всю нехитрую сервировку и множество дозированных баланд, имеющих на столах, которые стоят в подневольном шахматном порядке внутри несъедобного помещения, словно мальчики, обезличенные вконец и принявшие послушный четвероногий вид.

Обед — и друзья повара просят чего-либо более концентрированного, чем жиденская трапеза, основывающаяся на скрытых возможностях человеческого организма, который приемлет все и даже насекомояден, если нужно, а то и по собственным пристрастиям. Это гордый волк, рыскающий в снегах, требует свежей крови и парного мяса, словно аристократ синих лесов и живописных полян, а мальчик человеческий может жрать все, что растет, прыгает или летает, и даже гнилье — не предел ему. Он, словно паразит, сосущий калории, ему все пойдет, он везде найдет ценную питательную основу; и, как сине-зеленая водоросль, он будет цепляться за свое животное существование,

даже поедая перегной, чтобы дух еще теплился в зашивевшем теле, вместо того чтобы красиво сдохнуть, обратя голодные глаза в пустое небо, и хотя бы раз победить свой живот, отказавшись от дерьма, раз нету шампанского!

Вот она —

водопроводная суть человека, черная дыра посреди черной земли, пищеварительный центр сгорания божеских бессловесных творений, конвейер кишок, язвенная болезнь суши, рьяная и гордый океан! И хотя мальчик пользуется прокисшим минимумом, он тоже готов поедать китов и динозавров — и можно поинтересоваться, сколько вообще динозавров за жизнь свою съедает это маленькое мужское существо. Но динозавры вымерли, поступив как настоящие мужчины, чтобы внушительные туши их не разрезали на котлетки и колбаски и чтобы не пихали их в рассортированном виде внутрь консервных упаковок, которые будет поедать какой-нибудь обезумевший мальчик в туалете, чтобы никто не видел, что он спер эту рептильную баночку на разгрузке машины, с вечным мясом тиранозауруса рекса!

Вот так-то вот и происходит очередной человеческий обед — под ритм жующих челюстей ворочается внутри голов какая-нибудь общая мысль. Ведь всех мальчиков как представителей одного вида волнуют одни и те же вещи.

А потом снова — встать! — и работа, все с той же кувалдой и с теми же словами, ждет всех, чтобы длиться хотя бы и за полночь — пускай мерно работают человеческие организмы, поэтому это и человек, чтобы трудиться. Это медведь может спать всю зиму или просто ходить по лесу, наслаждаясь своей дикостью, а мальчик, будучи существом с большим количеством извилин внутри черепа, должен работать, чтобы мысль не стыла в жилах, но развивалась вместе с ображаемой действительностью. Мальчик вновь станет таскать грузы в новое место хранения, и теперь ничто не остановишь, потому что родился смысл и количество перешло в качество, а усталая физиология будет наградой за вырвавшийся из-под контроля дерзкий неоплаченный труд, который становится самодостаточной целью.

Но конец все равно когда-нибудь наступит, для того и существуют старшие, чтобы как-то регламентировать все, что происходит, и особенно экстатические моменты бытия; нельзя же дать возможность мальчикам взлететь на крыльях их рабочего воспарения и ангельски наблюдать свергнутые физикой горы, блаженствуя в прохладе иной жизни? Мальчик — это мальчик, и он нужен там, где был рожден, и было бы просто неразумно упускать его из виду; нужно только довести его до замечательного состояния здоровья и бодрости в формирующемся теле, но нельзя предпринимать никаких шагов, которые могут вести к всеобщему результату; мальчик должен быть хорош, но он

не должен быть самым лучшим, и даже старший мальчик — не лучший, но старший, а следовательно, такой же мальчик; и он может даже хохотать вместе с другими, излучая бесконечное дружелюбие, и лишь потом, опечалившись, выкрикнуть очередное указание.

Но ночь делает свое дело — пускай отдых с дымом в руках будет ждать всех за поворотом, за которым кончается сегодняшней труд; все работали славно, и все уверены, что наконец в безопасности и смогут спать спокойно, поскольку стены и грузы охраняют их от посягательств иных тел и устройств.

Спасибо всем мальчуганам, которые понуро бредут в ночи и желают сна или мелких развлечений; вот и сзади идущий как стукнет переднего по ногам, так, чтобы тот рухнул, стукнувшись о землю, и всем опять весело, только старший что-нибудь крикнет глупое, и все опять смеются: энергии мальчикам не занимать. А то еще двое сзади идущих, перемигнувшись друг с другом, налетят, будто трактор, на всю кучу, чтобы люди смешались с людьми и бились друг о друга локтями и рожками, словно птички в клетке, опять будет у всех чудесное настроение. Но задели того, кому это не нравится; он авторитетен и задумчив, он выходит, словно суровый дворянин или мрачный мужик, и говорит обидные детские ругательства твердым решительным голосом. Плевать на всех — двое идут разбираться, старший мальчик уважает их честь и пинком поворачивает вспять всю остальную мешанину из мальчиков — нечего смотреть на серьезное дело!

Диалог их криклив и жесток, но руки пока спокойны. Потом они понимают, что стоят друг друга среди всей массы; и им не нужно терять расположение и дружбу, основывающуюся на равной потенции их наглостей и ручных окончаний, и поэтому стихают, говорят уже о других проблемах, и — вразвалку возвращаются, переглянувшись, как танк, устремляются на всех остальных. Старший просит их прекратить, другие же мальчики, будучи природными стойками, весело хохочут над собственным падением.

Но путь не бесконечен, и жилище принимает своих веселых жильцов — так холодная женщина, лишь разумом понимая, что ей нужно, отворяет ворота горячему мужскому существу, а сама остается спокойной и приятной носительницей прагматического очага, из которого может появиться и семья, если придет время для нужного природе объединения различных физических начал; но объединение мальчиков — общество, и в этом его победа над плотью и животным нутром отдельного индивида, и типологически оно ничем не хуже семьи и даже выгоднее: после совместной пустой жизни никто не появляется на свет за тем же самым, что и они, и поэтому их мрачное существование приобретает и некий мистериальный ореол.

Итак, новый конец дня застает наших мальчиков в светлом классе, где они сидят, немного обалделые после трудового дня, но ждут каких-то новых развлечений из общего ряда событий, которые им позволены.

Лампочки горят, старший мальчик, словно профессор, стоит перед своими возлюбленными подопечными; хохочет, говорит, что он — отец родной, и собирается проводить какую-нибудь беседу, в то время как остальные полуспят, поскольку достигли состояния отдыха, — но время еще не подошло, и полустаршие сзади резкими подзатыльниками и зуботычинами приводят в чувство тех, кто пытается дремать, нагло совершая бегство из той реальности, где они должны быть.

Итак, женщина —

это чудная вершина, нога гнева, паутинка иной утробы, омут добра или змея в яйце. Свобода любить несуществующее; но где взять лоно, если есть только единый мальчишеский организм?

Женщина — это скурвившийся мальчик.

Мальчики сопят, обратив мозги в неведомое, старший хихикает, пытаясь рассказать тайну женской души, которая не нужна в этих стенах и в этом мире; разговор пробуждает тайные внутренние секреты в привычных и надоедливых физических устройствах, и мальчики, созданные для жизни в собственном обществе, плачут внутренними слезами, которые разъедают мозг и кислотой сочатся в материальное сердце.

— Женщин нет, для вас — их нет! — говорит старший. — Что есть женщина? Баба — это ругательство

для нас; мы не девочки, но мужчины, мы презираем их расчетливую слабость; женщина дана нам для удовлетворений, но мы отказываемся от этого — пускай они стонут и катаются по земле, на которой мы стоим и работаем!

— Тьфу, эти мерзкие твари, которые могут быть ласковыми, если им что-то нужно; они используют мальчика и выкидывают его оболочку; мальчик — инструмент для бабы, присоска, я — не такой.

— Мы поднимем свое знамя, пойдем в поход, будем дружить с друзьями и делать свое дело; а женщины, если они и встречаются, стоят лишь смешка в туалете или короткого сожаления о том, что ночь была не слишком темна. Я не люблю их.

— Я их не знаю. Завтра будет новый день, завтра будет работа и учеба, а что есть женщина? Я не встречался с нею.

И кто-то нарисовал на доске голую женскую плоть, и кто-то не верил в это, будто женщина была четвертым измерением, а не ласковой кошкой, которая может превратить ночь в красоту и импульс.

Но ночь наступала и для мальчикообразных людей, которые были лишены разделяющего их энергию предмета: так молния, скопившись в небесном мальчике, ищет выхода и пути и безжалостной ветвистой ис-

крой, точно ниточной зарей или вмиг образовавшейся венозной светящейся системой в теле неба обращается в ничто, сотрясая всепрощающую землю. Все отходило ко сну, старшие считали наличие организмов на их местах, и теперь выключается свет, но не стихает смех — мальчики лежат здесь, они полны звериной потенцией, несмотря ни на что; они тузятся.

И только где-то в туалете, где еще горит свет, какая-то неуставшая компания все еще обсуждает возможности и пределы женской природы. И в конце концов пощечина идет в ход, и некто трогательный, потягивая сигарету, боязливо вздрагивает, и тапок летит в человеческий организм, и начинается свалка из-за женщин. Возможно, они ждут нас на небе, эти приятные голые существа, а возможно, их нет — ведь этот остров, где живут мальчики, не приемлет иной человеческой организации и слабые ручки здесь ни к чему — здесь нужен сильный кулак венценосного создания, которое, даже если спит, полно достоинства и убедительности. Телячьи нежности не для этих суровых мест, и только гроб угомонит мальчика, который хочет жить. И в конце концов стихает и шумная компания, и небытие воцаряется над завершившимся днем из жизни мальчиков.

Ночь —

которая была уже описана, снова начнется, чтобы прекратиться с началом иных астрономических времен.

Но что это — то, что случилось вдруг, родившись из ночного спокойствия с маской неизвестного кошмара? Грохот и рев наполняют жилище, кулаки и ножи лезут со всех сторон; кровь и слюни брызжут, как снопы света, в разные стороны; тела укрупняются наличием иных тел — и тревога, как писк комара в смертельной куче-мале, призывает кого-то дать отпор мордораздирательным действиям непонятных сильных существ. Ремни, словно нунчаки или цепи, кружат повсюду, блестя железом блях, штыки просятся в руки — и кто-то все равно спит, хотя спать невозможно, почуяв роковую опасность, и старший мальчик, разбуженный неизвестным, кричит: «Соседи! Бей их!» — и это означает налет мальчиков на мальчиков; все жилище вибрирует, и спящих режут, как баранов, в их сладких постелях; и кулаки мечутся в поисках чьей-то морды, и солнечное сплетение дребезжит, закупорив жизненно важные пути, во имя которых развивалась биология; и красное знамя войны в потемках спускается на хаос ночных тел.

Где-то, встав на двух кроватных спинках, бешено бьется старший мальчик, он презирает смерть и побои и ногами топчет непонятно кого, но предательский нож, может быть, своего же мальчика (хотя тут все — мальчики), прекращает его цветущую жизнь, и он, издав резкий вопль, падает на окровавленный пол, прямо рожей в рассыпанный мусор из урны, хохочет и умирает, как герой, дождавшийся силы. По нему ходят ноги, противники, словно влюбленные, сплетаются в

агонии вольной борьбы, где дозволено все; и непонятно — то ли страсть однополой любви, то ли жажда убийства направляет руку мальчика; и они душат друг друга, обнимая шеи синеющими руками, и падают на кровать, умирая в один день.

Налет был внезапен — враждующие коалиции мальчиков решились свести счеты, и нету здесь отсутствующих, и в конце концов по воздуху летают табуреты и столы и чей-то череп дырявится и рассыпается, точно чугун, и только кожа еще сохраняет помертвелое от страха и смерти лицо. Война издает клич — это тоже занятие мальчишек; не знать им более счастья любви и работы!

Война —

как потасовка, беременная гибелью, как звонарь зла в закипающем зелье, как зелень, не родившая новую зелень, как знак Зорро от уха до уха — чтобы горло, клопоча, захватывало давлением кислорода и сердце, точно ненужный пузырь, лопалось от воздуха.

Вперед, вперед — навстречу концу, чья-то победа утешит искореженные трупы; и вот уже весь остров вибрирует и наслаждается самоуничтожением преобразующих его сил; мерзко и гордо гибнут мальчики от рук себе подобных!

«Они убьют всех!» — в страхе думает некто трогательный из мальчиков и, как жалкий дезертир или сво-

лочь, через туалетное окно вылезает на безмятежную предрассветную землю. Он слышит, как прямо перед ним жилище ходит ходуном, и его не останавливает никто — все тела заняты битвой, как раньше работой, а он стоит не в силах ничего понять. Бешеный стул разбивает стекло, и из руки этого мальчика капает кровь, и ему больно — он отходит подальше. Он видит сквозь окна смерть своего маленького человечества, но слез у него нету, ему странно смотреть, как какие-то существа ногами топчут его друзей, а потом сами падают на них, сраженные травмой черепа. Вряд ли кто будет жив — мальчики разыгрались не на шутку, а гордость — больше, чем жизнь. И, подташничая, дрожит мелкое тело трогательного мальчика, и в заключение презрительное слово: «Мертвецы!» — говорит он и бежит отсюда, через лес и поле — туда, где тихо.

Ветки шуршат под его ногами, он шарахается, будто везде лежат мины. Он видит плод их сегодняшней работы — большую яму и, улыбаясь, думает о том, что, наверное, она будет хорошей могилой для мальчиков. Ему грустно.

Но, пытаясь обмануть природу, ему трудно уйти от судьбы, и огромный взрыв всего перенаполненного нетерпимостью острова заставляет его рухнуть в неизвестность, пытаясь схватиться руками хоть за какое-то спасение. Был ли это вулкан, гром или динамит? Непонятно что, но остров, как небольшая Арктика, распадается на льдины и осколки, и древнее море поглощает все творившееся на нем безобразие.

Рассвет надвигается, и этот трогательный — быть может, последний мальчик в мире, — поймав какой-то челн, растерянно плывет по мрачной воде, наблюдая животворящее единство соединения разных стихий, и бежевый пар, как нереальный туман, скрывает вечные горизонты морских глубин.

Он смеется своей участи и гребет слабыми руками вперед и вперед — пусть то, что было, скроют его память и голова, и, если смерть не остановит его судорожное трепыхание, он будет стремиться в далекий путь, чтобы достичь границы великой и волшебной искрящейся на фоне мрака земли — Страны Женщин.

1986

РАЗДУМЬЯ

Мне представилось, что после смерти все люди превращаются в деревья, травы и мхи — вырастают вечными растениями, одеревенев душой и телом почти навсегда.

Словно едешь в маленьком уютном автобусе, где горит свет, и будто должны разносить кофе со сливками, а за окном, бесконечно, словно телеграфные столбы, стоят безликие березы и осины, раскинув в разные стороны замерзшие ветки, похожие на присоски осьминога, наконец-то обретя долгожданную почву под ногами, в которую они вгрызаются корнями, как в живую плоть или в бессмертие.

Или идешь лугами к лесу, где на опушке стоит дуб, будто многорукий Христос, возлюбивший крест свой, как самого себя, и осужденный стоять здесь все свои столетья, чтобы потом стать гробом для меня.

Может быть, здесь растет мой папа: вот эта травинка, примятая веселой коровой и обрызганная грязью от мотоцикла, — я срываю ее, сжимаю губами и медленно ложусь на поляну среди благоухания жизни во всех ее проявлениях, чтобы смотреть на небо и жевать соломенное, почти насекомое тело

обычных несчастных трав, — и мне все равно в эту секунду, Наполеон это или Марья Ивановна.

И пусть наши дети будут счастливее нас.

1984

И В ДЕТСКОМ САДУ

Детки шли в детский сад. Веселые, юбочные и плачущие создания, ведомые своими зачинателями за ручки, входили в заборный мир, полный лип и свежей листвы под ногами и над головой, где небо было таким же, как и везде, — определителем начала очередного дня в жизни, когда трудовая неделя, словно библейская повинность, висела над жителями дамкловой свечой новой недели, едва зажженной устроителями жизненных путей.

Будто новая игра в старые игрушки — роли мам и пап, живущих на положении автоматов; когда никто не хочет повторять снова эти несвободные трепыхания и дети являются объектом для доместикации, обязательной в каждом единичном случае, ибо в каждом ребенке сидит зверь и, злобно сощурившись, смотрит на отвратительный мир, в котором нужно проводить время, чтобы что-то делать, чтобы как-то просуществовать положенное, отбыть срок и вернуться в пустое блаженство, где можно все, поскольку нет ничего.

О — конкретика куколок уныло наполняет все эти комнатки тщетными платьями и ленточками; тесемочки стягивают девочку со всех сторон, и она, напомаженная шоколадом, будто девка на выход, вертит головкой туда-сюда-обратно, ритмично подстраиваясь

под детскую песенку про веселую ребячью жизнь. Но мальчик с пластмассовым оружием — средоточие недовольства и узелков в резинках и гольфах; он — будущий взрослый, его скелет будет лежать в земле века или детенышем его найдут следующие представители наших эпох; что же ты, мальчик, сердито смотришь на это огороженное пространство, будто тебе не все равно, что будет с тобой в этот миг, будто ты можешь сейчас убить их всех? Спи спокойно, детка, атомная бомба — привилегия взрослых. Ты — голый, как новорожденный, внутри шортиков; ты можешь стряхнуть мир с печальных глаз, восхититься минутой, остановиться, хорошо подумать, засунуть пистолет за пояс, приласкать маму и быть нежным, как любимая женщина в момент зачатия; ты можешь научиться тому, что тебе говорят взрослые, собаки и птички, словно пред тобой не жизнь, а бессмертие.

Детская комната —

как треуголка Буденного на палке, изображающей лошадь, как трусы до алых щек, как хлорка земляничного мыла, вода на палубе, цвет цветов, конец жизни в саду, земля зла и сад в голубых листьях.

Синий куб стоит в углу — синий треугольник лежит под столом; обиженно скорчившись, дитя занято своей невозможностью жить по-старому; оно ждет свободы; оно — в темнице убогого тела, которое не в силах за себя постоять; оно почти, как старик, который

верит в Бога и в то, что все-таки он будет всем и получит право окунаться полностью в грязь и убивать себе подобных существ, которые сейчас перед ним, словно одушевленные фигурки, которым нельзя причинить вред, узнав, что у них внутри.

Мальчик-бедняк! Тебя мучит предопределенность твоих состояний под солнцем; ты — плохой мусульманин, и бес берет твою душу без труда; он предлагает тебе свободу пользоваться своим тельцем, как тебе хочется, — но знаешь ли ты продолжение жизни?

Девочка —

как бабочка, порхает в короткой юбке вокруг, плачет, как отринутая тобой любовница, но не любит никого; она обречена — она выйдет замуж в положенный срок, потому что является маленьким человеком со всеми смешными атрибутами; она несчастна, и детский сад, словно сумасшедший дом, скроет ее безумие и несчастье; ее оставили здесь со всеми в одиночестве, она кричит, словно умирает на некоторое время; ее экзистенциализм чист и непорочен, словно небо, за которым — Космос, ее игрушка — начавшаяся жизнь со своим концом; сможешь ли ты сложить конец и начало, детка?

Они все, будто распавшийся организм — эти дети, ползающие внутри детского сада, который гаснет, как лампочка, во время тихого часа, чтобы была возможность

приготовить английский чай или молоко; они все обречены, они ужасны — стоит ли любить их?! В глазах у одного застыло убийство, и, возможно, он убьет свою девочку, быть может, он будет добрым стариком с одной ногой и погладит внука по голове, когда тот не захочет быть больше никем. Вы убьете — вы будете убивать, грабить и жечь, и доброта вам не поможет; вы видите синь чудес, пластику игрушек синего цвета и слез, но тщетно, — ибо некто возьмет вашу хилую руку и приведет вас туда, куда нужно, чтобы совратить вас на начало жизни или конец свободы, что не совсем одно и то же, как вам представляется сейчас; и вы смотрите злыми глазами на все, и на детский сад, и готовы растерзать окружающее, думая, что есть что-то еще, но взгляд воспитательницы добр и участлив, и мне хочется рыдать, упав головой на ее надгробие.

1986

СИГНАТЮР И НЕТ

Сигнатюр сделал движение ногой — он был мускулист. Он стоял на склоне, горели звезды и кто-то жег маленький костер на траве. Ведомый своим настроением, этот Сигнатюр шел вдаль, но там не было любви. Там только были ответы на все, но остальное хранило тайну. Яков Сигнатюр прыгнул вверх и сказал звук «А».

«Вот так и Бог хранит в себе все. Так и Бог не знает чего-нибудь. Так и Бог существует вместе со всем. Не желаешь того, что Он?»

— Это что еще? — спросил Сигнатюр, сидящий в кресле мироздания. — Что это значит здесь? Я жажду ответа на тайну, хочу видеть ясность в этом, хочу, наконец, знака оттуда. Я пришел сюда ночью, чтобы получить ответ.

«Ответ» и «нет» — два любимых у нас слова. Сегодня ты ищешь конец, завтра ты уже молодец.

— Существует ли звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня? — спросил Сигнатюр здесь.

— Нет.

- Существует ли восьмое чудо света?
- Нет.
- Существует ли Бог?
- Нет.
- Существует ли что-нибудь существующее?
- Нет.
- Существует ли слово?
- Нет.
- Существует ли природа, или человек, или время?
- Нет.
- Существует ли старая женщина?
- Нет.
- Существует ли понятие, любимое мной?
- Нет.
- Существует ли Я?
- Нет.

— Существует ли нога вместе с носком?

— Нет.

— Существует ли глубокое раскаяние?

— Нет.

— Существует ли бешеная страсть, глубокое чувство, тайное неудовольствие, кайф, любовь, грусть от того, что ты ушла, родная моя; что дождь стучал в стену твоего одиночества и не было смысла открыть дверь; и рука застыла в жалобной позе, и свет погас и закрыл навсегда от тебя свет; и ты видишь свет, и свет ведет тебя в эту страну, где есть все, и сад готов быть твоим, словно это ты, хотя все ерунда, и я — не Сигнатор, я — Яков Сигнатюк, украинец, и мои мозги напряжены, как ситуация при рождении Вселенной, и я готов родиться опять.

— Нет.

— Существует ли холодное пиво?

— Нет.

— Существует ли что-нибудь?

— Нет.

— Существует ли юбка?

— Нет.

— Так будь же ты проклята, дурочка.

1988

ВОЙНА ДЕВУШЕК И КАЯ

Кай был добрым счастливым любимцем этого мира, и снег падал на его ресницы, когда он смотрел на солнце.

— Стой, ненаглядный!

— Кто это?

— Здесь.

«Однажды истина появляется там, где ей хочется. И нет препятствий для нее, и закон ей не указка. И только прелесть может оправдать ее насилие над тобой. И только сладость может оправдать ее перед судом истории. Истина — это женщина, и она любит воина, и она любит его больше жизни. О, как она любит тебя, если ты с нею!»

И Кай стоял в снегу и глядел в вечность, будто видел сон, и он был нежным и ледяным, и он звенел от счастья быть здесь, и он пылал.

И Бог тоже был здесь и тоже был с ним, и Он тоже пылал, словно огонь, в котором сгорела Его собственная любовь. И только великие девушки не знали смысл и встали на другой путь и словно улетали от прелести, наполнявшей их.

«Только любовь освящает войну, только она освящает войну, только ты сам святой — только. Если ты Кай, ты должен стать таким. Люби их, бери их, плачь вместе с ними, смотри на снег! Аллилуйя, любовь моя, Ольсен».

— Стой! Кто идет?

В полушубке, с автоматом на спине, Кай выехал навстречу заре на большой умной овчарке.

— Вы! Ты! Я не пушу вас сюда — будьте Там!

Девицы, потупив взор, смотрели вдаль. Они обнялись, они пели, они были похожи на цветной узор; одна шептала другой все тайны и смыслы, другая шила платье для себя самой.

Кай грубой рукой взял их и поднял к свету.

— Нет, Кай, здесь, Кай, вон, Кай, ты, Кай! Ты — кайф, Кай, ты — май, ты — очень нежный, очень любимый собачий лай. Мы возродим в тебе себя и нас, мы сделаем тебе все, что себе, мы полюбим тебя, как нас.

«Только подлинное чувство способно убедить абсолютное существо в том, что его смысл не здесь. Только подлинная глубина способна изменить абсолютное существо. Только истинная вера способна сделать что-то новое с окончательным сотворенным абсолютном.

Только моя жена Грета Кукрыниксы способна доставить удовольствие чему-то высшему. Только любовь способна возродить чувство меры. Только ты».

Кай методичными ударами избивал чудесных девушек.

Их лица превращались в синие избитые лица, их ладони молили о помощи. Они обволакивали его своей сутью, своей смелостью, своей подлинностью, своим теплом.

«Оставьте меня, я люблю снег. Я люблю снег во сне. Я люблю его в своем сне».

— О, Кай!

— Вот тебе, гадина!

— О, пощади!

— Вот так вот!

— О...

И он сбросил их вглубь, и все закончилось.

И не было начала больше, не было ситуации. Кай стоял один, он был счастлив, он любил. Он был один здесь.

«Но было все наоборот: ОНИ убили ЕГО, было все наоборот. Это была истина, а ЭТО была жизнь. И было наоборот. Истина — это женщина, и она любит только себя».

1988

НЕСОГЛАСИЕ С ВАСИЛИСОЙ

Василиса, опустив забрало, ищет некий смысл произошедшего. Но что это за свет, мерцающий вдали за углом? Она готова выхватить меч за правду, но никто не выходит. Она красива: черные брови, черные ресницы, белая длинная коса, взгляд, полный решимости и правды. С ней Бог. Мы тоже хотим, но нет — все тщетно.

— Мы так любим тебя! Мы так хотим тебя! Мы так полны тобой!

И Василиса кричит туда зычным голосом, словно во тьму:

— Эй, выходи! Я тут стою всегда с мечом, я буду биться и кричать!

— Мы не выйдем, мы боимся. Мы верим тебе, и мы верим в тебя. Но это наш страх, наша несостоятельность, это все в нас. Наш мир в нас.

«Однажды тебя позовет высшее, и ты раскроешь свою суть и взлетишь туда, вглубь, внутрь. Не бойся того, что происходит. Будь всегда готов к этому чудному концу! Слышишь — звенит колокольчик, скребется мышь, поет мир. Умри с миром. Однажды тебя

позовут, ты должен бегом явиться наверх. Однажды тебе скажут: ты должен. В этом твой долг».

— Мы не придем, это обман, это не есть высшее, это просто ты — Василиса.

Василиса, гневно сжимая оружие, кричит всем:

— Вы не верите! Вы не любите! Вы — не вы! Вас нет! Только я могу что то!

— Нас нет.

— Вас нет!

— Нет.

— О, придите на кончик меча! О, умрите со мной, я всего лишь одна. О, любите меня, я всего лишь с тобой.

«Это только твои дела, Василиса. Только дела, Василиса. Только дела, но не слова; когда начнутся слова, ничего не будет, Василиса. Мы любим тебя, любим именно тебя. Мы с тобой, только с тобой, без никого. Твой Бог — наш Бог».

— Мы не придем! Будь здесь наедине.

— Я похороню вас.

— Единственная!

— Вы никогда не придете?

Ответ не дается просто так. Ответ не дается в руки. Ответа не бывает простого. Просто ответа нет такого, какого хочешь именно ты.

Василиса Кикабидзе пускает печальную девичью слезу. Она хочет к себе в горы.

— Мы не выйдем!

— Пожалуйста, вот все, что есть у меня. Я перенесу вас с собой.

— Это твой конец, Василиса. Оставь мир в покое. Мир покоится на нас — оставь нас в покое. Оставь, оставь это.

«Однажды тебя позовет высшее — не сопротивляйся. Отдайся этому, плыви по течению, это не смерть. Это высшее — не говори «нет». Расслабься, открой глаза, принимай все легко. Это только высшее, ничего другого. Только оно. Только облик его, он другой. Это очень просто».

— Вы со мной? Вы здесь? Вы там? Вы есть?

— Мы остаемся.

— О горе ВСЕМУ.

Василиса ЗАКОЛОЛАСЬ.

1988

ДЕНЬ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Just a perfect day...

Lou Reed

За окном клубилась пыль, которую, наверное, вздыбила какая-нибудь большая машина; Алексей Магомет спал на раскладушке, уткнувшись подбородком в свое плечо.

— Вставай, придурок, я ухожу, у меня дела, десять часов!.. — раздался наглый и недовольный всем его окружающим голос хозяина квартиры, в которой Алексей провел ночь.

Он открыл глаза и безмятежно уставился на человека, стоящего подле него.

— А... в чем, собственно, дело? Ты обиделся? Что-то было не так?

Хозяин смягчился.

— Да нет, все было нормально... нормально... нормально... — Тут он опять взорвался: — Но сейчас я немедленно ухожу, и ты тоже!!

— Замечательно, — совершенно спокойно произнес Алексей и сразу же вскочил с раскладушки, весело

улыбнувшись и хитро подмигивая. Он был одет в чистые голубые джинсы и белый свитер. — Ну, конечно же, я ужожу. Вот только кофе...

— Никакого кофе! — нетерпеливо буркнул хозяин. — Алеша, все хорошо, но я очень спешу.

— Понял! — с обезоруживающей четкостью сказал Магомет и уставился на японские наручные часы, лежащие на столике рядом с раскладушкой.

Хозяин немедленно надел часы.

Через сорок минут Алексей Магомет стоял в кафе вместе с Сашей Донбассом и пил пиво из большой кружки.

— Представляешь, приколы, — говорил Донбасс, — у меня отчима посадили... Дали три года!

— За что?

— Он два года назад ехал в поезде и по пьяни проткнул столовым ножичком какого-то грузина... Хрясь его в бочину! Гы-гы!..

— Насмерть? — Магомет с нескрываемым наслаждением затянулся сигаретой «Кент».

— Да что ты!.. Так... ничего серьезного. Все равно: «злостное хулиганство». Сидит.

— А, — сказал Алексей.

— Пора деньги делать, — заявил Донбасс. — День-то какой замечательный! Пойдем?..

Они вышли из кафе, симпатичные и молодые. Сто-
яла ранняя весна, вовсю светило солнце на безоблач-
ном голубом небе, и было совсем тепло; и хотелось си-
деть в кресле посреди улицы, курить сигару и
безучастно смотреть на развернутый вокруг фон жиз-
ни, в котором люди передвигались с места на место,
сменяемые другими людьми, и все были совершенно
одинаковыми, поскольку ни один из них не был мной.
Рука нищего застыла в протянутом жесте, милиционер
был непоколебим, как вековой дуб, прыгающие на тро-
туаре девчонки противно ржали — все было чудесно
и восхитительно, словно бытие возникло только что.

Саша и Алексей не спеша шли среди прохожих,
внимательно их оглядывая, но старались это делать
максимально незаметно, как истинные шпионы, вы-
полняющие опасную операцию, настолько же секрет-
ную, словно тайна любовной жизни молодой жены ка-
кого-нибудь пожилого миллионера в маразме.

Наконец, оглядев двух медленно идущих холеных
гладко выбритых людей лет сорока в широких — зе-
леном и бордовом — пальто, Магомет шепнул Дон-
бассу: «Беру» и тут же направился к ним. Донбасс
пошел следом, сотворяя на своем лице некое расте-

рянное, как бы ничего не понимающее в нынешнем миге и месте мира выражение.

— Простите, пожалуйста, вы — москвичи? — коверкая речь под прибалтийский акцент, спросил Алексей, приблизившись к выбранным им людям.

Те остановились, бегло осмотрели Магомета, бросив взор на вставшего за ним Донбасса, потом один из них, словно не уразумев цель вопроса, недоуменно ответил:

— Да...

— Мы с Альгисом из Таллина, — напористо, но вежливо сообщил Алексей. — Альгис!..

Донбасс немедленно отозвался, произнеся набор эстонских слов, смысл которых он сам не понимал.

— Я знаю, многие у вас... не любят... нас, эстонцев, говорят, мы — националисты...

Тут вмешался второй из выбранных людей, до этих пор как-то снисходительно, почти с легким презрением глядящий на Алексея:

— Да нет, почему же, я много раз бывал в Таллине, у меня там друзья, все это — ерунда, я по себе знаю, эстонцы — прекрасные люди, это вот сейчас...

— Так вот, — неумолимо продолжал Магомет, — просто... мы оказались в такой ситуации... Мы приехали на машине, поставили ее на стоянку, у нас тут была выставка, мы — художники, мы... эта... немного отмечать? Да? И приходим — машину забрали... ГАИ... Она сейчас на этой... Рябиновой? На Рябиновой улице стоит, требуют восемьсот пятьдесят тысяч рублей... А у нас только дома... У нас этих... русских денег... тысяч — правильно? Нету русских денег, надо позвонить в Таллин, чтобы прислали, телеграфный перевод шесть часов, ну... нам надо тридцать шесть тысяч двести рублей, чтобы три минуты позвонить домой... Или я, или Альгис оставят свой паспорт! Чтобы через шесть часов встретиться, отдать... Тридцать шесть тысяч двести рублей!.. Тридцать шесть тысяч двести рублей!.. Не могли бы вы... помочь... Или я, или Альгис оставит свой паспорт... Звонить... Таллин...

— Что им надо? — по-простому спросил один из слушающих все это людей у другого. — Денег, что ли? Денег?

Тот как-то успокоенно, почти радостно кивнул.

Между тем Алексей настаивал, заиклившись:

— Помочь... Оставим паспорт! Если можете помочь... Тридцать шесть тысяч двести рублей... Три минуты разговора... Таллин... Телеграфный перевод шесть часов... Отдаем через шесть часов...

Наконец человек в зеленом пальто почти раздраженно залез во внутренний карман, достал шикарное кожаное портмоне и вытащил бумажку в пятьдесят тысяч.

— На, братан, звони. Не думай — мы любим эстонцев! У меня друзья...

Алексей тут же схватил деньги и передал их Саше.

— Давайте... Я запишу адрес... Чтобы отдать...

Но человек в зеленом пальто только махнул рукой и скорчил добродушную физиономию: мол, пустяки какие, разве это деньги?

— Звони, звони. Привет Таллину!

— Спасибо вам большое... — начал буквально расшаркиваться Алексей.

Но люди, словно довольные тем, что они так дешево отделались, хотя было совершенно непонятно, от чего, и радостные тем, что удалось продемонстрировать широту русской души перед заезжими прибалтами, обычно дико заносчивыми и гордыми, поспешили, напоследок попытавшись даже как-то криво улыбнуться Магомету и Донбассу, которые тоже в них больше совершенно не нуждались и также норовили побы-

стрее скрыться, имея с собой первый куш чудесного весеннего дня.

Они отошли несколько метров от этого места, и Алексей довольно расхохотался.

— Ну, как я их?!. Пять минут — пятьдесят тысяч снял. С первого же подхода.

— Классно, — согласился Донбасс.

— Ну что — пойдём бухать или ещё?

— Может, лучше сегодня вмажемся?..

Магомет задумался, прикидывая в уме.

— Ну, я не знаю... Тогда надо ещё, хотя бы столько же... И ещё... Выпить-то тоже хочется... Когда мы последний раз вмазывались?

— Когда когда... Вчера!

— Тогда сегодня лучше не надо, — окончательно решил Алексей. — Нельзя подряд, а то подсядешь. Я лучше сейчас ещё денег сниму, поедем хорошо, выпьем, и мне надо, наверное, все-таки чтонибудь домой привезти... Да. Поеду сегодня домой, я не показывался уже пять дней. Жена, конечно, знает, что — работа, фирма, но надо появиться. Куплю ей цветы, сыну чтонибудь...

— Ну и правильно, — кивнул Донбасс, — тогда сегодня будем бухать. И... пойдём в Макдональдс! Ну что — еще тогда надо. Раз с первого раза... Пошли?

— Пошли! — с азартом истинного охотника произнес Магомет.

Окрыленные удачей, они убыстрили шаг, словно боясь упустить каких-нибудь особенно щедрых и доверчивых жертв своей лапши на уши, которая приносила им, однако, достаточно стабильный ежедневный доход, превышающий заработок среднего работника; в удачные дни бывало откровенно много денег, когда просто было даже непонятно, куда их девать, а потратить их хотелось непременно сразу же, потому что завтра — новый день, новые дела, новые удовольствия, и они тогда с истинным удовлетворением замечательно потрудившихся членов социума покупали какие-то изощренно дорогие напитки, блюда или наркотики и с видом абсолютных королей профессионалов свысока смотрели на замызганных нищих, которым проходящие мимо люди иногда совали сотенные или в лучшем случае тысячные бумажки, после чего они долго и противно крестились и вообще выглядели так, словно стеснялись самого своего существования, будто их по дикому недоразумению кто-то родил, а смерть все заставляет себя ждать и не торопится очистить наш прекрасный, искрящийся ночными витринами и фонарями мир от таких откровенных уебищ.

Нет, воистину, Саша и Алексей были не таковы! Они были тончайшими психологами, подлинными артистами жизни, которым люди давали деньги не за то, что они им капали на мозг, а за их изысканную прелесть, за настоящее соблюдение жестких законов человеческого товарищества, за умение не просто выжить под открытым небом без статуса и богатых родственников, но выжить красиво, шикарно, с невероятной легкостью каждой прожитой секунды и каждого пройденного отрезка пути, со смехом и достоинством, выворачивающими все наизнанку: не мы выпрашиваем у вас деньги, но это вы с радостью даете их нам!..

Конечно, не все бывало столь приятно и далеко не всегда, но идеал был именно таким; а разве мы не живем тут для того, чтобы хотя бы на долю секунды соответствовать собственному идеалу? Ну конечно же, это мечта любого слесаря: стать Слесарем С Большой Буквы, мечта любой проститутки, младенца, табуретки, наконец!..

И Магомет, и Донбасс часто испытывали миг совершенной самореализации, полной остановки пространства и времени, когда они были настолько абсолютно вписаны, впаяны в реальность — или им это казалось (а это одно и то же), — что этот момент можно считать за точку полного нуля, единственного начала Всего или окончательного конца, когда решение задачи настолько совершенно равно самой задаче, что остается

лишь суицид в качестве способа хоть как-то вырваться из Божественного вакуума и реального рая, явленного вот сейчас, вот здесь, вот у нас.

Но никто ни о чем таком не думал; время продолжало идти вперед; Алексей и Саша шли по улице и глядели на прохожих. Алексей «взял» любовную парочку, сказавшую ему, что они, дескать, рады бы помочь, но у них нет денег; затем какого-то иностранца, долго не вникавшего в речь Алексея и абсолютно не оценивающего мастерство его акцента, который в результате просто ушел, ничего не ответив бедным «эстонцам»; наконец, была целая компания, выслушавшая все подробности Алексеевой «телеги», но один, видимо, особо хитрый из этой компании вдруг воскликнул: «На эстонца-то ты что-то не похож!», и они тоже все ушли; и Магомет и Донбасс начали испытывать даже некоторое уныние, несмотря на присутствие в кармане Донбасса бумажки в пятьдесят тысяч рублей, которую он постоянно теребил, словно все время желая убедиться, что она в самом деле существует и их первая удача была не сном и не бредом, а истинным событием.

— Вот люди какие жадные!.. — раздраженно проворкотал Алексей, отходя от очередной несработавшей парочки молоденьких бизнесменов в шикарнейших замшевых куртках. — Жмутся... Жалко какой-то полтинник дать...

— Да, — согласился Саша Донбасс.

— Подожди-ка, подожди... Это что там за баба? — спросил он, смотря на идущую навстречу немолодую женщину с двумя полными хозяйственными сумками.

— Не знаю... — резонно ответил Донбасс. — Ладно, пошли, беру.

Алексей быстро подошел к женщине, так что Саша еле поспел за ним, и тут же, без запинки начал излагать свою «эстонскую» историю, которую настолько уже выучил, что мог почти не думать, о чем говорит, — язык сам собой излагал исковерканные нарочитым акцентом слова и фразы, а мозги в это время жадно таили в себе единственную бьющуюся, как пульс, мысль: «Даст — не даст... Если даст — то сколько... Если столько — хватит на это, а если столько — хватит на то...»

Вдруг женщина перебила его:

— Да я все поняла... Я — учительница литературы в школе, как раз сегодня получила зарплату, так что, считайте, что вам повезло... Нет, я люблю эстонцев, почему вы думаете, что мы все считаем вас националистами?... Я была в Таллине, там этот... Верхний Город — красиво...

— Да, у нас — красивая... столица, — сладко улыбнулся Алексей.

— Но я вам могу только пятьдесят тысяч дать, — сказала им учительница. — Сами понимаете — сейчас платят учителям мало...

— Ой, да что вы, спасибо... Спасибо... — залепетал Алексей, первый раз за все время своей деятельности ощутив подобие стыда.

— Берите, ой, вам же есть чего-то надо... Вы, наверное, голодные, вот, возьмите, тут у меня сухари, — женщина залезла в сумку, вытаскивая бумажный пакет, — а еще вот вам бутылка ликера, выпьете, я сыну купила, но ничего, вам-то сейчас нужнее...

Алексей был готов провалиться сквозь землю, но взял и сухари, и бутылку.

— Спасибо... Спасибо... Спасибо... — заладил он, от полноты чувств чуть было не забыв изображать эстонский акцент и не зная, как бы поскорее отвязаться от щедрой учительницы, делившей с ним буквально последним, что у нее было.

— Ну... Мы пойдем... — откровенно сказал он, передавая Саше пять бумажек по десять тысяч. — Спасибо! Спасибо! Расскажем... всему Таллину о вас...

— Да что вы! — застенчиво улыбнулась добрая женщина. — Я бы вас к себе в гости позвала, но у меня одна комната...

— Нет, что вы, что вы! — замахал руками сраженный таким благородством Магомет.

Он поклонился учительнице, и они с Сашей резко от нее отошли.

— Класс! — восхищенно сказал Донбасс. — Вот это да! Ну ты даешь!

— Перестань... — укоризненно посмотрел на него Алексей. — Подонки мы с тобой!

— Ты что, это только что понял? — придав своему тону как можно больше удивления, спросил Саша. — Это же с самого начала было ясно.

— Ну уж нет, — не согласился Магомет. — Одно дело, когда ты разводишь новых русских или иностранцев, для которых это вообще не деньги, а тут... Она даже бутылку для сына нам отдала! Святая! А мы...

— Да это все равно, — жестко проговорил Донбасс. — Раз ты на это идешь, раз ты используешь человеческую доброту в своих целях, ты изначально — подонки и гад, хотя я себя таковым не считаю. Но это без разницы — учительница или бизнесмен на «Вольво», все равно ты их гнусно обманываешь... Ты уже — сволочь. Но мне это по фигу.

— Стоп! — воскликнул Алексей, тут же забыв про

учительницу. — Ты сказал: бизнесмен на «Вольво». Видишь?..

Саша посмотрел туда, куда незаметно указал Магомет; навстречу им медленно ехала серебристая «Вольво», внутри которой сидели двое немолодых людей в костюмах и шелковых галстуках. Они откровенно смотрели на Алексея Магомета и Сашу Донбасса.

— Кто это? — изумился Донбасс. — Не нравятся они мне...

— Да какая разница!

Магомет уверенно подошел к почти остановившейся «Вольво» и сделал знак, чтобы его выслушали. Человек, сидящий рядом с тем, кто за рулем, радостно улыбаясь, вопросительно посмотрел на Алексея, открывая автомобильное окно.

— Простите, пожалуйста, вы — москвичи?

— Москвичи, — степенно ответил тот.

— А мы — из Калининграда. Кенингсберг!

На этот раз Алексей решил обойтись от поднадоевшего ему акцента.

— Ух ты!

Последовала характерная речь про машину на Рябиновой улице. Люди, кивая, внимали ему, все так же радостно и как-то загадочно улыбаясь.

Наконец, один из них запросто сказал:

— Конечно, я могу вас выручить. С кем не бывает! Только у меня деньги не с собой... С собой только тысяч сто... Отъедем два квартала — дам я вам миллион. Вы же вернете?

Алексей опешил; у него подкосились ноги от неожиданности, он даже стал задыхаться, словно случайно выбросившаяся на песчаный берег летучая рыба, перепутавшая направление полета.

— Садись — предложил человек, приоткрывая дверцу «Вольво».

— А... он? — вымолвил Алексей, указывая на Сашу, который неодобрительно глядел на него, словно предчувствуя какой-нибудь кошмарный подвох.

— Да мы быстро... Три квартала. Он тебя здесь подождет. Ну что — нужны тебе деньги или нет? А то Рябиновая — сам знаешь, там вовремя не возьмешь тачку и...

— Спасибо, спасибо, — пробормотал Алексей и сел в машину на заднее сиденье.

Донбасс сплюнул куда-то влево и отошел.

«Вольво» тронулась.

— Сейчас заедем в наш кооператив... — говорил человек за рулем, — мы сами — медики... Триппер всякий лечим, наркоманию... Тебя как зовут-то?

— Саша, — почему то сказал Алексей.

— А меня Коля. А это — Иван.

— Коля — хирург, а я — анестезиолог, — сказал Иван. — Но сейчас придется заниматься всякой ерундой... А что делать — время такое!

— Да уж, время... — поддержал его Алексей.

Но тут Коля затормозил.

— Вылезай, приехали.

Они остановились у большого серого дома с большим количеством подъездов.

— Пошли, зайдем, дадим мы тебе твой миллион, не оставим в беде такого приятного парня!.. — усмехнулся Иван.

Алексей нехотя вылез и пошел следом за ними, все еще не понимая: это правда или тут скрывалась неиз-

вестная ему цель, очевидно, не сулящая ничего хорошего. Может быть, он зря с ними связался?! А вдруг действительно — миллион?.. Тогда можно...

— Да ты не бойся, не бойся... — весело говорил ему Иван, слегка подталкивая сзади. — Не съедим.

Они поднимались по лестнице; стены вокруг были испещрены скабрёзными надписями; было тихо и гулко от их шагов.

Коля остановился у железной двери и открыл ее длинным железным ключом.

— Заходи.

Алексей встал у порога и умоляюще посмотрел на хирурга и анестезиолога.

— Ребята, да я здесь подожду, ничего...

— Да заходи, заходи... Какой пугливый! Как во семьсот пятьдесят тысяч просить...

— Да я ж только на телефон!

— Перестань... — укоризненно сказал Иван и опять слегка толкнул в спину. — Сейчас все будет.

Алексей зашел, оказавшись в небольшой квартирке, внутри были какие-то медицинские аппараты и

стеклянный шкаф с таблетками и ампулами. Посреди одной из двух комнат стоял столик с бутылкой коньяка и тремя рюмками.

— Ну, видишь, как хорошо? Коньячку выпьешь? Сейчас тебе Коля выдаст...

Коля подошел к столику и ловко налил коньяк. Он взял одну из рюмок и протянул Алексею.

Иван исчез в другой комнате, закрыв за собой дверь.

— Ну... пей!

— Давайте чокнемся, — сказал Магомет, беря рюмку.

— Ну конечно... Коньяк — армянский, тридцатилетней выдержки... Понюхай, как пахнет, а?..

Алексей тут же опустил нос в рюмку, затем машинально отхлебнул маленький глоток.

— Отличный коньяк! — бодро сообщил он, допивая. — Только какой-то привкус... Или мне кажется...

— Да нет, не кажется, — крикнул из комнаты Иван. — Там просто одно из самых сильных и быстродействующих снотворных. Ты уж извини, брат...

Алексей похолодел от резко нахлынувшей на него волны ужаса.

— Как? Что?..

Иван вышел из комнаты, сконфуженно улыбаясь. Коля стоял рядом с ним — свою рюмку он так и не взял.

— Понимаешь, дружище... Каждый по-своему деньги зарабатывает. Ты вот — из Калининграда... Или из Таллина, я уж не знаю... А мы, как я уже сказал, — хирург и анестезиолог. А много ли мы получим, лечя всяких там... Вот если больной и богатый... Короче, у нас — срочный заказ.

— А... я... — уже чувствуя неотвратимое затуманивание в голове, заплетаясь, проговорил Алексей.

— Ты нас вообще не интересуешь. Возможно, ты — хороший парень, молодец, но раз ты сам пришел к нам в руки... Ты-то нам не нужен. Но нам нужна твоя почка.

— Что?!! — возопил Алексей и чуть было не упал от давящей на него жуткой тяжести извне; во всем теле нарастала чудовищная слабость, перед глазами стали мелькать цветные вспышки, словно ему кто-то врезал по морде со страшной силой.

— Ну да, почка твоя, почка. Почка знаешь сколько стоит, если без очереди? А человек ждать не может, деньги есть...

— Да не волнуйся ты так, — совершенно разумным голосом сказал Коля. — Убивать мы тебя не собираемся. Ты можешь жить и с одной почкой; зашьем мы тебе все в лучшем виде, я — хирург, Иван — анестезиолог... Заснешь и проснешься... Искать то ты нас, конечно, можешь, но не советую... Охрана там знаешь какая?

— Ах вы!.. — попытался закричать Магомет, но тут же рухнул лицом вперед, ударившись подбородком о пол и чуть не откусив собственными зубами свой язык.

Сознание покинуло его, сраженное мощным лекарственным средством; все вокруг заволочла серая тьма, и воцарилась бездонность небытия.

Когда Алексей пришел в себя, он обнаружил, что лежит на скамейке, а над ним озабоченно и мрачно стоит еле различаемый в наступившем вечере этого дня Саша Донбасс, курящий длинную тонкую сигарету. Все тело Алексея было словно из войлока; подбородок сильно болел, память медленно медленно возвращалась в виде каких то картинок, смеха и шелестящих денежных бумажек. Тут он вскочил, напряженно ощупав поясницу.

— Да не стали они тебе почку вырезать-то, — раздраженно сказал Донбасс. — Слушай, ты не помнишь, я с тобой вмазывался одним шприцем?

Безмерное облегчение обуяло Алексея, он сунул руку в карман, нащупав сигарету, весело ухмыльнулся и сказал:

— А как ты меня нашел? Вот — подонки-то...

— Сейчас все — подонки. Ну что — вмазывался я с тобой?...

— Откуда я здесь?

— Да я тебя принес! — злобно проговорил Донбасс. — Я же пошел за ними, подождал, они мне тебя и вынесли. Могли бы ничего не говорить, но раз так — предупредили. Да что я на них, в милицию заявлять буду? Я сам — в розыске. Они и правда хотели у тебя почку взять, и взяли бы, только...

— Какой я везучий! — радостно воскликнул Магомет. — Ну, гады... Дай прикурить-то...

— Да уж, ты — везучий. Они тебе анализ сделали, и — все. Твои органы не годятся.

— Да ну... — продолжал улыбаться Алексей. — А что у меня, группа крови не та? Прикол, кому рассказать...

— Группа крови у тебя нормальная. У тебя просто СПИД.

Алексей не понял.

— Что-что?

— Что-что, — передразнил его Саша. — СПИД у тебя, понятно? Ты — ВИЧ-инфицированный. Соответственно, твоя почка на хрен никому не нужна. Вот я и вспоминаю: вмазывался я с тобой одним шприцем или нет. Завтра же пойду проверюсь!

Алексей Магомет дико вздрогнул, словно уцепился рукой за оголенный провод под током.

— Это — шутка?.. — тихо спросил он с надеждой.

— Какая, на хрен, шутка! Почка-то у тебя при себе? Ладно, пока, я пошел, завтра схожу проверюсь. Боюсь!

Алексей привстал, раскрыв рот, но Саша Донбасс немедленно рванул прочь от скамейки и пропал в окружающей их вечерней темноте.

Магомет остался один с незажженной сигаретой в руке.

— Погодите погодите, — сказал он вслух сам себе. — Это что, и есть удача этого дня?.. И жизни... У меня — СПИД? Абсурд, бред. Но почка-то на месте? Может, это еще не точно?!

Он нервно расхохотался, до выступивших горячих слез на глазах.

Вокруг умирал день, убитый, уничтоженный вечером и неотвратимой ночью; красивая луна безмятежно застыла на звездном небе, где то шествовали прохожие, озабоченные самими собой.

— Ну ладно, — злобно проговорил Магомет, сжимая в кармане кулак. — Я люблю этот вечер так же, как любил этот день! У меня — СПИД?! К черту! Надо срочно кого-нибудь заразить.

И он насмешливо посмотрел на тени идущих людей, не знающих о его существовании, они шли по собственному пути и были все одинаковыми, поскольку ни один из них не был мной.

ЗАЕЛДЫЗ

Хек провел в жилище учителя Софрона четыре года, изучая искусство нравственности — шэ. Он просыпался с восходом солнца, выходил на воздух в любую погоду вместе с учителем, слушал его наставления и повторял их. К концу четвертой зимы он знал все, известное учителю.

Он собрал свои вещи, встал на колени, коснулся носом ножки стула учителя, как требовал обряд, и промолвил:

— Теперь я покидаю вас. Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность и восхищение.

— Не говори так, — улыбаясь, ответил Софрон и сделал знак, чтобы Хек поднялся. — Шэ находится во всем. И если все существа овладеют им, мир лишится плохих черт. Это я должен благодарить тебя за прилежание и успехи. Надеюсь, ты навсегда запомнишь мои наставления и передашь свое искусство другому достойному. А сейчас я хочу поведать тебе еще кое-что, пока ты не покинул меня навсегда. Помнишь, я в самом начале учебы обещал тебе в момент нашего расставания сообщить нечто самое важное?

— Да, учитель, — ответил Хек, замирая.

— Так вот. Слушай. Четыре года я учил тебя искусству нравственности; и все эти четыре года мы толковали о великом принципе «заелдыз» — «не убей». Сейчас ты, наверное, уже лучше меня сможешь рассказать о различных человеческих вопросах и проблемах, которые, как оказалось, словно по волшебству легко разрешаются этим принципом. Но я хочу тебе сказать о другом. И по-другому. Я хочу сейчас обосновать для тебя «заелдыз». И более того, я говорю тебе: «заелдыз» — это не вся правда. Я даже скажу так: ты можешь убить.

Наступила пауза.

Хек поднял изумленные глаза:

— Я не ослышался, учитель?

— Нет! — торжественно проговорил Софрон. — Я знал, что ты будешь поражен. Я повторю: ты можешь убить. И вот когда. Ты можешь убить, когда абсолютно уверен в том, что нравственная суть убийства выше ценности жизни убиваемого тобой существа и всех последствий убийства. Как мастер шэ, ты должен безошибочно определять это. Вот обоснование «заелдыза».

— Я... Я не совсем понял вас, учитель, — пробормотал Хек. — Ведь вы говорили, что «заелдыз» не требует обоснования.

— Сейчас я открыл тебе последнюю истину шэ. Объяснить ее по-другому нельзя. Если ты сможешь связать все наши уроки с тем, что я сейчас тебе сказал, ты станешь мастером. А теперь иди.

Удивленный, Хек покинул учителя Софрона.

Через восемь лет Хек был одним из самых известных мастеров шэ в стране. Даже государственные люди обращались к нему.

Он женился на прекрасной девушке, и она родила ему сына. Когда сыну исполнилось три года, он неожиданно сильно заболел. Маленький и беззащитный, он лежал в кровати и почти не дышал. Болезнь не могли вылечить ничем.

Отчаявшись, Хек пригласил знахаря.

— Эта болезнь связана с вами, — сказал знахарь, осмотрев мальчика. — Но я знаю, что поможет ему. Его вылечит сердце красной змеи, которая живет у водопада. Прикажите, и я доставлю ее.

— Нет, — сказал Хек. — Если для каких-то целей мне нужно погубить живое существо, я не могу складывать с себя ответственность за это. Я сам должен достать змею.

— Вы легко найдете ее там, — сказал знахарь, поклонившись.

На следующий день Хек отправился в путь. Достигнув водопада, он стал высматривать змею, но потом задумался.

«Тот ли это случай, о котором говорил учитель Софрон? Ты можешь убить, когда абсолютно уверен в том, что нравственная суть убийства выше ценности жизни убиваемого тобой существа и всех последствий этого поступка. Мне кажется, я вправе убить змею. Разве жизнь моего сына не выше жизни змеи? Да, но почему тогда Софрон говорил, что это — обоснование «заелдыза», главного принципа шэ, «не убей»? А, понял! Как раз, когда я совершенно убедился в оправданности убийства, именно сейчас я и не должен убивать, просто потому что «заелдыз», и все. Что ж, это действительно очень мудро и в духе шэ. Я, кажется, связал наконец последние слова Софрона с его предыдущими уроками. Но неужели жизнь моего сына не стоит жизни какой-то вонючей змеи?! Я все-таки убью ее».

Приняв это решение, Хек улыбнулся, достал большой нож и радостно стал смотреть на водопад. Но тут из-за камня выползла красная змея и укусила Хека в ногу. Сильнейший яд немедленно начал действие.

Через четыре минуты Хек был мертв.

ИСКУШЕНИЯ

Исполненный Божественными мужеством и милостью, я отправился и сразу же вступил.

Вначале был полумрак; легкий смрад, но почти неслышный — так пахнет с кухни слегка прокисший кипящий суп; затем возникли своды большого яркого храма, где стояли люди и священник в красной ризе пел что-то на непонятном языке и вздымал белые большие ладони. Я увидел алтарь — он ветвился, запутывался предо мной, цвел какими-то цветами, золотом, ликами, образами девушек, трав, святых, нет... Что же это?.. В алтаре, во всем его обличье причудился мне огромный, обращенный мордой кверху медведь. И все ревело вокруг, и все люди ему молились, и священник пел, и пел, и пел... «Сгинь!» — шепнул я, сжав за пазухой крест.

Возникло небо; алтарь, словно свеча, стекал вниз, дымясь, расплавляясь, исчезая. Я стоял на вершине, я был счастлив и велик. Подо мной журчала река, надо мной сияли солнце и снега. Я был один, я был абсолютно один! Я сел.

Прошли тысячелетия, вечности, мгновения. Я сидел, все исчезало, я был недосягаем, все было во мне, и все было мною. Высочайшее чудо было заключено в

единственном мне — и великий смысл, и прекрасность ничтожества, и благодать бытия. Все пропало — горы, реки, долины. Один только миг, замыкающийся сам на себе, одно лишь блаженство без блаженства, я без я, все без всего. «Сгинь!» — шепнул я, сжав за пазухой крест.

Я тут же стал мускулистым, рослым, старым, красивым. Я сидел у камина, ко мне склонялись друзья. Я должен был их отравить — в их бокалах был яд — и потом сам умереть с улыбкой и благодарностью за свою жизнь. Мои истинные наследники уже занимались процветанием нашей страны, войной, счастьем, приключениями. Я поднял морщинистое лицо. Невыразимый уют пронизал всего меня. «Сгинь!» — шепнул я. И сжал за пазухой крест.

Я вновь был молодым и восторженным! Столько всего предстояло мне... Сколько? Ничто мне не предстояло. Я был безвестным музыкантом в сумасшедшей стране, я курил наркотик и хотел есть.

Ко мне зашла моя знакомая.

— Привет! — сказала она, ее звали Софья. — Угости?

— Сгинь! — отвечал я, сжав за пазухой крест.

Она исчезла, а я остался один в своем ужасном одиночестве, на своей кухне среди пустых шкафов, каст-

рюль, бутылок. Среди тысяч проблем и вопросов, зависти и неудовольствия. «Сгинь!» — прошептал я.

Я падал в бездну, плыл наверх, сражался на револьверах, пек чебуреки и отдавался матросам в городе на букву О. Меня били цепями и кулаками, расчленяли и сажали на трон. Я собирал бутылки утром у магазина и сидел в конторе, и — молился, молился, молился всем богам, которые только существуют, во всех монастырях. «Сгинь!» — сказал я и сжал крест.

И однажды мир словно переломился пополам и уста мои открылись. Горние вершины ждали меня, и искупление настало. Я вознесся и предстал перед высшими очами. Христос склонился надо мною, осеняя меня последней и высшей благодатью.

— Ты отринул весь Мой мир! — произнес он мне. — Войди же ко Мне, в Мое царствие, достойнейший!

— Сгинь! — сказал я.

— Чего же ты хочешь? Абсолютное ничто?

Я вытаскиваю из-за пазухи крест, протягиваю перед Христом, и жду, жду, нетерпеливо жду, когда Он исчезнет.

ЕЛЬЦИН В ЗАЛУПЕ

О нет, он был там, среди высочайших кустов благовоения моих цветов, у ног зари, у пальм в журчащих водопадах великих садов твоих зорь, у тьмы поклонений странным существам, словно герой полуденных призывов и тайн; он был, как царь и изнеженный принц, и требовал гнета и чуда. Он восстал среди восторженных клятв советников божеств, будто небольшая фигурка между тобой и мной, как знакомая благодать испытанных слез, как восторг причуды. Он возглавил Соединенные Штаты, и все королевство встало, словно маленькая часть кожи, откликнувшись на его ауру. Он был великолепен, словно мудрый старик, и глубок, как колодец с написанным детским словом. Он путешествовал и требовал денег, и все князья слали его на зуб, и вся страна приветствовала его рык, и все гористости осязали его мощный зоб. Его грудь была мясистой и двоесосковой, словно мельчайшая полоска зверей в лесах мечты, она пухло громоздилась на кровати, напоминая убор принцесс, и она была изящной, как ножка шахматного стола. Эти две загогулины из плоти, висящие на родном теле, притягивали к себе, будто заслуженный плод; я хотел лакомиться, я хотел кокос трусов!..

Он падал, политически застегивая торс, старался выставить ручную массу, оберегаясь от пыхтящих пре-

следователей, механически обмакивал кисть в тушь государства, пытался быть первым у меня, стыдливо разукрашиваясь и запудривая испуг, схаркивал, кокетливо поправляя ляжку маечки, снисходил и грустил. Я встретил его в кружевах на улице, как президента своего пупка, он грубо помахал мне в ответ, послал воздушный поцелуй и засунул свою ногу в отверстие небольшой ямки. Я встал перед ним, как Вселенная вместе с Богом и собой, и гнусно захихикал, пытаюсь ударить по его икре хворостинной.

Ельцин. Я в нос путч, дуче я знал лучше! Я помню великий миг моего приема диэтилтриптамина под звездными небесами в канун смерти вашего короля и его блядей, когда я занюхал маленький хозяйственный раствор, стоящий у ног моего предводителя, развалившего наш строй. Страны топорщились перед моим взором, все перестало иметь смысл. Я был всего лишь президентом великой страны, которая на меня молилась, почесываясь между ног, как сказал Гоголь, и я ощущал блаженнейшую эйфорию своей задачи, выражающейся в моем пищеварительном сибирском тракте. Я отдал приказ сделать меня женщиной и уменьшить, чтобы я чуял пот и величие, и я теперь в залупе твоей как непонятно кто. Я еще не доделан, я хочу тайн, тайн, тайн, тайн!.. Дай мне свои брызги, засунь меня. Я согласен на победу над миром, все немцы за меня. Поколи-ка меня, может, я верну маленький Крым!

Я расстегнул его лифчик, он не сопротивлялся. Я просунул свою ложноножку в его промежность, он склизко хмыкнул, как мотыль, на который ловится уклейка. Я повернул его к себе — он был прекрасен, как герой, он был мисс, он был восторг, великолепие телесное!.. Его ноги скрестились, хохолок заволокла краска румянца. Его белье было жестким и пахло моей мечтой. Небольшой зад находился ниже его спины — о, Ельцин!.. Я приблизился, я затаился, я пытался взять... Но: он был у меня в залупе, и он там так застрял, что никто не смог бы его вытащить. Я посмотрел на это трепыханье, на эту потугу, на легкий свист и застегнулся. Пусть молитва с тех пор осеняет мои дни.

1991

Я ХОЧУ СТАТЬ ЮКАГИРОМ

Софрону Осипову

Хеджо! Устав от вяленой моральной жизни, в которую погружен развратный и гнилостный городской житель, я понял, что мне надоело быть белым человеком. Мне надоело одиночество пустых комнат в темноте своего дома, где хочется терзать живую плоть, но бьешься головой в стены или сидишь на теплой небольшой кухне, размышляя о том, что завтра будет день опять, в то время как душа изнемогает от темных желаний и рвется на черный Север, где можно достичь края Земли и выкрикнуть в разноцветное небо какой-нибудь короткий торжествующий вопль вместо длинной умной беседы. Иногда мне кажется, что я рожден не для того, чтобы разговаривать, а чтобы вопить. Я могу часами стучать по столу, как по барабану, погружаясь в мрачную медитацию первобытных существ: и не хватает только ласковой полуголой жрицы рядом, чтобы она напела мне на ночь глядя скрипящую от дерзких и мучительных диссонансов безумную песнь враждебной человеку Природы, которая засыпает тревожным урчащим сном и величественно ждет своих заклинаний, чтобы очнуться от спячки и горячим костром вознестись к скучному небу.

Когда я иду ночью через темный лес, мне хочется встать на четвереньки и ускакать в таинственный снежный простор, внутри которого, свернувшись калачиком, безмятежно спят медведи и землеройки; и мне хочется застыть там посреди животной тьмы и жить, излучая свет голодных зеленых глаз, который, как удвоенный и падший нимб, словно фонарь, освещит мне жизненный путь.

Я не в силах сделать ничего нового. Второй Герострат вряд ли добьется своего, и кроме того, глупо совершать поступки с таким элементарным смысловым наполнением. И все же — мне надоела моя характернейшая жизнь.

Я сижу в своей полутемной одинокой комнате, пью растворимый кофе и подсчитываю, сколько мне осталось времени для жизни. В принципе не так много — поэтому можно особенно не волноваться, пройдет само собой. Но не лучше ль все-таки сделать хоть что-нибудь, вместо того, чтобы так же, как все вокруг, заниматься интеллектуальным давлением на окружающих, заставляя их мусолить разнообразные идеи, возникающие в твоей умной голове в то время, как она пьет виски и наслаждается приятной реальностью?

Меня интересуют и идеологические вопросы. И не могу я преодолеть существующее во мне от рождения отвращение к церквам, хотя и признаю их величие и вселенский смысл. Я уважаю профессию священника,

но в глубине души он наводит на меня ужасную скуку старославянскими словами и надрывным поведением. Я не люблю Пасху, когда крестьящиеся старухи своими выступающими задами оттесняют тебя к выходу, если хочешь ближе взглянуть на таинство, а мрачные субъекты, словно готовые растерзать твою изможденную долгим стоянием плоть, делают злобные замечания, касающиеся местного этикета. Горящий лампочками лозунг навевает уныние, и вообще, все происходящее не вызывает никакого доверия — собрались и разошлись. Обескровленная, милая, приятная религия. А ведь когда-то Бог убивал целые народы!

И стою я в такой церковной толпе, и как будто хочется пробить эти сковывающие свою суть толстые соборные стены и, уничтожая твердым лбом ограничивающий простор купол, вылететь вверх отсюда — в холодную и сладкую бесконечность.

Впрочем, все это только мелкие причины моего истинного желания — желания стать юкагиром. Юкагиры — маленький, затерянный в северной тайге народ, сейчас их насчитывается человек триста или четыреста, и они честно вымирают, вырождаясь и не приемля нового времени. Возможно, они все болеют сифилисом, который передается из поколения в поколение, но они — люди и, может быть, даже лучшие из нас, поскольку их мало, и они больше чем-то напоминают тайное общество со своим языком и верой, чем народ с

территорией и армией. По крайней мере, юкагир интересен уже тем, что он — юкагир. А чем интересен московский живописец, если, конечно, он — не великий художник? Я думаю, что все его мировоззрение не стоит одного слова юкагирского шамана, а все его творчество — одного юкагирского рисунка. История вершится на наших глазах, и, может быть, именно юкагир говорит нам истину, поскольку он выкрикивает ее на пороге гибели своего народа и своей тайны, и, черт возьми, если б я был Богом, юкагир представлял бы для меня больше интереса, чем банальный православный или католик.

Так или иначе, может быть, необходимо начать спасение вымирающего народа юкагиrow: нужно освежить их кровь, нужно дать им поддержку, нужно кинуть клич нового социального движения — «В юкагиры!» — и неужели не найдутся честные люди, которые бросят своих скучных жен, глупых детей и немощных бабушек и возрадутся великой возможностью стать полностью иным человеком?

Быть может, я, который готов разделить трудности и радости бедных болезных юкагиrow, буду истинным христианином; может, в этом есть высшее сострадание к человеку — твоему ближнему, чему нас учил Христос? Ведь видел же Франциск Ассизский во сне, как он обнимает прокаженного, который превращается в Христа; почему же я не смогу увидеть Христа в бедной юкагирской женщине с провалившимся носом, когда

она со стоном и заклинаниями будет дарить мне свою первозданную любовь? Неужели же я не буду любить ее на самом деле? Мне будет плевать на ее тело — я буду видеть ее несчастную некрещеную душу, которая гибнет в потемках мрачной тайги и вымирает из-за нашествия новых трансцендентных верований; и я отрину свою белую гордыню, и мороз навеки соединит наши тела, и мы застынем в блаженном, никем не оцененном поцелуе, как у Родена, и последующие поколения людей, откопав нас через миллионы лет, может быть, скормят нас своим собакам, и на миг наши тела оттают, и северный дух сойдет на землю и спасет наши нетленные сущности от позора!

Все решено, все решено, назад пути нет, и куплен билет, и самолеты увезут меня в тундру, где я скроюсь навсегда. Но пока остаются некоторые формальности.

Я прихожу в Институт красоты, я одет в изящный костюм, французский одеколон приятным ароматом окружает мои лицо и шею.

— Что вам нужно? — говорит мне прекрасная блондинка с вишневым ртом: на ней белый халат и черные чулки.

— Я хочу быть юкагиром! — говорю я и подмигиваю ей.

— О, — улыбается она в надежде на продолжение. — А кто это? Вы и так красивы... Даже очень.

— Я знаю, — смущенно говорю я. — Но я хочу быть некрасивым. Я хочу поменять расу. Мне нужно стать монголоидом северного типа. Узкие глаза, приплюснутый нос — в общем, вы понимаете...

Она остолбеневаает и смеется.

— Вы издеваетесь надо мной?

— Нет, хотя и да. Вы мне не нравитесь. Могли бы, работая в Институте красоты, немножко и о себе подумать.

Это очень невежливо, но мне — будущему дикарю — плевать на вежливость, пора привыкать к иным манерам. Кроме того, это было последнее средство уговорить ее.

И вот меня везут на операцию, и очаровательная блондинка потирает руки, предвкушая, что она со мной сейчас сделает!..

Мои белые волосы я просто-напросто крашу, и вот я почти северный азиат: как хорошо, что я захотел стать юкагиром, а не негром, это было бы намного сложнее устроить.

Юкагирский язык я учить не буду. Во-первых, там нету письменности, а во-вторых, я заново рождаюсь, поэтому буду как неразумный младенец — пускай

меня учат всему, и пускай первые свои новые слова я узнаю от их подлинных носителей, для которых ничего не значит то или иное имя. Итак, первое время я буду немым юкагиром, даже — учеником юкагиров.

Я боюсь — возьмут ли они меня к себе, оценят ли мою жертву и подлинность моих порывов? Но выходил же Маклай к папуасам, и все обошлось хорошо, а ведь он не захотел полностью принять их мир. В конце-концов, все зависит от меня. Если мое желание абсолютно искренне и исходит из глубины сердца, то они почувствуют это и дадут мне в жены достойную, хотя я согласен и на самую последнюю девушку — все-таки я не юкагир по крови, и поэтому среди них я — самый последний.

Но — прочь сомненья! Я не беру вещей, я не беру денег, я не беру ничего. Быть может, меня примут за чучуну, и тогда мне предстоит шататься всю жизнь по тайге, если я смогу там выжить, но я верю, что я пробьюсь к вам, о, юкагиры!

Я сажусь в самолет, и якут обращается ко мне по-якутски — молодец эта прекрасная блондинка, я pošлю ей северные цветы в подарок за блистательную работу!

Я молчу и не отвечаю якуту. В настоящее время я — никто, я еще не юкагир. Но в отличие от многих, я уже знаю, кем я буду. А вы можете такое сказать про

себя? После смесей всех наций и народностей как можно точно утверждать про себя, какую именно национальность вы представляете? По меньшей мере это глупо. Но все это старые вопросы. Когда я стану юкагиром, меня все это не будет волновать.

И вот, словно во сне, я вижу: закончены перелеты и долгие переходы; лиственничная осенняя тайга встает передо мной, словно бесконечная Вселенная, созданная непонятно чьим Богом; болотистые кочки покрыты небесной синевой от голубики, которая мириадами голубых точек заполняет почву под ногами; вдали летают утки и орлы, и я бегу с дикими воплями туда — я не боюсь заблудиться, потому что мне все равно; я забываю свой язык, я забываю свое имя и свои проблемы; я хочу кувыркаться, словно расшалившееся животное; я хочу стонать и визжать и молиться солнцу, потому что оно греет; я хочу выкрикивать заклинания, любить одну женщину и умножать семя моего народа; и вот я вижу в лесу диких и настоящих людей — и, выкрикнув истинное приветствие, бегу к ним.

Я хочу стать юкагиром!

МОЛЧАНИЕ — ЗНАК СОГЛАСИЯ

Неизвестный рядовой лежал в окопе, и над ним, свистя, пролетали пули. Через сорок два года десятиклассники копали как раз в этом месте землю, чтобы извлечь останки бойцов и похоронить их как подобает. Неизвестный рядовой сжимал винтовку и одиноко стрелял туда, где был предполагаемый враг. Рядом с ним находился сержант Петренко с пулеметом, выкрикивавший матерные слова с такой же скоростью, с какой его пулемет изрыгал очередь. В природе были сумерки и лето; кого-то уже поубивало, а остальные стреляли из винтовок, пытаясь кого-то убить. Где-то вдали взрывались гранаты и снаряды. Иногда пули попадали в деревья, и тогда отсоединенные ветки мягко падали на почву.

Неизвестный рядовой думал: «Я, наверное, уйду к немцам. Все уже ясно с этой войной. Я изучал немецкий в школе. И вообще, я — казак. Я очень устал, и мне грустно».

Сержант Петренко рядом с ним издавал дикие звуки и со страстью нажимал на спусковой крючок пулемета, будто точность пуль зависела от силы его нажатий. Он ни о чем не думал, потому что очень хотел прикончить гадов. Рядом воевали другие солдаты и умирали с ружьями в руках. Наверное, невозможно

было спастись. Через сорок два года десятиклассники нашли очень много останков бойцов в этих краях.

Неизвестный рядовой зарядил патрон в винтовку и выстрелил наобум. Он не знал, куда летит его пуля. Может быть, она прервала немецкую жизнь. Он думал: «Я не люблю Петренко. Он гад, он коммунист. Коммунисты расстреляли моего отца. Коммунисты посадили в тюрьму мою мать. Петренко мой друг. Петренко мой сосед. Я всегда его не любил. Мы уходили на фронт вместе. Я записался добровольцем. Я сейчас сумасшедший. У Петренко осталась жена. Очень красивая жена. Он сержант. Я не люблю его! Немцы еще хуже. Но я попробую новую жизнь. За отца! Я должен что то сделать, вместо того, чтобы умирать здесь, как идиот. Фашисты чуть-чуть лучше коммунистов. Фашисты не убивают своих отцов».

В дальнем углу окопа лежал рядовой Лысенко. Это был огромный красивый человек с кудрявыми волосами, бывший тракторист. Он сосредоточенно вглядывался в сумеречный воздух, стреляя регулярно, словно часы. Он думал о своем долге отстоять землю, на которой лежал. Он вспоминал школьные уроки немецкого, желал бы сейчас ругаться матом по-немецки, но в школе этого не изучали.

В конце-концов всех убили вокруг, кроме неизвестного рядового, Петренко и Лысенко. Патроны кончались, но Петренко, видимо, не замечал этого. Он дост-

реливал то, что осталось, все так же неистово. Лысенко в то же время почему-то смолк.

Неизвестный рядовой думал: «Несчастный, ты так и не узнаешь никогда, что я был любовником твоей жены. Ты не узнаешь, как я любил ее. Больше ты не будешь стоять на моем пути. Сейчас я кончу тебя, и — к немцам».

Неизвестный рядовой вытащил из-за пазухи нож. Он подкрался к стреляющему Петренко и вонзил нож ему в спину. Громко закричав, Петренко отпал от пулемета. Неизвестный рядовой вынул нож из раны и вытер о песок окопа.

— Ты что?!?! — закричал на другом конце окопа Лысенко и встал. — Ты убил его?!?!

Он взял винтовку, зарядил патрон и направил ее на неизвестного рядового.

Неизвестный рядовой подумал: «Ну, все. Я не учел, что этот еще жив». Через сорок два года десятиклассники нашли в этом месте заржавевший нож. Лысенко нажал на спусковой крючок, но произошла осечка. Лысенко сильно выругался, но тут же рухнул в окоп, сраженный немецкой пулей.

Неизвестный рядовой подумал: «Ага, отлично. Сама судьба за меня. Теперь не осталось никого».

Но тут неизвестный рядовой услышал слабые стоны рядом с собой. Стонал сержант Петренко, который еще не умер от ножевого ранения.

Неизвестный рядовой подумал: «Что же с ним делать? Я не люблю тебя, мой верный друг. Ты коммунист и карьерист. Ты бил свою жену, а я ее любил. Но если ты выжил, я не могу резать тебя снова. Пусть будет воля Божья!»

Неизвестный рядовой поднял истекающего кровью Петренко и выставил его над окопом, зажав ему руки сзади, чтобы тот не вырвался. Не прошло и минуты, как три пули добили несчастного.

Неизвестный рядовой выкинул труп Петренко из окопа и подумал: «Теперь моя совесть чиста. Пора бежать к немцам. С другой стороны — зачем мне немцы? Они тоже очень жестоки и отвратительны, как вся наша жизнь. Может быть, лучше застрелиться и покончить со всем? Нет, я малодушный и вообще хочу жить. Думаем логически. Так как среднего между советскими и немцами в данной ситуации нет, придется выбирать немцев, поскольку, хотя и трудно будет установить мою причастность к смерти Петренко, все же моя слабая совесть не даст мне спокойно смотреть в глаза товарищам. И потом — зачем я тогда убивал Петренко, моего лучшего друга, если не пойду к немцам? Сказал «а», говори «б». Все, решено. Но лучше подождать немцев здесь, чем идти к ним

через линию фронта, это — опасно. Надо только посмотреть, далеко ли они — немцы».

Неизвестный рядовой на секунду высунул голову из окопа и посмотрел вдаль. В ту же минуту в его лоб попала немецкая пуля. Через мгновение неизвестный рядовой был мертв.

Через сорок два года на этом самом месте десятиклассник Костя Петренко откопал останки неизвестного рядового.

Он взял его череп, пробитый пулей, в свои руки, опасно посмотрел и почему-то сказал:

— Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.

Неизвестный рядовой был похоронен на том же месте, с почестями.

День смерти Ленина, 1988

ЧЕЛОВЕК-МАШИНА

Ты закуливаешь и чувствуешь дым, проникающий в глубь телесной оболочки. Ты стоишь на поверхности Земного шара и начинаешь чесать левую щеку правой рукой, чтобы прошел зуд, возникший до этого. Слюнные железы, откликаясь на действия дыма, начинают вырабатывать слюну, и твой рот ощущает ее накопление в тебе самом, и ты плюешь под ноги на асфальт, а потом чешешь языком передние зубы. Затем, тронув альвеолы, язык замирает на отведенном ему месте, и ты перестаешь думать о нем. Твои мысли заняты проблемами эстетики, и в то время, как одни мозговые клетки выясняют вопрос возникновения эстетической первоосновы всего сущего, другие клетки радостно и с небольшим сомнением наблюдают мысли, рожденные от биологической работы мышляющей части мозга.

Ты начинаешь ходьбу, шагнув вперед правой ногой; ты воочию наблюдаешь свои ноги, не дающие тебе упасть на землю в соответствии с силой тяжести, в то время как ты переставляешь их попеременно, чтобы двигаться вперед. Ты вдруг ощущаешь начинающееся желание сходить в туалет, но тебе не к спеху. Мысли замирают, прекращая свой ход, и ты чувствуешь пот на лбу, выступивший из потовых желез.

Ты выбрасываешь сигарету, сигарета падает в лужу, шипит и потухает. Ты соображаешь, что тебе физически плохо; скорее всего у тебя похмелье, и твои лопатки чувствуют некоторое неудобство, находясь под кожей, они дрожат, приподнимая плечи, которые коробят пиджак.

Ты смотришь на свои ноги, ботинки начищены, но на передней стороне джинсов осела какая-то грязь. Ты топаешь ногой по асфальту, решаешь опохмелиться; душевное устройство, уже готовое к началу небольшой депрессии, радуется такому решению, и где-то внутри живота начинается эйфория, завершающаяся легким ознобом затылка. Химическое действие природных опиатов достигает мозга, и тебе становится приятно жить на белом свете. Глаза обращаются вверх, сквозь роговицу приходит образ голубого неба, отражаясь, как в полупрозрачном зеркале; значит, небо объективно реально и совсем не зависит от тебя. Выражение твоего лица скоро принимает соответствующий духовным процессам вид.

Через несколько секунд ты начинаешь действовать. Быстро садишься в троллейбус, быстро берешь билет, стоишь положенное время, выходишь на нужной остановке. Ты пренебрегаешь этим временем своей жизни как несущественным. Выйдя, ты опять обретаешь способность чувствовать мир и свое биологическое воплощение в нем.

Вдруг, вдыхая ноздрями осенний воздух, твои легкие чувствуют его свежесть, посылая сигналы в мозг, а уж он-то разражается каскадом образов и настроений, которые лень воплощать в слова и понятия, — сам мозг понимает, что ему лень. Он словно разделяется на несколько частей, одна из них представляет свободные ассоциации, а другие, отмечая это, ленятся вычленить что либо ценное для запечатления в словах или мыслях. Рациональная часть мозга напряженно думает об этой проблеме, подключается память, утверждающая, что все это — важный философско-лингвистический вопрос, требующий длительного рассмотрения.

Потом все условные части мозга как бы воссоединяются, поскольку возникает мысль о том, что ты сегодня должен сделать некоторую работу. И снова тебе плохо и скучно, и правую руку ты суешь в карман пиджака, щупая подкладку, но глаза устремляются вдаль, они видят пиццерию с шампанским, и тут ты становишься един — пошло все на фиг; чтобы выстоять перед своими чувствами и настроениями, нужно выпить алкоголь, он поможет и телу, и душе, хотя, как отмечает мозг, ты не алкоголик; но если ты выпьешь немного, тогда и потребность в работе отпадет, ибо работа есть фикция, а твое существование реально. Тут твои губы улыбаются, гортань издает звук. И вот ты заходишь в пиццерию, ощущая тщету человеческой жизни. Ты вспоминаешь христианство, смиренно думаешь о воскресении. Твой мозг, точно внутрен-

ний редактор, не дает тебе богохульствовать, он весь словно приосанивается, хотя детское подсознание норовит подсунуть мерзкую словесную фразу. Вдруг тебе предстает внутри головы ясная картина золотого Будды, раскрашенного яркими красками. Ты укрепляешься в мысли, что ты прав, и рука в кармане пиджака хочет изобразить какой-нибудь буддийский жест, но мышечная память не может вспомнить точное расположение пальцев. Огромное слово «дзэн» появляется на экране внутреннего зрения, и тыходишь к стойке бара почти успокоенным, ощущая в соответствии с йогой свое тело от шеи как совершенно не зависящий от тебя объективный материал. Ты покупаешь коньяк и шампанское, ноздри чувствуют запах спирта, им неприятно. Но ты гордо садишься за столик и выпиваешь.

Ты сидишь. Состояние твоих разных внутренних органов, находящихся под шеей, говорит о том, что можно и закурить, левой рукой ты хлопаешь пиджак по карману, проверяя наличие сигарет, достаешь одну из них и выкладываешь пачку на стол. Потом, осмотрев еще раз стол, за которым сидишь, ты думаешь о том, что пачку сигарет нужно положить обратно, так как это не фирменные сигареты, а «Космос», поэтому хвататься нечем, и ты засовываешь пачку в карман.

Тело ощущает приглушение своей деятельности, опохмеление не наступает, ты броском устанавливаешь левую руку перед глазами, чтобы рукав рубашки,

одернувшись с предыдущего расположения, дал тебе возможность наблюдать часы. Внутренние клетки головы, преобразуясь в продукт своей деятельности в виде мыслей, утверждают, что через пять минут должно наступить опохмеление. Другие мысли говорят, что это не так; потом мозг опять становится единым и приглашает твою руку и рот выпить шампанского, дабы ускорить химические процессы в организме, вызванные поступившим внутрь коньяком.

Рука хватает бокал, и ты пьешь шампанское, обхватив губами стенку бокала. Потом ты ставишь бокал на стол, не допив примерно половину налитого. Ты сидишь несколько секунд, почти ничего не делая, потом ты обнаруживаешь в левой руке сигарету, ты спешно вставляешь ее в губы, зажигаешь спичку, подносишь к концу сигареты, делаешь вдох — и куришь.

Сделав три затяжки, ты стряхиваешь пепел в пепельницу, ударив по сигарете указательным пальцем руки, которой держишь сигарету. Голова чувствует головокружение, потом начинается всеобщая эйфория. Тело быстро проходит промежуточное состояние между похмельем и опьянением и чувствует себя наконец слегка пьяным. Тебе хорошо — больше нечего сказать. Мозговые клетки ощущают некоторую тупость, но это сладостно; душа же готова умереть сию секунду, так как забыла свои грехи. Буддизм побеждает — такие слова сложил твой опять единый мозг.

Ты резко допиваешь шампанское, почти не замечая своих действий, стряхиваешь пепел, встаешь и выходишь из пиццерии.

На улице ты выкидываешь сигарету далеко-далеко. Потом плюешь, освобождая рот от скопившейся слюны. Ты идешь медленно, подошвы ботинок шуршат по асфальту, и ты представляешь себя замученным больным.

Наконец ты заходишь в телефонную будку. После разного рода нужных действий, совершаемых для вызова абонента, ты закидываешь правую ногу за левую, прислонив носок к стенке телефонной будки, и ждешь ответа. Тебе отвечает женский голос, и ты чувствуешь себя очень виноватым.

— Алло! — говорит твоя гортань, издавая робкую интонацию. — Это ты?

— Это я, — говорит в твое ухо женский голос в телефонной трубке.

Нервы, расположенные внутри уха, с дикой скоростью доносят звуковую информацию в твой мозг, который немедленно ее расшифровывает, посылая сигнал в гортань и полость рта.

— Я очень виноват перед тобой.

— Это я виновата.

— Давай встретимся.

— Приходи ко мне, если хочешь.

— Еду.

Ты помещаешь телефонную трубку в специальное устройство, в котором она висит, зафиксировавшись, и выходишь на улицу. Быстро ловишь такси; такси быстро едет; ты расплываешься с шофером, считая и это время своей жизни несущественным.

Ты поднимаешься в лифте. До этого ты входил в подъезд, поднимался по небольшой лестнице, нажимал на кнопку лифта. Все это уже в прошлом. Сейчас лифт остановился. Тыходишь, нажимаешь на кнопку звонка. Твои глаза видят открывающуюся дверь и девушку в красивом платье.

— Убей меня!

Твой мозг понимает, что это говорит девушка. Но ты недоумеваешь. Пока ты этим занят, из твоего рта начинают вылетать членораздельные звуки, колеблющие воздух между тобой и девушкой и образующие волны различных длин, которые легко воспринимаются ушами девушки.

— Почему ты так говоришь? Я виноват перед тобой! Я целовался с Катей в ванной!

Ты чувствуешь гордость от признания, искреннее чувство сейчас доминирует внутри твоей головы.

— Ты разве забыл? Ведь я виновата. Я была пьяна и трахалась с Петей, Сережей и Колей на кухне!

Это уже струятся членораздельные звуки изо рта девушки, губы которого принимают разнообразные звуки, чтобы образовать волну той или иной длины.

При поступлении в твой мозг эта информация начинает влиять на твои эмоции, которые испытывают некоторое страдание. Твои глаза смотрят налево, и ты неожиданно понимаешь, что сидишь в кресле, хотя твоя память не говорит тебе ничего о том, как ты в него сел.

— Ах, да-да-да-да... Я помню.

В мозгу начинает образовываться картина девушки, Пети, Сережи и Коли. Мозг испытывает негодование, сердце начинает биться сильно.

— Я раскаиваюсь.

Это опять членораздельный звук девушки. Твой мозг подумывает о задушении девушки на манер Дез-демоны. Глаза рассматривают ее тело.

Ты ощущаешь легкую эрекцию, подходишь к девушке, руки берут ее плечи, твой рот произносит:

— Я прощаю тебя.

Передняя сторона головы девушки, именуемая лицом, изображает потрясение. Руки девушки берут твои плечи. Твои руки начинают гладить плечи девушки, потом ты поддвигаешь свое лицо к ее лицу, помещая свои губы напротив ее губ. Потом ты касаешься ее губ, а потом раскрываешь свой рот — и тут она раскрывает свой. Ты всовываешь свой язык в рот девушки, ощущая ее альвеолы и кончик ее языка, который она, расположив под твоим языком, всовывает в твой рот, попадая между нижними зубами и задней стенкой твоей нижней губы. Потом вы вместе с девушкой водите своими языками туда-сюда внутри полостей ртов друг друга. Твоя эрекция увеличивается, ты отступаешь от девушки, продолжая поцелуй, и правой рукой достаешь из-под резинки юбки девушки конец ее рубашки, освобождая его. Потом ты засовываешь свою правую руку в пространство между телом девушки и обратной стороной ее рубашки. Двигая руку вверх, ты всовываешь ее под лифчик девушки, ощущая пальцами грудь, после этого ты берешь большим, указательным и средним пальцами ее сосок, а потом уже гладишь грудь, вместе с соском посередине, всей своей правой рукой.

Своими глазами ты наблюдаешь на лице девушки выражение, говорящее твоему мозгу о ее сексуальном возбуждении; ты отходишь от девушки и идешь с ней в комнату с кроватью. Ты садишься на кровать, снима-

ешь с себя одежду. Девушка тоже садится и тоже снимает одежду, потом ложится на кровать. Ты ложишься рядом с девушкой и начинаешь гладить ладонью правой руки кожу тела девушки. Потом окончанием своих пальцев, исключая большой, ты залезаешь в начало полового органа девушки, который абсолютно отличается от твоего. Ты чувствуешь выступление некоей слизи из полового органа девушки на своих пальцах. Тогда ты ложишься на девушку, которая раздвигает свои ноги, и, беря свой половой орган в состоянии эрекции большим, указательным и средним пальцами, ты вводишь его в половой орган девушки. Кожа твоего полового органа чувствует приятную прелесть, соприкасаясь с внутренними стенками полового органа девушки. Тогда своими тазобедренными мышцами ты поднимаешь немного свой таз, почти вынимая половой орган из полового органа девушки, а потом опять опускаешь свой таз. Такую операцию ты делаешь довольно долго и достаточно быстро. При этом ты приподнимаешь торс своего тела, упираясь руками в поверхность кровати, и глазами наблюдаешь лицо девушки, отмечая появившуюся на лице смычку век, закрывающую глазные яблоки.

Твой мозг думает о том, что его литературному вкусу не нравятся стихи Некрасова, но нравится поэма «Кому на Руси жить хорошо». Рациональная часть мозга понимает, что эти мысли вызваны общим желанием твоего организма продлить половой акт с девушкой,

поэтому ты сознательно отвлекаешься на литературу, хотя и не забываешь приподнимать и опускать таз.

Потом ты чувствуешь приближение оргазма. Наконец ты его испытываешь, наслаждаясь им, и ощущаешь продвижение своей спермы по каналу полового органа прямо в половой орган девушки. Ты перестаешь делать движения тазом, обхватываешь руками шею девушки и лежишь так некоторое время. Потом ты вынимаешь свой половой орган из полового органа девушки и помещаешь все свое тело рядом с девушкой на кровати.

Твой мозг испытывает большое морально-лирическое волнение. Ты раскрываешь рот и издаешь множество членораздельных звуков.

— Это будет нашим прощанием. Я хотел вспомнить тебя. Извини меня. Но мы больше никогда не сможем быть вместе. Как ты могла трахаться с Петей, Сережей и Колей? Я больше не увижу тебя, хотя я люблю тебя и буду любить тебя всю жизнь. Я больше не смогу никого любить. Наверное, я — однолюб. Прощай, дорогая!

Внутренняя часть твоих глаз готова выработать слезы, свидетельствующие о печальном состоянии твоих чувств.

Потом наконец-то рот девушки тебе отвечает.

— Прости меня. Я была пьяна. Я тоже тебя люблю.

Но твой мозг, в силу присущего ему категорического императива, в данную секунду совершенно отказывается прощать. Ты что-то шепчешь, едва используя голосовые связки, потом одеваешься.

В дверях ты поворачиваешь голову, чтобы глаза девушки увидели твое лицо, и говоришь прощальные слова.

— Ты же моя единственная женщина! Больше у меня не было и не будет!

Потом ты быстро убегаешь вниз по ступенькам, чтобы девушка не успела что-нибудь предпринять, чтобы задержать тебя. Тебе немного стыдно, мозг понимает, что твои слова были неправдой, поскольку ты помнишь, что однажды ты совершил половой акт с сорокачетырехлетней сестрой твоего преподавателя в институте, но, в конце-концов, это не столь важно.

Ты закуливаешь и идешь по улице. После всего настроение твое стало совсем плохим, а нервы наверняка возбудились и чувствуют себя очень неприятно, заставляя все тело вибрировать, а мозги — думать о нехорошем. Тогда ты вспоминаешь, что в твоём доме в одном месте лежат таблетки тазепам, которые действуют и на нервы, и на мозги успокоительно. Ты отчетливо решаешь выпить две такие таблетки и лечь спать, чтобы потом почувствовать себя хорошо.

Ты идешь в метро, едешь на поезде, выходишь из метро — но все это не стоит описаний и размышлений.

Придя домой, ты открываешь дверь ключом в правой руке, сразу находишь тазепам и глотаешь его, запивая водой в стакане, которую ты налил из крана. Потом раздеваешься и ложишься в постель, поместив под одеяло свое тело, и только голова остается незакрытой.

Ты готов уснуть, ты соединяешь ресницы, отвернувшись к стене; твое тело наполнено предчувствием воскресения в своих снах, твое сознание исчезло — и я удаляюсь от тебя.

1987

ОДИН ДЕНЬ С ЖЕНЩИНОЙ

Дмитрий среднего возраста лежал около кресла, воображая себя жертвенным трупом мироздания. Одной рукой он коснулся усов между носом и ртом, потом обратил внимание на пыль в тонком солнечном луче, который неприятно ослеплял его взгляд, в то время как он смотрел на пыль.

Дмитрий встал и пошел на работу, пытаясь мечтать и думать о разных предметах.

Во время похода на работу его тело шло быстрым шагом, отставив зад, а на лицо мозговыми приказами было нанесено успокоенное приличное выражение, которое, словно чадра или вуаль, прикрывало проблески мыслей и эмоций. Дмитрий лицезрел улицу сквозь мелкий снег и пытался сопоставить мокрую атмосферу в воздухе со Снежной королевой или с беспросветным путешествием Амундсена. Еще будучи утром в ванной, он кричал в замкнутое пространство, что зеленая вода между дном ванны и поверхностным натяжением — это жгучее море Уэдделла, где среди криля и скудной другой фауны находится сейчас голый демиург Дмитрий, могущий пролить кофе с сахаром на пенистый айсберг и сделать вихрь. Но все это было тщетно — он не мог сотворить пингвина из горячей воды, и осталось только спустить поток в общую

канализацию, чтобы сухой мир снова стал моделью для творчества и любви. Это было приятным развлечением: теперь же Дмитрий спустился на землю и шел вперед и вперед, чтобы участвовать в общественном производстве благ, согласно разного рода теориям договора или угнетения, и его существо, возвышающееся над землей, дышало свежестью мельчайших откровений и изобретений и любовалось мокрым снегом сквозь воздух на улице.

Дмитрий убедился в том, что он может идти очень быстро, обгоняя женских существ и мужчин различного возраста; но если ему захочется, он может и остановиться среди человеческой массы, создать в глазах необходимую иллюзию, превращая корпускулярные людские тела в импульсные многоликие кванты, неразделяемые на индивидов; и тогда реальность станет мерцать перед ним полусветом разных цветов, среди которых можно избирать для наблюдения тот, который лучше.

Неожиданное представление того, что можно остановиться посреди мирной улицы, было для Дмитрия достаточным, чтобы продолжать путь. Он шел, наступая сначала пяткой на асфальт, и лишь затем — всей ступней; это была спортивная ходьба, она сохраняет массу энергии и позволяет далеко оторваться от преследователей, которые суетятся и делают разные ошибки при передвижении, в то время как правиль-

ный человек выносливо идет вперед, даже не поворачивая взор в сторону тех, кто за ним.

В это время Дмитрию представилось, что он приехал на Черное море, так как он увидел девочку, поедаящую чебурек. И хотя на чебуреке были снежинки, они с тем же успехом могли быть пряным налетом природных солончаков знойных мест. И они таяли от того, что их поела девочка, и ее дыхание было горячее, чем воздух.

Дмитрий прошел мимо. Его путь подходил к концу, и весь сиюсекундный мир попрощался с ним, ласково махая ручкой.

Дмитрий пришел на работу и приступил.

Вначале он работал шалай-валяй, все еще находясь во власти девичьих чар, которые восхитили его своей южной самоуверенностью, но потом втянулся в процесс труда и стал работать заинтересованно, словно от этого зависела его жизнь; он стал представлять себя согбенным, как Сизиф, которому, независимо от результатов, не дожидаться прощения, даже если его срок не равен дурной вечности, и его вполне хватит для того, чтобы умертвить преступное тело и мятущуюся душу. И так как нечего больше делать в надзирательной реальности, остается работа по расстановке и сочетанию материальных объектов, чтоб из них возникла некая правильная форма нового природного

феномена: так из скалы может возникнуть пещера, если убрать все ненужное.

Дмитрий наслаждался бешенством труда, который сочился и возникал благодаря точной деятельности его рук, оттачивающих их принадлежность к человеческому виду. Дмитрий представлял, что он делает танк, убивающий неприятеля, или же хоккейную клюшку, забивающую победный гол в чужие ворота. Дмитрий мечтал о том, что он производит книгу, уничтожающую справедливое устройство Вселенной и устанавливающую собственную обнаженную правду о разных вещах. Все это претворяло работу в приятное дело и повышало настроение человека, который ею занят. Таким человеком в настоящее время был Дмитрий, и мозги его блаженно напряженно функционировали, словно компьютер, кайфующий от новых весомых задач, которые в него вложили высшие существа. В этом состоянии можно было свернуть горы; всем остальным можно было пренебречь и вынести прочую иллюзию за скобки собственного тела, которое радовалось возможностям своего применения на разных участках художественной реальности.

Потом возник обеденный перерыв, который немного охладил Дмитрия, собиравшегося уже стать Стахановым в высшем смысле этого слова. Он огорченно встал в очередь за пищей и скорбно слушал бурные беседы других работников, которые очень хотели питаться.

Дмитрий взял получистый поднос и решил съесть пельмени, так как это было древнее удмуртское блюдо, напоминающее о былых исторических временах. После них он решил выпить компот с ром бабой. И тут, наконец, его обслужили, и он сел среди остального народа за столик, где не было салфеток.

Дмитрий взял пельмень и представил, что это — паек, который выдается ровно в 13 часов каждой живой глотке. Он задумался и начал мечтать о том, что он — персонаж некоей антиутопии, житель жуткого тоталитарного общества, где все делается по приказам и сигналам, и в котором он вместе со своей гениальной девушкой может еще думать, размышлять и бороться с неизвестными правителями. Тогда его должен был разбудить блаженный надоевший звонок общего подъема и после изнуряющей зарядки он в строю должен был направиться на фантастическое место труда: все будет жестоко рассчитано — ничего своего и личного, и только мысли его будут беспокоиться о животном происхождении тела, которое жаждет чего-то еще. После работы и после приема возбуждающих средств будет, очевидно, обычная массовая мастурбация для получения ценного мужского семени, нужного для искусственного размножения несчастных людей; и никто из них не будет знать, что в это время делают женщины, и только Дмитрий будет задавать себе этот вопрос. И потом возникнет случайное знакомство, и какая-нибудь Джейн, или Мария, или без имени, будет очень красива и более уверена в жизни, чем он, и они

предадутся любви при первом же свободном от других дел случае, так как на развитие отношений не будет времени и возможности; и этот обычный секс, на котором стоит человечество, наконец-то достигнет своей истинной сущности и станет запретным, прекрасным и загадочным, и таинство опять станет тайной, и самое простое в мире отличие двух разнополых людей друг от друга будет опять целой вселенской прелестью и вызовом мерзкому внешнему миру! И все же этот мир будет прекрасен, поскольку только в нем станет возможным это возвращение к человечности через использование в духовных целях физических принадлежностей самого себя; ибо настоящий разврат не есть скотообразный свальный грех, похожий скорее на отлаженную работу созданных для этого механизмов, но есть сексуальный акт с голой Беатриче, у которой по самой идее не может быть ничего, кроме великого лица и абсолютного духа, и которая все же оказывается еще и женщиной, готовой делать то, что может делать любая несвятая девица.

Так они и будут поступать, и эта самая Джейн будет смеяться над мутью государственных установок, которые, словно великий роман, будут заполнять их интересное бытие. Потом, конечно же, это должно закончиться трагически, и Дмитрий, как великомученик, примет какую-нибудь казнь, и имя его навсегда пропадет в замечательной жестокости гнусного мира. Он может даже заплакать и проявить слабость, он может даже предать все на свете, словно нестойкое обездо-

ленное существо; и никакого выхода не будет из этой ситуации, ибо в этих играх не осталось места для божественного прибежища, куда во всяком случае можно обратиться в наше всеобщее время.

Дмитрий ел пельмень, улыбался и смотрел на выступающую под платьем грудь работницы, сидящей напротив него.

Обед был закончен. После послеобеденной работы Дмитрий пришел домой и снял с себя пальто. Он стал смотреть в зеркало, а потом пошел на кухню и вытащил газету. Он сел на пол и прочитал статью о недостатках в работе транспорта. Статья была написана мастерски, Дмитрий читал с удовольствием. Он сел на стул, съел свежий огурец.

Тут ему наконец то позвонила женщина.

ЖЕНЩИНА. Дмитрий, это ты? Куда же ты пропал? Как же так? А сейчас ты что делаешь?

ДМИТРИЙ. Сейчас я приглашаю тебя к себе в гости, чтобы мы сегодня встретились и скоротали отпущенное нам время для разных встреч. По-моему, ты должна сейчас выйти из своего дома, чтобы сесть в транспорт, который работает с недостатками, после этого выйти из него и прийти в мои гости. В них тебя буду ждать я, приглашая пройти в комнату и присесть. И тогда то мы с тобой поговорим и побеседуем.

Он повесил трубку и лег ждать женщину. Он закурил сигарету и включил музыку. Потом он выключил музыку и докурил сигарету.

Через отведенное время раздался звонок в дверь.

Дмитрий открыл, там была женщина. Он очень обрадовался, начал шутить и снимать с нее пальто.

— Как я давно у тебя не была, — говорила женщина, проходя в комнату, — совсем забыла твою комнату.

— Ничего, сейчас вспомнишь, — отвечал Дмитрий.

— Как живешь-то, что нового, кого видишь? — спрашивала женщина, усаживаясь в кресле.

— Живу нормально, нового почти ничего, вижу многих. Сейчас вот увидел тебя! — шутил Дмитрий.

— У меня тоже все в порядке, видела кое кого, а так новостей мало.

— Я работаю, вот сейчас пришел с работы, — заявил Дмитрий.

— Я тоже работаю, тоже сейчас с работы, — сказала женщина.

Дмитрий подошел и трахнул ее. Потом, позже, они лежали голые в постели и смотрели в потолок.

Дмитрий отвлекался курением. Женщина смотрела на его грудь.

— А что, Дмитрий, — сказала она, — ты ждал меня?

— Ну конечно, — ответил ей Дмитрий, стряхнув пепел в пустоту комнаты.

— А тебе хорошо со мной? — спросила его женщина.

— Не знаю, — огорченно сказал Дмитрий.

Он докурил, и женщина ждала ласки.

Дмитрий вяло потрогал ее пышную грудь, а пальцем другой руки залез почему-то ей в пупок. Потом обеими руками стал хлопать ее по животу, словно отбивая джазовый ритм. Женщина не шевелилась, только жалобно дышала.

Потом Дмитрий встал на четвереньки прямо в постели, а потом спустился на пол. Он сел по турецки и сложил руки на груди.

После этого он встал, и как был — голый — направился к магнитофону, чтобы поставить музыку.

— Ты хочешь музыку? — спросила его женщина.

— Ага! — сказал он и поставил музыку.

Музыка была очень громкой и буйной, и Дмитрий стал танцевать. Он прыгал, топал ногами, крутил руками и бедрами, делал приседания, словно у него осталось еще множество энергии, не истраченной на женщину, которая лежала и смотрела на него.

Потом Дмитрий запел. Он пел на непонятном языке, прихлопывая себя по ляжкам голыми руками и издавая мерзкие, почти птичьи звуки, похожие на клекот безумного человеческого существа. Было видно, что ему очень нравится музыка, которая играла на магнитофоне, и он словно хотел поучаствовать в ее исполнении, издавая разнообразные звуки. Женщина захотела, а он совсем не стеснялся ее.

Потом Дмитрий выключил музыку, встал в суровую позу, будто был облечен властью над судьбами и отчетливо произнес:

ДМИТРИЙ. Королева, выйди вон!

ЖЕНЩИНА. Иди сюда!

ДМИТРИЙ. Королева, выйди вон, ты согрешила с подлым человеком, ты голая грешница, лежащая в простынях! Королева, выйди вон!

ЖЕНЩИНА. Я — твоя женщина, ты мне очень нравишься, мне нравится твое приятное лицо, мне нравятся твои

глаза карего цвета, мне очень нравится, как ты занимаешься любовью! Иди ко мне и бери меня, пожалуйста.

ДМИТРИЙ. Королева, ты надругалась над собственной честью, ты совершила очередной шаг во тьму: твой алмазный венец растащили на нефтедобычу, Рудольф — твой враг! Королева, выйди вон!

ЖЕНЩИНА. Митюша, я не королева, я просто к тебе пришла. Что с тобой? Я хочу тебя утешить, поедем с тобой через восемь месяцев в Домбай кататься на горных на лыжах?

ДМИТРИЙ. Королева, ты разве не королева? Вон, падшая дрянь и семиабортная Ева! Быть может, твой искренний уход смягчит общий вред твоих монотеистических намерений! Ибо я — тот, кого никто не любит, ваше величество, и кому не надо твоих рук — так как его вполне устраивает нижняя часть твоего царственного организма. Вон, королева!

ЖЕНЩИНА. Я не могу.

ДМИТРИЙ. Можешь, гнусная тварь!

Дмитрий рванулся вперед, взял лифчик этой женщины и порвал его надвое, ликуя от своей победной силы.

— Что делаешь, кретин! — в сердцах воскликнула женщина.

— Вон! — сказал Дмитрий. Он расшвырял ее белье и верхнюю одежду по всем углам комнаты и стоял теперь посреди, голый, как Тесей.

Женщина подошла к нему, голая, как в женской бане, и обдала его неприятным биополем ненависти.

— Если не уйдешь немедленно, — сказал Дмитрий, — я откушу тебе левый сосок.

Женщина покрутила пальцем у себя в виске и медленно стала одеваться. Дмитрий шлепнул ее ладонью по заду, и приказал, чтобы она торопилась. Но ничто уже не способно было удивить эту женщину; она попала в сеть своих сложившихся заключений о том индивиде, кто недавно ее разогрел своей природной секрецией, и действительно хотела уже уйти отсюда, хотя и без лифчика, но с гордо поднятой головой. Наконец она оделась.

Голый Дмитрий открыл ей входную дверь, приглашая уйти.

— Болван! — только и сказала женщина, прощаясь с этим человеком.

ДМИТРИЙ. Королева, я несчастен!

Дмитрий закрыл входную дверь на ключ, радуясь своим удовлетворенным мужским желаниям, и пошел в туалет.

После этого он глянул на часы и увидел, что уже может ложиться спать, чтобы заснуть в приятном настроении.

Он умылся и лег в кровать, погасив свет.

Он лежал и чувствовал себя героем-любовником, который не пошел ни на какие компромиссы в общении со слабым полом; он ударил подушку кулаком, представляя, что это — женский живот, в котором покоится новый младенец для старого мира; он думал, что он — великий человек, совершивший отвратительный поступок, и он предвкушал свой ад и плевки в себя со стороны красивых глупых людей. Он был слишком счастлив, чтобы огорчаться новому поползновению своих мужских потенций, требующих удовлетворения. Плоть все же была ублажена, и в своей широкой постели Дмитрий лежал, как подкидыш на холодной церковной ступени, которого еще ожидают в будущем и уникальное безрадостное детство, и окончательная смерть.

СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ

Андрей Сигнатор причесался и вошел. Оператор очень обрадовался, сказал «о», вскочил и протянул большую белую мускулистую руку.

— Это вы? Здравствуйте, — радостно сказал Андрей. — Я наконец пришел.

— Это я! — гордо воскликнул оператор, оправив белый халат, словно платье. — Проходите, вот начало пути.

В центре стены была плотно закрытая железная дверь лилового цвета. Оператор указал на нее пальцем и мечтательно произнес:

— Отсюда начинается приключение.

— Вы мне покажете канал сквозь Землю? — заинтеригованно спросил Андрей.

Оператор достал длинный ключ, воткнул его в дырку замка двери, повернул восемь раз и вытащил.

— Проходите, вы все увидите, — сказал он Андрею и сел в кресло.

Андрей недоверчиво открыл дверь и увидел камеру с двумя креслами и небольшим смотровым окном, закрытым снаружи броней или другим материалом. Перед креслами находился характерный щит с приборами и кнопками. Андрей вошел, сел перед этим щитом и стал волноваться.

Оператор тоже вошел, закрыл за собой дверь и крикнул:

— Поехали?

— Вы можете меня прокатить? — недоверчиво спросил Андрей, не веря счастью.

— Ведь вы же заплатили массу денег, чтобы прийти... — тихо ответил оператор и громко добавил: — Меня зовут Петр.

Потом он замолчал и нажал зеленую кнопку. Все пришло в движение, и начались перегрузки.

— Мы начали путешествие сквозь Землю, — лекторским тоном сказал оператор. — Мы будем пневматически двигаться по каналу, развив огромнейшую скорость. Впрочем, радиус Земли меньше длины ее окружности, поэтому, двигаясь даже со скоростью самолета, мы бы прибыли в Америку быстрее. Это — одно из положительных достижений канала. Отсюда у канала большое будущее. Но оно еще больше, потому

что мы двигаемся очень и очень быстро. Ведь нам нужно проскочить раскаленный и вязкий центр Земли, проскочить и не зажечься. Поэтому мы должны успеть. Сейчас вы увидите — начнется невесомость, от скорости и от близости к центру. Ведь нас притягивает именно центр, не так ли? И когда мы наконец приходим в него, он получает то, чего ждал, и от неожиданности отпускает нас на первое время... Вы слышите шум, напоминающий симфоническую музыку, если слушать ее за тридцать метров от филармонии, закрыв уши подушкой?

— Кажется... — сказал Андрей.

— Это — мантия! — продолжил оператор. — Это музыка мантии. Она звучит именно так. Она заполняет собой Землю, она горячая и вязкая. Мы сейчас в ней. Но мы не горим, поскольку все продумано. Огнеупорные стенки канала защищают нас от внешнего мира. Вам нравится?

— Чудно, — сказал Андрей, откидываясь на спинку кресла. — Можно закурить?

— Ни в коем случае! — строго ответил оператор. — Ведь существуют газы недр. Если вы зажжете спичку, мы можем взорваться!

— Я понял, — испуганно пробормотал Андрей, смотря на закрытое смотровое окно.

Оператор замолчал минут на пять. Потом началась невесомость, и Андрей привязался к креслу специальным ремнем.

Через семь минут оператор крикнул:

— Уа!!!

— Что вы сказали? — испуганно спросил Андрей.

— Ничего, — брезгливо ответил оператор. — Это наш боевой клич. Просто мы достигли центра Земли, и каждый оператор кричит в этот момент «уа»... Это как бы традиция, — добавил он, смягчаясь.

— Может, мне тоже крикнуть «уа»? — сказал Андрей.

— Ни в коем случае! Говорить «уа» — это почетное право операторов и звеньевых. А вы, заплатившие массу денег, должны сидеть, молчать и вслушиваться в истинный смысл окружающего.

— Когда мы прибудем? — спросил Андрей.

— Скоро. Вы увидите — перед нами будет Америка. Для этого есть смотровое окно.

— А сейчас? — спросил Андрей.

— Нет! — отрезал оператор, нажимая на синюю кнопку.

Начались перегрузки, и стало слышно работу каких-то механизмов. Стены камеры задрожали, потом все кончилось.

— Вот! — победно сказал оператор. — Поздравляю вас, мы прибыли. Итак, я открываю окно.

Он действительно что-то сделал, и в окне появился пейзаж. Было черное небо, звезды, горы, грунт.

— Но ведь это Луна, — недоуменно сказал Андрей. — Это ведь не Америка, а Луна!

Оператор посмотрел на пейзаж и медленно проговорил:

— Да... Похоже... Я сам не понимаю... Похоже на Луну.

— Как же это может быть? — ошарашенно спросил Андрей.

— Не знаю, — сказал оператор, — непонятно... Странно...

Они сидели и смотрели.

— А вернуться теперь можно? — спросил Андрей.

— Куда? В Россию? Думаю, можно. Сейчас.

Оператор немедленно что-то сделал, окно закрылось, пейзаж исчез; потом он нажал на зеленую кнопку, и начались перегрузки.

— Что вы делаете! — воскликнул Андрей. — Мы же ничего не выяснили...

— Вы меня попросили, — мрачно заявил оператор.

— Не попросил, а спросил!

— Это одно и то же. Я — честный оператор и выполняю свою миссию правильно.

Андрей обиделся и замолчал, отвернувшись к стене. Оператор гордо сидел в своем кресле, скрестив руки на груди.

Началась невесомость, потом оператор крикнул:

— Уа!!!

Но Андрей никак на это не отреагировал.

Наконец, пришло время, и все кончилось.

— Ну, вот и все, — удовлетворенно сказал оператор. — Думаю, мы вернулись в Россию.

— Но ведь мы совершили путь сквозь Землю? — спросил Андрей. — Туда-сюда?

— Несомненно, — ответил оператор.

— Тогда почему же все так...

— Не знаю.

— А, может, вы мне все наврали?! — воскликнул Андрей.

— Вряд ли, — сказал оператор, глядя вверх. — Спасибо за жизнь, мальчик мой. До свиданья.

НИЧТО

Я почесал макушку своей головы и продолжил жевательно-глотательные движения, нужные моему организму для доставки в его сущность калорий и витаминов. Глаза мои устали читать прессу, которая была интересна и глубока. Я встал, словно взлетел, потом защелкал пальцами, как Фидель Кастро на трибуне. Затем я перестал щелкать. Пошел мелкий снег снаружи жилища. Я закончил прием пищи, повернулся направо и надел одежду для прогулок по мегаполисам. Между пальцев ног при этом я обнаружил небольшой зуд, который немедленно прошел, как только я поместил это место на угол кухонной стены. Приятное ощущение захватило меня, посылая мурлыкающие сигналы в мозг. Мозг обрадовался, потом приказал мне повернуться налево, непонятно зачем. Я повернулся и узрел свою квартиру, где все еще стоял. Я ударил по стене ребром ладони и с прыткостью лани удалился на улицу, где меня приветствовал снег и отвратительный мерзостный мороз.

Я запел про себя песню «Бандьера Росса». Потом шел, шел и сел в троллейбус. Там было очень много представителей человечества. Я съежился между ними, и какая-то очень толстая задница стала обволакивать мой мужской перед. Это было плохо.

На сиденье некая бабушка, словно львица, разинула рот и махала своим билетом, пытаясь скоротать время поездки. Я, как орел, взмахнул руками и сжал жердочку, нужную для поддержания равновесия.

Троллейбус встал на светофоре, но все делали вид, что ничего не происходит. Миловидная женщина была повернута ко мне боком. Я стал от нечего делать представлять ее мертвой и непривлекательной. Но тут сзади забибикала машина и все повернули свои лица, чтобы узнать, что случилось.

Потом троллейбус поехал дальше. Я начал напевать про себя «Маленькую ночную серенаду». В это время ко мне обратился с вопросом молодой человек, похожий на Льва Толстого.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Вы не бросаете пять копеек?

Я изумился его вопросу, и он поставил меня в тупик. Дело в том, что я совершенно не хотел бросать пять копеек, поскольку не имел их в своем правом кармане штанов, а вместо них имел двадцать копеек, которые я жалел заплатить в кассу троллейбуса, так как это значительно превышало установленную законом плату. Я задумался над проблемой, что же делать. Молодой человек мог быть контролером, его руки были скрыты от меня — он копался в своей голубой сумке; кроме того, мне было очень лень отвечать.

Я. Нет.

Это было все, что я сказал, точнее, выжал из своих голосовых связок, которые в точности отразили мое смятение.

Он отвернулся, я вышел из троллейбусной двери навстречу приключениям. В то же время, когда я выходил, вошла маленькая девочка.

Я сел в автобус. Наклонившись над человеком, от которого воняло потом, я вместе с ним читал художественный текст про каких-то людей. Потом я сел у окна.

И тут мы помчались вперед, словно автобус тянули собачьи упряжки на Северный полюс; будто я очутился в «Мерседесе», который под музыку путешествует по ночному шоссе, заставляя огни жилищ искрами мелькать по стеклам и зажигая на миг капли дождя перед водителем; точно я сел в ядерную ракету, и мне плевать на законы природы, и сейчас мир будет взорван и я стану тенью самого себя!

Я положил ногу на ногу, и автобус встал на светофоре. Меня кто-то погладил по голове. Я очень испугался, растерялся и поднял глаза наверх. Меня случайно погладила гениальная женщина. Она, наверное, передавала деньги на абонементную книжечку.

ГЕНИАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. Извините меня.

Я подумал: «Безобразие! Издевательство!» Но ничего не сказал, опустил глаза и продолжил поездку. Потом поместил свой взгляд где-то посередине верха и низа, и он уперся в приятного молодого человека. В это время этот человек встал и выбежал из автобуса.

Мы вместе с автобусом стояли на остановке. Я начал вспоминать известные мне большие арифметические числа. Потом опять поставил ногу рядом с другой ногой, чтобы поменять позу своего сидения у окна. И тут вонючий старик пробежал рядом со мной, так как хотел купить книжечку с билетами на автобус. Автобус выстрелил очень громко — я знал, что так иногда бывает со всеми машинами. Люди перепугались, задержались, зашептали. Ребенок подошел и потрогал меня пальцем. Мама покупала билет. Ребенок говорил глупые гадости. Потом он ушел.

Я облокотился о стекло. В это время автобус наполнился диким множеством самых разнообразных людей. Они все стояли и делали вид, что ничего не происходит. Они делали вид, что они никакие. Они были одинаковые, хотя небольшая разница между ними была. Но самый оригинальный из них был негр, потому что у него была кожа другого цвета. Мне очень хотелось быть негром, когда я смотрел внимательно на негра. Но тут негр посмотрел на меня, и я отвел взгляд, хотя мог бы и посмотреть ему прямо в глаза. Но мне надоело, и я захотел стать орангутангом.

Я встал со своего места и подпрыгнул два раза.

НЕГР. Вы сойдете?

Я. Нет, я выхожу через одну остановку!

Негр понимающе кивнул. Он начал протискиваться к выходу, пролезая между мной и девушкой, с которой я когда-то был в детском саду; я пытался убрать свое тело от негритянского и дать ему возможность сойти там, где ему было нужно для его дел. Получилось это удачно, и мы все заняли опять стабильные позиции: я — неподалеку от выхода, подруга по детскому саду — за мной, а подросток — рядом с нами.

Наконец автобус остановился, и мы все качнулись по инерции, сохраняя в своих физических телах остатки былой скорости. Двери открылись, негр от нас ушел.

Тогда я начал перемещаться в задний отсек. Там тоже были какие-то люди в юбках. Я встал и опять-таки некая задница плотно прижалась ко мне. Я сексуально возбудился и был готов содействовать увеличению количества людей. Но поскольку благоприятного случая сейчас не представлялось, я огорчился и начал вспоминать сюжетные линии произведения «Капитанская дочка». Оказалось, что я ничего не помнил, хотя в детстве очень не любил эту повесть и постоянно ругал ее на уроках, за что мне ставили пятерки. И тут мы начали поворачивать на другую улицу.

Зацепившись рукой за металлическую трубку у потолка автобуса, я наблюдал здания, которые мы проезжали. Одно из них было зеленым, другое было очень красивым.

Наконец автобус остановился.

Я вышел и был очень рад. Потом я осмотрелся и обнаружил прохожих, идущих примерно с одинаковой скоростью. Но некоторые из этих людей шли быстрее, чем остальные. Я пошел вместе с ними, потом повернулся кругом и зашел в телефон автомат. И я набрал номер.

Я ПО ТЕЛЕФОНУ. Але, здравствуйте, а можно Лену?

ГОЛОС, ОТВЕЧАЮЩИЙ МНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ. Нет, ее нет дома.

Я извинился и повесил трубку. Потом своей правой рукой я залез в правый карман своих штанов. Я взял оттуда две копейки и поместил их в специальное отверстие наверху телефона-автомата. Потом эта монетка провалилась внутрь устройства для связи.

Я ПО ТЕЛЕФОНУ. Але, здравствуйте, а можно Лену?

На самом деле, я звонил иной Лене.

ЛЕНА ПО ТЕЛЕФОНУ. Привет.

Я. Я сейчас звоню из автомата, и очень холодно. Прямо за стеклом будки телефона автомата идет очень неприятный мелкий снег, и дует ветер. Я спрятался от него здесь и сейчас занимаюсь тем, что звоню тебе. Как ты живешь? Я — ничего. Давай с тобой поговорим на разные интересные темы вечером. Потом я буду слушать музыку и читать книги. Ну, до свидания.

После того как я побеседовал с Леной по телефону автомату, я пошел вперед прямо между всех остальных людей, которые шли по улице. Мой взгляд упирался в пальто женщины. И мне надоело рассматривать это пальто. Я остановился. Женщина уходила прочь, она удалялась, скоро она превратится в маленькую точку для моего зрения, а позже я совсем не смогу отличить ее от окружающей среды. Я отвернулся.

Я встал около пешеходного перехода. Мимо нас проехал автобус, и он не остановился, потому что для него горел зеленый свет. Мой взгляд запечатлел людей, которые в нем ехали, держась руками за металлические трубки у потолка автобуса. Внутри их было не очень много.

И тут машины затормозили. Некоторые из них остановились сразу, как вкопанные, а некоторые еще проехали немного вперед — даже за линию, за которую уже нельзя ехать. Но потом и они остановились, а две машины еще и отъехали назад, чтобы не мешать людям, которые шли. Я ждал.

Меня кто-то случайно толкнул, но я не обратил на это внимания. Кто то стоял за моей спиной. Но тут зажегся разрешающий свет, и я пошел через дорогу.

1987

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Невесело и занудно проводить зимние вечера в стране объективной реальности, сидя в омертвелой кухне поздним временем трудового дня, когда граждане спят, словно заткнувшиеся фонари в задушевных поселках Сибири. Свет горит гнусно-желто, огонь страстей кипит в молодом яростном теле, которое словно просится на вертел или под танк, — но все мертво в этом мире для порочных бездельников, которые принуждены геморроидально располагаться на табуретках, раскачиваясь взад-вперед в ожидании перспектив.

Двое из них, выкуривая четвертую сигарету за последнее время, прихлебывали рыжий чай и смотрели друг другу в глаза, забавляясь увиденным. За окном чернота зияла красным сигналом. Но нет — это был не флэт, то была всего лишь кухня с бабушками в задних отсеках квартиры, развлечений не предвиделось в эту ночь, и можно было только во снах и грезах черпать реальность дырявым ковшом — жизнь погибала в лишних людях, воскресая на стройках, заводах, во взводах и райкомах.

— Я хочу веществ внутрь, — сказал один из молодых людей, качнувшись на табуретке. Он был насмеш-

лив и оптимистичен, прокуренные глаза лукаво глядели в чай. — Поищи чего-нибудь такого.

Второй друг молча встал, мучительно осмотрел свое белое тело внутри рубашки, с удовольствием отметив взрослое оволосение груди, и осоловело направился к шкафу.

— Я хочу на вечеринку, — сказал он.

— А, — ответил ему друг, безнадежно уставившись на телефон, — никаких вечеринок нет. Давай лучше проведем викторину: «Влияние химических веществ на организм человека».

— Это интересная викторина, — ответил другой. — Но я бы с большим удовольствием провел сейчас исследование на тему: «Влияние опиатов на организм человека» или же «Влияние галлюциногенов на организм человека».

— Это банально. Гораздо лучше изучать вещества, еще не исследованные в достаточной мере. Наука нам спасибо скажет.

— Я не знаю, что она нам скажет, но это опасно.

— Опасности щекочут нервы. Вперед!

Они оба подошли к шкафу и открыли его, вытащив ящичек с семейными лекарствами. Отдельные старые

таблетки пожелтело валялись на дне, переживая свою золотую осень.

— Итак, посмотрим, — сказал один из них, предвкушая разнообразные эффекты. — Что здесь есть... Посмотрим по порядку... Верошпирон... Что это такое?

— Не знаю, — сказал ему друг. — То ли мочепускательное, то ли от давления.

— Не подходит... Панангин?

— Не знаю.

— Папаверин?

— Это опиат, но не имеющий наркотического эффекта. По-моему, он расширяет сосуды.

— Отлично! — сказал первый друг. — Для начала примем его. Начнем с пяти.

Он вынул десять таблеток, и друзья немедленно их съели, перемальвая зубами жесткий субстрат. На вкус он был не очень мерзким.

— Запьем, — сказал один из них, и они начали быстро пить чай, ликвидируя остатки папаверина из своих зубов.

— Ну вот и все.

Пять минут они молчали, глядя прямо перед собой. Тело почти не реагировало, химия, по всей видимости, оказалась слабее.

Наконец один из друзей сожалеюще развел руками и сокрушенно промолвил:

— Не пойдет! Еще по пять!

Папаверин был немедленно доеден, и пустая пачка обиженно смотрела на людей, стремящихся жить.

— Ага! — зарычал один друг, подпрыгнув вдруг к потолку, оскалив рот наподобие пасти.

— Ага! — попытался повторить его жест другой, но поскользнулся, упал на паркет и начал быстро чесаться по всей протяженности тела семенящими движениями пальцев.

— Да-да, — согласился первый друг, онанируя ногтями шею и грудь. — Особенно вот здесь.

— А тепло внутри...

— Ой! — вскричал друг. — Затылок...

— Верно.

Все еще почесываясь, они подошли к ящику с лекарствами и опять склонились над ним, словно надеясь на лучшее в этом худшем из миров, потом стали извлекать новые блестящие облатки с именами лекарств — но мозги уже не могли рассуждать трезво, в тела друзей прочно и основательно вселялся болезненный задор, и они со смехом обсуждали дальнейшие варианты.

— Я предлагаю, — торжественно сказал один, — теперь я употреблю одно неизвестное лекарство, а ты — другое...

— Хорошо.

— Вот эти две упаковки... Это у нас... А, какая разница... И это. Сперва по три.

— Очень хорошо, — пробормотал другой, нервно почесывая срамные места.

Они съели таблетки, допив остатки чая, и, успокоенные, свалились задницами на табуреты, пытаясь настроиться на лирический лад.

— Вот мы откроем новый наркотик... — говорил один друг, упершись руками в колени. — Поедем на Запад, запатентуем... Станем миллионерами... Поедем на Гавайи... Ой!

— Что такое? — быстро спросил друг.

Один из друзей мучительно свалился под стол, напряженно схватившись за живот. Он бешено смеялся, постанывая.

— В чем дело?

— По-моему, вот это... Именно это и есть мочеиспускательное...

— Да? — испуганно проговорил другой.

Первый друг пулей вылетел из кухни в туалет, потом обратно, потом обратно и так далее, пока приступ не кончился. В то время как он все это делал, второго тошнило с балкона 12-го этажа прямо на сверкающий ночной город. Скорее всего он съел рвотное.

— Что же делать? — кричал первый по дороге к облегчающему источнику.

— Не знаю...

Через полчаса все было кончено. Они сидели друг перед другом, смеялись покрасневшими лицами, попивая чай.

— Все это неправильно, — наконец сказал один. — Необходимо съесть что-нибудь психотропное. Я знаю: это квадратные упаковки с оранжевой чертой.

Они доползли до ящика, корчась в животных болях. Один из них вынул две пачки с таблетками.

— Вот... Тазепам... Замечательно успокаивает нервы... То, что нам нужно... Пипольфен... Усиливает эффект... Это проверенные, замечательные колеса. По пять каждого...

— Давай.

Дрожащие пальцы неторопливо отсчитывали таблетки — белые и синие. Зубы болели от твердых предметов, как у детей после шоколадок. И все-таки организм принял новую дозу, которая последовала в желудок, готовясь атаковать кровь и мозг.

— Вот так, — многозначительно сказал один из друзей, когда они расслабленно уселись на табуреты, готовые к новым ударам тяжелой судьбы.

— Неужели и сейчас нам не повезет? — сказала второй, добрым взглядом рассматривая трещину в потолке. — Как мне хорошо...

— Ага... — умиротворенно порадовался первый друг, облокотив голову о стенку.

— А-а-а-а, — забился первый друг в блаженных сетях кайфа. — Мы летим вверх и вперед...

— Вверх и вперед... — повторял за ним его друг.

— И вдруг — бац!

Он упал на пол. Что такое, что такое, что происходит, где Марья Ивановна, где Кочубей... Его друг удалялся от него вдаль тысячами смыслов и видений, вечность в виде большой белой крысы уселась у него на носу. По паркету забегали мраморные слоники, в голове методично пульсировала кровь. Его друг начал чернеть.

— Что ты делаешь? — с пола спросил его первый друг.

Другой же чернел и покрывался щупальцами. Потом он поднял рукав своей руки — она вся почернела и стала сухой, словно щепка. Он схватился за нее другой рукой — и она отвалилась на пол, легко переломившись с треском.

— Конец руке, — сказал он. — Теперь я точно не пойду в армию.

— А как же рука?

— Вырастет новая.

Полчаса прошло вне времени, когда они наконец открыли глаза и посмотрели друг на друга — все было нормально, зрачки точно желтки растеклись по всей

поверхности глазных яблок, они выпирали из-под век, подрагивая на ресницах; бледность сияла на лицах, но душам было смешно.

— Так где же твоя рука? А? — спросил друг своего друга. — Так это был глюк?

Они рассмеялись, в такт вибрируя дрожащими пальцами.

— Да, — серьезно ответил другой друг. — Это был глюк.

— А вообще вот эти последние средства...

— Ничего. Я пойду спать.

— До свидания.

Первый друг проводил второго до двери, чтоб он отправился на свой этаж ночевать и продолжать жить в грезах, пока нам осталось хотя бы это. Он закрыл дверь и чмокнул ключом, поворачивая его в замке. Петухи еще не пели, но было уже рано, духовно пустой дом тревожно готовился к новому трудовому дню.

Друг отошел от двери, путаясь мыслями и чувствами. Дрожь пробила его насквозь — он не смог бы спать, чтобы отдохнуть от экспериментов над собственной жизнью.

— Я приму снотворное! — решил он, выскивая радедорм среди россыпей химической помощи человеку в минуты плохого настроения.

— Все это несерьезно! — громко усмехнулся он, заглатывая пачку внутрь себя. — Завтра я выплыву хотя бы нормально... Химия все-таки не страшна человеку как носителю духовной силы...

Он пошел вперед, тупо осознав, что на мгновение стал совершенно нормальным, готовым к новым путешествиям во славу разума.

Но не дойдя и двух шагов до туалета он умер, упав на безмозглый паркет, и воскрес только в день Страшного Суда.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЛМЫКИЮ

Я вышел в тамбур, чтобы покурить. Поезд несся вперед и вперед, точно собирался увезти меня и мою измученную нашей судьбой девушку в какой-нибудь спокойный и вполне реальный рай. Она лежала сейчас в купе на верхней полке, безостановочно считая километровые столбы, словно от этого зависело ее ближайшее будущее, видимое ею светлым и радостным, совсем как прямой жизненный путь удачливого праведника.

Я с жадностью втягивал сигаретный дым, чувствуя телесную неостановимую дрожь и разбитость; за окном мелькал пейзаж, серый, как суть моей души.

— Скоро уже подъедем, — неожиданно сказал уголовного облика человек, куривший вместе со мной. — Осталось недолго.

— Да, — откровенно согласился я, хотя совершенно не понял, куда это мы подъедем и до чего, собственно, осталось недолго.

Куда мы вообще едем и зачем? Вдаль от себя, от собственной дрожи, от печальных утр и вызывающих робкую надежду вечеров? Очевидно, это — глупо, но

разве этот мир совершенно лишен прибежищ и тайн, неужели все настолько логично и мрачно, как в кино-театре, в котором никак не начнется цветное кино, и все присутствующие понимают, почему это так, лишь я один, несмотря ни на что, жду разноцветной яркости экрана и сладких грез?..

Я отшвырнул докуренный до фильтра бычок, опять вздрогнул и поднял руки вверх, не предполагая, чем бы еще заняться, кроме простого бесконечного ожидания. Кажется, мы едем в Калмыкию, где должен состояться съезд буддистов ветви «Ваджраяна»; и мы, наверное, ждем покоя и безразличия последователей Шахья Муни, хотя все наше существо алчет чего то совершенно другого — того, что невозможно и запрещено, что прекрасно и чудовищно, как недостижимый и утраченный рай.

Мое настроение вдруг становится ровным, словно замечательно построенная автострада, и я возвращаюсь в купе.

Моя спутница так и лежала на своей полке, не меняя позы; поезд дергался, словно эпилептик в припадке, который никак не закончится; пожилые мужчина и женщина рядом с нами вовсю ели мясистые красные помидоры с вареными яйцами, разложив их на промасленном куске газеты, и меня от вида их жующих красных лиц и дряблых полных тел чуть не стошнило.

Наступила ночь; станции и полустанки сменяли друг друга, сливаясь в единый фон железнодорожного путешествия; я решил лечь спать и приготовиться к раннему пробуждению в Элисте и уже предчувствовал утреннюю разбитость и ознобы после жесткой купейной ночи, когда ворочаешься на узком ложе так рьяно, будто деталь в токарном станке, и очень хочется, чтобы с тебя наконец сняли стружку, а садист рабочий сидит рядом, куря вонючий бычок, и совершенно не собирается принести тебе ни малейшего облегчения. Я лег и как-то еле-еле заснул, хотя сон мой был противно-чуток, словно сон любящей матери у постели больного ребенка, готовой мгновенно вскочить и заняться выполнением родительского долга.

На заре мне ударил в глаз солнечный луч, я дико вздрогнул и поднял веки. Поезд стоял; мы прибыли; подниматься совершенно не хотелось; жуткая слабость опутала всего меня, будто гусеничный кокон, внутри которого нет никакой бабочки.

— Вставай, пошли, — сказала моя бледная девушка; видно было, что ей еще хуже, чем мне.

— Куда, зачем, что?.. — недовольно пробурчал я, чувствуя безудержную злость оттого, что я опять проснулся на этой планете в своем теле и меня опять призывало и приказывало заниматься всевозможной активностью опостылевшее Бытие.

— Приобщаться к буддизму!.. — насмешливо воскликнула моя девушка и легонько ущипнула меня за левую ягодицу.

Я вскочил, чтобы вдоволь наподдать ей, но в последний момент передумал, увидев ее кислое лицо, которое она пыталась скрыть за приветливой улыбкой, — точь в точь, как истинная жена, пробуждающая дымящимся завтраком лентяя мужа, напоминая ему о том, что он должен спешить на какую-то там работу, чтобы кормить ее, детей, да еще помогать теще, которая на самом деле сама помогает всей этой убогой семейке.

Моя девушка накарсила губы и совсем не была похожа на буддистку. Я чихнул шесть раз подряд, вздрогнул, испытал мощнейший озноб и, наконец, оделся.

Через полтора часа мы стояли на поляне у пруда, посреди буддистского палаточного лагеря, чувствуя себя абсолютно «не пришей» никуда сюда, но делать было нечего, раз все же мы приехали и сейчас мы здесь.

— Зачем мы здесь оказались! — недовольно сказала моя девушка. — Жарко, лето, а моря нет... Я так хочу на море!

— Я тоже, — согласился я, чихнув раз семь подряд и испытав четыре озноба.

— Так, может, уедем?.. Зачем нам этот... буддизм?.. Море-то лучше!

Я видел, что ей безумно плохо, но она старалась держаться молодцом.

— Буддизм спасет нас, — почему-то уверенно ответил я. — Здесь нам проведут пхову, то есть научат искусству умирания! Мы вернемся обновленными; наши души засияют, словно свеженачищенные солдатские бляхи; мы начнем новую жизнь!..

— От себя не убежишь, — веско сказала моя возлюбленная, чихнув восемь раз подряд. — Так, как было, все равно уже не будет. Рай закрыт!

— Мы бежим не от себя, а, наоборот, — к себе, — объяснил я. — Нам не нужно больше рая; было слишком хорошо. Нужно расплачиваться.

Мощный озноб пронзил меня как подтверждение правильности сказанного.

— Да ты что — буддист? — иронично спросила она. — Мне так плохо...

— Я не знаю, — честно сказал я. — Но нам нужно очиститься. Мне тоже очень плохо...

— Эй! — крикнули нам из палатки.

Я обернулся: там сидела большая компания, и почти все были нашими знакомыми.

Мы медленно подошли к ним и осмотрели их веселые лица, правильный молодой задор, бьющийся в юных телах, и жажду приобщения к тайнам мироздания, которые лично мне давно надоели.

— Вы тоже здесь!.. Отлично! Только Оле Нидал придет через два дня — тогда и начнется пхова...

— А... что же делать? — криво ухмыляясь, спросил я.

— Да тут весело!.. — как-то недоуменно хихикнув, ответила мне некая девушка из города Барнаул, которую, кажется, звали Таня. — Придет вечер, местные притащат водочку, сядем у костра, у нас есть личный повар Миша, — молодцеватый парень рядом с ней бодро кивнул головой с рыжими волосами, четко расчесанными на пробор, — может, травки поднесут...

Я как-то совсем приуныл, представив эту пионерскую картину сегодняшнего вечера.

— А пока, — сказал неизвестный мне человек, увешанный четками и прочими буддистскими атрибутами, — идет семинар, который ведет один тибетский лама... Там толкование текста... Палатку можете получить здесь.

Мы взяли палатку, я ее поставил, все время ощущая себя Железным Дровосеком, которого не смазали и которому каждое движение дается с диким трудом; мы сели в нее и стали просто так сидеть, напряженно куря.

Вдруг вокруг раздалось: «Смотрите!.. Ой!.. Что они делают!..»

Мы с невероятным трудом встали и посмотрели туда, куда смотрел весь лагерь. Прямо над нами выдвигались фигуры высшего пилотажа два самолета. Они то стремглав возносились ввысь, то падали вниз; в конце концов, один из них отлетел чуть чуть прочь и, видимо, что то не рассчитав, с грохотом врезался в скалу, через мгновение рухнув и взорвавшись.

— Вот тебе и буддизм... — пробормотал я.

Все были в абсолютном шоке. Моя девушка более чем красноречиво посмотрела на меня, и мы опять сели в свою палатку, закулив по новой.

Так мы просидели почти до сумерек. Ознобы учащались, превратившись в один большой сплошной озноб. Вокруг нас ошалевший от полуденного события лагерь собирался на семинар.

— Пошли? — спросил я.

— Какая разница...

Мы добрались до помещения местного Дома культуры, вошли в зал и заняли места среди остальных, сидящих по-турецки и внимавших небольшого роста тибетскому человеку, который заунывно нечто говорил, а переводчик рядом переводил. От него исходила энергия бешеной, завораживающей, уничтожительной пустоты. Нас совсем затрясло.

— Я больше не могу, — сказал я. — Здесь есть какое-нибудь кафе? Я хочу чего-нибудь выпить. Может быть, мне станет легче?

Моя бедная возлюбленная, кажется, готова была упасть в обморок, но послушно встала и вместе со мной вышла из этого Зала буддизма.

Мы вышли в фойе, и я тут же обнаружил лестницу, ведущую вниз — к двери с короткой надписью «Бар».

— Замечательно, — сказал я, едва не падая от слабости.

Моя возлюбленная мягко и иронично улыбнулась, и мы пошли туда.

В баре играла легкая невнятная музыка; всевозможные напитки были выставлены за стойкой, трезвый бармен явно скучал. Я немедленно выпил сто граммов водки, на какую-то секунду ощутив, что мне действительно лучше, но все же это было совершенно не то.

«Удивительное дело, — подумал я, — существует огромное количество людей, которые всерьез воспринимают это вещество — этиловый спирт — и считают злоупотребление им истинной проблемой своей жизни, которую дико трудно решить».

Я выпил еще сто граммов, чувствуя, как алкогольное тепло поднимается откуда-то из моего солнечного сплетения по чакрам вверх к горлу и дальше, к макушке. Опять продрал озноб; я накатил еще сто граммов.

Мы сели за столик, и я понял, что мне совершенно очевидно стало лучше — даже как-то весело.

— Послушай, — пьяным голосом проговорил я, — а мне тут нравится... Элиста, калмыки какие-то... вполне приятные и гостеприимные. Вот как надо жить! Кажется, меня начинает увлекать буддизм.

— Не зарекайся, — сказала моя девушка.

— Ну... Я просто хочу сказать, что это было правильно, что мы сюда приехали.

— Подожди еще... Ты вот пьешь, а у меня нет такого выхода!

— У меня есть рогипнол, — улыбаясь, ответил я ей, доставая из кармана пачку таблеток.

— Давай.

Она съела две штуки; к нам подсел молодцеватый калмык.

— Вы впервые в Элисте? — радушно спросил он. — Откуда вы? Вы — буддисты?

— А вы — буддист?

— Я — генетический буддист.

— А мы из Москвы.

— Чудесно! Чудесно! — почему то развеселился калмык. — Выпьем шампанского?

— Выпьем! — чуть ли не крикнул я. — Вы знаете, мне, кажется, очень нравится Элиста! И калмыки...

— Народ у нас прекрасный, — подтвердил калмык, отошел и вернулся с бутылкой шампанского. — Давайте выпьем, знаете за что? Как зовут вашу... прекрасную спутницу?

— Каролина, — зачем-то ответил я.

— Мы выпьем за буддизм! Во всех других религиях были войны... ну, во имя религии... кроме буддизма! За буддизм ни разу не проливалась кровь!

— Это правда, — сказал я, смотря на Каролину.

Она хмыкнула: мол, все ясно мне с вашим буддизмом, что это, дескать, за религия, за которую никто не умер и никто никого не убил, но взяла предложенный ей бокал с шампанским и даже отпила.

Через десять минут я почувствовал себя совсем пьяным и собирался выпивать дальше.

— Послушай, — шепнула Каролина, — мне дико плохо, пойдем отсюда, прошу тебя...

Бар, между тем, наполнялся всевозможными людьми, которые, в отличие от нас, честно прослушали семинар и теперь собирались слегка расслабиться.

— А что мы будем делать? — разочарованно спросил я. — Опять сидеть в палатке?.. Скучно! Чего тогда приехали!

— Тебе же сказали, что тут бывает по вечерам, — дрожа и бледнея, сказала Каролина. — Я пойду в палатку, попробую заснуть, выпью еще рогипнола, а ты, наверное, сможешь и там выпить... свой алкоголь, — почти презрительно закончила она.

— А если нет? — резонно ответил я.

— Тогда вернешься. Пошли, пошли, я, кажется, теряю сознание...

— Ну пошли, пошли, — злобно проговорил я, вставая.

На дорожке, ведущей к лагерю, Каролина упала. Я склонился над ней, ее глаза закатились куда-то вверх, она еле дышала.

— Что с тобой? — испугался я, озираясь.

У меня опять начались ознобы; выступили противные слезы, и я четыре раза чихнул.

К нам подошли три калмыка.

— Что с ней?.. — спросил один из них, подозрительно смотря на меня.

— Мы очень плохо себя чувствуем... — пробормотал я, стараясь не глядеть им в лица. — Думаю, она сейчас должна прийти в себя...

Калмыки подняли Каролину и повели вперед, поддерживая за руки; она шла, несмотря на почти отключенное состояние. Я шел за ними, шатаясь.

Так мы добрались до палатки, куда положили Каролину; тут она подняла голову и громко спросила:

— А у нас больше ничего нет, кроме рогипнола?

— Откуда!.. — озабоченно сказал я.

— Кажется, я смогу достать то, что вам нужно... ребята, — как-то агрессивно произнес один из калмыков.

Мне вдруг все это надоело, захотелось еще выпить. Я бросил их. Выйдя из палатки, направился к большому костру, у которого, кажется, сидели наши друзья, а повар Миша большой палкой помешивал варево в котелке.

Я смело сел с ними и сразу же спросил:

— А у вас выпить есть?

Мне протянули стакан водки. Кто-то, фальшивя, играл на гитаре и пел странную песню с такими словами: «Если б я мог выбрать себя, я хотел бы быть Гребенщиков».

Я попросил гитару, и мне ее дали. Я зверски ударил по струнам, скорчил какую-то мерзкую рожу, и меня пронзило безумное отчаяние, вместе с какой-то странной ностальгией, подогреваемой сомнительной водочной радостью. Я начал петь по-английски рок-песни, выкрикивая слова в ночную калмыцкую тишину. Собралась целая компания. Все меня слушали очень внимательно, пока некий человек не сказал мне, что меня ждет Каролина. Я извинился и пошел в палатку.

Она напряженно лежала, и, увидев меня, слегка встрепенулась.

— Эти калмыки, — задыхаясь, сказала она, — чуть меня не изнасиловали... Они мне предлагали все что угодно, если я им дам...

— А что у них было?.. — тут же спросил я, задрожав от возможности невозможного.

— У них... было...

— Где они?! — быстро спросил я.

Я дико возмутился, выбежал из палатки и нагнал темную фигуру, напомнившую мне одного из тех троих.

— Послушай, тут стояли такие трое... Они чуть мою жену не изнасиловали!

— Пойдем их поищем, — тут же ответил он, и я убедился, что он — один из них, но пошел следом за ним.

Мы удалились от костра, и тут он повернулся и ни с того ни с сего врезал мне по морде с такой силой, что я упал, изумленный и не понимающий.

— А что мне еще было делать! — начал он мне почему-то объяснять свой поступок. — Ты подходишь ко мне, обвиняешь меня...

— Я тебя не обвинял! — воскликнул я, держась рукой за скулу и вставая.

— Вы вообще непонятно, что здесь делаете... В таком состоянии...

— В каком состоянии?! — обескураженно крикнул я.

— Ты знаешь, в каком, — с раздражением и злобой ответил он, смотря на свой кулак, потом быстро отошел, чтобы не поддаться страстному желанию врезать мне еще и вообще чуть ли не убить меня.

Он был крепкий и сильный, я был пьяный, мне было очень плохо; ознобы словно вытрясали из меня душу, ноги дрожали в едином безумном спазме.

Я вернулся к костру.

— Еще споешь? — мрачно спросил повар Миша.

— Хочу еще выпить... — грустно ответил я. — Меня побил калмык.

— Что?!!

К нам подошел человек, увешанный четками.

— Все это из-за твоего ума, — сказал он мне, пусто улыбаясь.

— Какого еще ума?! — возмущенно рявкнул я. — Царствие Божие не от мира сего!..

— Это все твой ум, — повторил он, не убирая гадкой буддистской улыбочки с лица. — Мир не есть сей или тот, просто это все — твой ум. А он сейчас помрачен.

Я ушел от них и почему-то заплакал, смешивая простые, бесконечно идущие и так слезы с подлинными обиженными рыданиями. В конце концов я добрел до палатки, лег рядом с болезненно ворочающейся Каролиной и отключился.

Наутро, когда я приоткрыл глаза навстречу солнечному восходу, я чуть не проклял все сущее, потому что опять оказался в этом мире, на этой планете, в этой Калмыкии, в этом теле. Я буквально умираю от похмелья.

Я еле-еле встал, дошел до лагерного умывальника и посмотрелся в осколок зеркала, прибитый гвоздем к дереву. На меня взглянула моя бледная, избитая, небритая рожа.

— Тем не менее надо опохмелиться, — сказал я себе, опять словно раздираемый на части ознобами, которые, возможно, были от вчерашней водки.

Мне навстречу шел один из моих старых знакомых, который, оказывается, тоже был здесь и готовился пройти пхову, чтобы научиться умиранию.

— Пошли выпьем, — сказал я ему, нащупывая кошелек в заднем кармане штанов.

Он изумленно посмотрел на меня, потом на солнце, недоумевая, но молча пошел со мной, видимо, сочтя, что со мной не о чем говорить.

Я шел вперед, ступая словно по кинжалам или по горящему костру.

— Ты... осторожнее здесь, — сказал он мне наконец.

Я махнул рукой с печальным отчаяньем.

Мы добрались до ларька с водкой, я тут же купил бутылку.

К нам подсели два калмыка.

— Кто тебя так? — спросил один из них, вопросительно указывая на бутылку.

Я встал с железного ограждения, на котором сидел, и протянул бутылку ему.

— А... — неопределенно ответил я.

— Если узнаешь, нам скажи, — сказал калмык, отхлебывая водку. — Ты же гость! Буддист! Нам приятно. Что вообще с тобой?

— А... — повторил я.

Через какое-то время они быстро ушли. Я опять встал и тут обнаружил, что у меня нет кошелька.

— У меня украли все деньги, — ошарашенно заявил я своему другу.

Он грустно кивнул.

— Я видел, как они его у тебя вытаскивали. А что я мог сделать? Тебе бы опять врезали. Говорил я тебе: осторожнее здесь! Приехал... такой!

— Какой? — удивленно спросил я. — Ты видел и не мог сказать? Хоть закричать?..

— Да чего тут кричать! — раздраженно сказал он. — Тебя сейчас... голыми руками можно брать. А они тут все...

Я сделал огромный глоток водки. Ознобы все равно не проходили; слабость меня замучила.

— Что они тут все?! Что я вам... Что вы все от меня...

— Ты хоть бы Каролине какой-нибудь жратвы купил, а не водку постоянно.

— Ей сейчас не до еды! — отрезал я.

Он насупленно замолчал, потом скривился и произнес:

— Допивай, я больше не хочу... Я не за этим сюда приехал... Завтра уже Оле Нидал будет... Пхова...

— Пхова-пхова... — пробормотал я. — А мне хуево...

— Ладно, — сказал он.

Было видно, что я ему страшно надоел.

Шатаясь от опохмеления, я вернулся в лагерь. Меня встретила растрепанная Каролина.

— Там... Нашу палатку... Ветер полностью разорвал...

— А у меня украли все деньги, — сообщил я.

— Поздравляю... — совершенно не удивилась она. — Все? А как же море? Сколько можно пить?!

— Мне это... помогает, — ответил я, чувствуя, что опять отключаюсь, как ночью. — Ты же пьешь рогипнол!

— Да ну его!

Я лег на траву и неожиданно заснул.

Когда я проснулся, в лагере было тихо. Почти все ушли на семинар; я еле встал, опять ощутив похмелье и общую всегдашнюю разбитость.

Я прошел вперед и обнаружил Каролину, сидящую у костра. Она плакала.

— Что с тобой?

Она молчала.

— Что происходит?..

— Буддизм надоел! — вскричала она. — Я — православный человек, надо в храм идти, а не здесь...

— Буддизм... должен умиротворить наши души... — заплетаясь, проговорил я. — Мне надо опохмелиться.

— У тебя просто запой!

— У меня остались еще деньги в сумке.

— Правда?.. — с надеждой спросила она.

Я обнял ее за плечо.

— Послушай... И все таки, Царствие Божие не от мира сего! И не мир Он принес, а меч! Поехали отсюда! Все, хватит, не хочу никакой пхovy, хочу на

море, хочу видеть Георгиевский монастырь под Севастополем со скалой Крест.

— Поехали? — удивилась она. — Когда? На чем?

— Сейчас же! На чем угодно! Иначе мы никогда не уедем! А эти... умники... Ну их!

— Мы... не доедем... Не дойдем... Очень плохо...

— Нам надо доехать! — вдохновенно сказал я. — Надо дойти! Нам нужно!

— Сейчас?..

— Только сейчас. Клянусь, мы будем стоять у скалы Крест и смотреть на великое море, в котором растворено все! Пошли! Пошли!!

Свои последние две бутылки портвейна я выпил в поезде, свалившись ночью с верхней полки и чуть не переломав себе кости.

Станции сливались в один бесконечно длящийся кошмар; мы ехали и ехали — прочь от Калмыкии, от буддистов и от Оле Нидала. Сознание почти ничего не воспринимало, кроме мелькающих картинок жизни перед открытыми или зажмуренными глазами; дорога уходила прочь от нас, теряясь во мгле лагерной игры на гитаре и играх ума.

Но однажды я очнулся, проснулся, пришел в себя. Я держал за руку Каролину и смотрел на море перед собой, вместе с суровой скалой Крест, возвышающейся перед Георгиевским монастырем. Мы молчали, счастливые, ошеломленные, родившиеся заново. Я смотрел вдаль и думал об ужасах этого мира, где все заодно, где все происходит так, как и должно происходить, где постоянно хочется смерти и независимости от всего материального и даже душевного, где мне просто хотелось бы быть устричной отмелью в океане, лишенной существования, но имеющей лишь одно назначение — быть; я думал о жестокости и колючести окружающей меня действительности, о справедливости каждого мгновения и прелести проживаемых секунд — и о том, что никто не любит нас, наркоманов.

1997

СЛЕДЫ МАКА

*Мы жизни отдаем
последнее дыханье
за неба оком
и маков полыханье.*

Индрих Вихра

(пер. Олега Малевича)

Я рассчитал все дозняки на этот денек и ощущал себя, словно опустошенное нездоровой свободой существо, стремящееся воспарить в ласково мягкий, небесно разряженный мирок смутной, как сонные слова, услады. Раствор был во мне, раствор был вне меня, рядом: мои руки светились сумрачными дорогами вен, которые, будто двери без ключей, влекли меня к себе, за себя, в покои кайфа, запретного и вожделенно доступного, как плод, или блядь — стоило протянуть руку. Под столом валялись маковые бошки впоремешку со стеблями и корнями — всем тем, что называется капустой: шприцы лежали на столе, готовые впрыскивать чудесные жидкости в кровь, и миски с черными следами великого сладкого раствора были разбросаны повсюду вместе с бутылками из под растворителя, словно доспехи лучезарного рыцаря,

который после судорожного поединка расшвырял их где попало и теперь пьет портвейн.

— Я вмажусь, — сказал я, лежа в кровати, раскрывающая глаза.

— Кумарит, — прогудела моя жена.

О, этот салатно-ветвистый, запросто растущий в огородах мак! О, его причуды, его белый сок, называемый опиумом, его великие головки, называемые бошками! Я хочу быть с тобой сейчас же. О, этот дербан, эта тайная кража, этот ужасный, леденящий сбор, это напряженное выдергивание с грядок растений неги, этот преступный унос маковых снопов среди пугающих спящих дачных домишек, о, это коцанье!..

Я вышмыгнул и вытянул вверх свою холодную сероватую руку. Я изнатужился и встал. Тело как-то внутренне скрипело, будто заезженный грузовик; я, шатаясь, подошел к холодильнику и достал заветный пузыречек. Затем через ватку, именуемую петухом, выбрал три куба. Перетягиваю, еле протыкаю кожу, тупая игла, где же вена, где же вена, контроль, нет, воздух в «машине», вот она, нет, раз — кровь юркнула в шприц, словно носик любопытной мышки в шелку. Оттягиваю, отпускаю, вмазываюсь, вынимаю. О...

Мир тут же возникает предо мной, как бесконечные облачные клубы сладкой энергии. Я бодр, я хочу

есть, я хочу всего, счастлив, мне не нужен никто! Тело теперь напоминает порхающего ангела или достигший высшего своего качества организм йога. Я люблю реальность, мне нравится солнце, мне нравится дождь, мне все равно, я люблю сидеть, я люблю стоять.

— Эй! — в нос вскричала жена. — Ты сколько сделал? Выбери мне! Кумарит! Быстрой!

Я никуда не тороплюсь. Я медленно встаю со стула, и, улыбаясь, иду к прекрасному холодильнику. Я выбираю ей два с половиной куба и иду к постели делать желанный укол. И потом мы радостно завтракаем.

— Человек насквозь химичен, — весело говорю я, наслаждаясь колбасой. — Если некое вещество способно перевернуть твои эмоции и душу, значит, это — правда, и глупо это игнорировать. Остается, конечно, нечто незатрагиваемое, но оно и так остается. Воистину, человек — машина, на девяносто девять процентов. Внутренний мир — дерьмо.

— Мне нравится больше внешний, — заявляет жена. — Поедем на дачу.

Погода была светлой и благодатной, словно раскумарившийся опиошник. Мы уложили в багажник множество маков и сели в машину. Не спеша я завел мотор, глядя в зеркало заднего вида на свое бледное восторженное лицо со зрачками размера маковых зернышек.

Я выруливаю, мы едем! Я переключаю скорости одним пальцем, закуриваю сигарету и лишь по какой-то ментальной инерции останавливаюсь на светофорах, не принимая в принципе участия в этой жизни, о которой надо все время думать и выполнять свой долг или множество долгов.

Шоссе стелется предо мною, будто нарастающий кайф. Я останавливаюсь у магазина «Автозапчасти» и вхожу в него. Блин! Здесь только ацетон. Но ведь на нем тоже можно приготовить любимую жидкость?

— Я купил две бутылки ацетона, — говорю я, опять садясь за руль. — Там совсем не надо лить воды в соду, как мне объясняли. Попробуем.

Слегка приглушенное солнце августа освещает мои исколотые руки, успокоенно застывшие на руле: я еду сто десять километров в час и напоминаю сейчас острие иглы, обращенное к душе. Мой дух витает: мое тело вибрирует от машины и от внутренних наслаждений. И мы едем и едем.

На выезде люди с автоматами, нас останавливают, это ОМОН, спаси меня, опиум!.. Я протягиваю документы и дрожу. Конец, конец, конец!

— Выйдите из машины, — говорит красивый омоновец в пятнистой форме. — Чего вы так переживаете?

— Нет, нет, ничего.

Я выхожу и становлюсь перед ним. Он ощупывает меня.

— Оружие есть?

— Нет, что вы!

Он насмешливо смотрит мне в глаза.

— На вас следы мака. Откройте багажник.

О!

Я открываю багажник.

— Ну что ж, господин наркоман, придется притормозиться. Двести двадцать четвертая?

И тут, словно персонаж из фильма Бергмана, я издаю тайный звук, он переполняет меня, он сметает омовца, он вырубает реальность, он есть грохот отчаянной атаки, он есть шелест мака, он чудовищен и огромен, как страшное древнее знание, он есть единственное прибежище, вскрик Высшего, уничтожающий все среднее, случайное и настоящее. Это магия, каббала, к которой я иногда прибегаю, если необходимо.

— Что вы орете, — говорит омовец. Я сажу за рулем, он держит мои документы. — Оружия нет?

— Нет.

— Счастливого пути.

Я медленно беру документы, осторожно их проверяю и кладу в карман. Я не спеша завожу мотор и трогаясь с места. Мы уезжаем.

— Да... — выдыхает жена. — После таких штук надо немедленно вмазаться.

— Сейчас приедем, приготовим.

Мы почти неслышно едем дальше, испуганные, ошарашенные, уязвленные. Сие происшествие возникло неожиданно, словно резкий удар ножом в загорающее на пляже тело. Беспощадный кумар, похожий на обволакивающий все клетки противно холодный ручей, в который тебя безжалостно опускают, опять забился неотвратимым мешающим уснуть сверчком внутри ошеломленного, не верящего в него организма. Но у нас же все есть, у меня есть уксусный ангидрид — великая едкая влага, любимая жена опийного раствора, белая, очищающая все жидкость, кристально кислотные капли, необходимые «посаженному на корку», коричневому маковому экстракту, как наркотик. У меня есть ацетон, не приемлющий воды; у меня есть чудеснейшие маковые стебли в огромном количестве и прекраснейшие, эстетически совершенные, маковые бошки. Кумар развивался втуне, как безжалостный раковый метастаз, но я подсмеивался над его упорством и злобой; я зрел миг освобождения, словно затерян-

ный в пустыне путник, счастливый видеть мираж вожденного колодца и зеленого прохладного оазиса. Мы ехали, притаившиеся в автомобиле, будто страдающие от клаустрофобии дети, летящие в самолете. Я крутил руль; наступал холод.

— Надо будет сейчас приехать, тут же приготовить сухие бошки, замазаться, а потом все остальное.

Дача была родной, как любимая вечно острая игла-капиллярка. Рядом с плитой стояли чистые миски; я подошел к кухонному столу и победоносно выставил на него бутылку ацетона. Мясорубка была под столом.

Началась приятная, нервная работа. Цвет от ацетона был странно-синим; я совсем не лил воды в соду, но тщательно нагрел кастрюлю. Цвет раствора был очень бледным. Я проангидрировал.

Мы развели, я выбрал.

— Вмажь меня...

Жена попала мне в центряк, я подождал, почувствовал во рту привкус ацетона.

— Это не то, — убийственно разочарованно произнес я. — Это не он! Не он!! Не он!!!

— Как?!

— Видимо, мы не умеем готовить на ацетоне. Наверное, нельзя совсем без воды. Сода не пропитает солому, и опиум не возьмется. Еще есть бошки?

— Зеленые.

— Суши!!

Мрачный ужас пронзает меня; отравленный раствор пульсирует в теле, уже охваченном кумаром, словно безумием; неверие в опиум поражает меня, как самое худшее, что только может случиться с человеком. Я лью воду в соду.

Я делаю снова; цвет на сей раз зеленый, правильный, ацетон кипит, кипит... и не выкипает!

— Что это? Блин, там одна смола! Мне кто-то говорил, что если так делать, будет одна смола! Опять у нас ничего не вышло! А! А!

Жена, словно тень смерти, стоит в углу. Опиума нет?

— Давай, теперь я попробую, — предлагает она.

Я ухожу, испаряюсь, выключаюсь на какой-то кровати, трясусь в судорогах, будто любимая только что оставила меня, тускло зеваю и вновь трясусь, трясусь, трясусь. Меня не интересует ничего, я не могу сидеть, не могу стоять, не могу лежать. Я не хочу есть, я не хочу жить. Проклятый ацетон! Опиум, сжался!

Молитва опиуму

О, чудный опиум — прибежище счастливых!..
Твой шоколадный дух зажжет рутину дней
Прекрасной сладостью садов, где в цвете сливы,
В покое яблони, под сенью маковых стеблей
Пребуду я.

Ода опиуму

О, черно млечный сок
Корон цветов извивов...
Истома ты исток!
Услады диво!
Когда ты входишь в кровь,
Всю душу озаряя,
Во всем, во мне любовь
И сладость расцветают.
Ты — грезовый угар
Блаженнейшего зуда,
Ты сам — Господень дар,
Ты — просто чудо!
Мой шприц наперевес,
Словно копье, возьму я
И нежный сок небес
В него вберу я.
Затем — проткнута плоть,
И кровь в цилиндре.
Осталось лишь вколоть
Раствор-целитель.

И тут же свет в глазах,
Как счастье, воссияет,
И смысла блеск в мирах
Вновь запыляет.
Люблю твой цвет и вкус,
Взаимные обиды,
И вечный твой искус!
И запах ангидрида.

Я лежал, тщась разглядеть призрак счастья, мучаясь своим телом и душой, ужасаясь своему духу. Мир, как бледный юноша, умирал рядом со мной, дергаясь и сотрясаясь на полу и за окном. Я ненавидел ацетон; нужен был все же растворитель, что же это такое, что же это...

Битва растворителя с ацетоном

Растворитель был лучезарным рыцарем в белом плаще, рыжеусым, добрым и загадочным. Ацетон был гнусным посланцем страны Мазок, говорят, что родился он абхазом Абстеном Кумаровичем Ломиа, но впоследствии отринул веру и родину и пустился в черный путь, ведущий в судорожно холодный вечный ад. Он ржал, он сморкался, он кашлял, он испражнялся прямо на глазах своего мрачно сопливого потного войска. Растворитель честным взором глядел прямо, и лицо его светилось величием правды, красоты и любви.

АЦЕТОН. Эй ты, мерзкая бяляшка!.. Тьфу-тьфу... Шмыг! Сейчас я отрежу твою кудряшку и потяну за влажный язык! Чих-чих! Пык!

РАСТВОРИТЕЛЬ. Кончай браниться, урод суровый. Я готов биться с тобой за торжество Божьего слова! Возьми копье наперевес, сожми его, чихая, а мне помогут с небес силы нашего рая!

АЦЕТОН. Ваша страна Раствор станет колонией нашего Мазка! Ваши кислые реки станут горькими, ваше сено превратится в солому, а ты будешь заточен в вечную смолу!

РАСТВОРИТЕЛЬ. Наш Бог — наш млечный Сок не даст свершиться мерзости сией. К битве, синеватый ублюдок!

АЦЕТОН. Да сгинут сладость и чудо!

И они, оседлав своих коней, понеслись друг на друга, остервенело размахивая снопами клинков. Ацетон ударил первым и отсек Растворителю ухо: Растворитель по доброму улыбнулся и вытащил хрустально белый лук с острой острой тонкой стрелой. Ацетон поморщился, и...

Ко мне пришла жена с кружкой, ее губы были смиренно сжаты, левая нога дрожала.

— Я сделала, вот, попробуй...

Я тут же вмазался.

— Это не он! Не он!! Не он!!!

Она упала на кровать в конвульсиях.

Я встал.

— Надо ехать в магазин. Надо купить растворитель. Суши последние бошки. Молись. Да не оставит нас! Человек насквозь химичен. Больше нет ничего. Да победит Растворитель!

Я сел в машину и поехал. Я долго ждал до открытия. Я шел, словно босой по стеклам. Я купил 646-й. Я сел и долго долго ехал обратно.

— Все дело в нашем неверии, — говорил я, отжимая тряпку с растворителем, в которой была маковая соломка. — Плоть и дух взаимопроникаемы, а мы не верим. Неужели он здесь есть?

— Я чувствую его! — вскричала бледная жена. — Этот запах... Он так сладок, о, как же он сладок!..

— Цвет — коричнево-золотой, янтарный, медовый... Или это опять смола?

В ужасе и преддверии я ангидрирую. Развожу. Выбираю через петух.

— Вмажь меня.

Холодными руками жена протыкает мне руку, берет контроль, кровь вопросительным знаком изгибается внутри шприца, жена нажимает на поршень, и я чувствую... Взрыв!

— Это — он!!!!

Мир воскрес; только ради этого мига стоит жить. Я сел на стул, опять прекрасный и благодатный. Все химично, все великолепно. Раствор был во мне, раствор был рядом со мной, рядом, больше ничего не имеет смысла; так должен я прожить всю свою жизнь. И когда она закончится, сверкая отблесками одухотворенного опийного раствора, я сладостно перейду в иной, лучший, более спокойный, чарующий мир, и воскресну вечным цветком небесного белого мака в раю.

— На тебе следы мака... — испуганно проговорила жена. — Как говорил этот с автоматом... Неужели это — он?!

— Да, — отчеканил я счастливо. — Да. Это — ОН. Все расцветает, все есть, все существует. Вмажься! Ради этого мига стоит жить.

ОДИН ДЕНЬ В РАЮ

Ихтеолус просыпался, отдаваясь ласково и утверждающе встающему над светлым миром солнцу, радуясь его зову и наслаждаясь его призывом. Его губы улыбались; душа все еще трепетала, испытывая сладостную грусть и ощущение чего-то недостижимого и прекрасного, что только что было заполнением сна и чего Ихтеолус так и не обрел и вряд ли когда-нибудь обретет. Он открыл глаза, тут же скосив взор на дисплей, который демонстрировал автоматическую отключку подачи разнообразных снотворных и психodelиков и плавный переход организма на пышущее здоровьем румяное бодрствование. Огоньки слабо горели, жизнь собиралась начаться.

Ихтеолус левой рукой нажал на кнопочку проверки всех систем и замер в ошеломленно-счастливом предвкушении: он обожал этот миг, он боялся его, он ждал его, желая и не желая — это напоминало прыжок в пропасть, вылет из духа, бытие и ничто одновременно.

Тут же по его телу покатались волны самых лучших ощущений; амплитуда была наиполнейшей, но все протекало столь кратко, что невозможно было ни за чем уследить; в один миг возник пик явленного Разнообразия и переходов всего во все, и он являлся

подаренным единственным раз в день знанием всех возможностей, всех ощущений, всего спектра, которое включало в себя и взгляд вовне; мозг Ихтеолуса то воспарял в красочные эмпиреи, то падал в пропасти сонно-паутиных царств, желудок вибрировал, требуя пищи, чтобы затем наполненно урчать, член то поднимался ввысь, заполняясь предчувствием непереносимого по сладости оргазма, то блаженно повисал удовлетворенно, будто не существуя между мускулистых ног, желающих то прыгать бегать, то мягко отдыхать. Так происходила и воспринималась проверочная инъекция микродоз Всего, и все, кажется, было в норме.

Ихтеолус сладко зевнул, радуясь краткому отключению любых подач в свой организм, а затем привычно нажал на утреннюю кнопчку, тут же ощутив прилив серотонина в мозгу, гамма-аминомасляной кислоты и короткого стимулятора (очевидно, кокаина), делающего подъем столь приятным и замечательным действием.

Ихтеолус вскочил, подпрыгнул пару раз, изобразил какое-то боксерское движение и пружинисто двинулся в ванную.

Ихтеолус был статным блондином стандартного роста и телосложения, имеющим оригинальное запоминающееся лицо, внизу которого, словно вырубленный из скалы, выдавался вперед поражающий резкос-

тью очертаний подбородок, испещренный утренней щетинной мшистостью, будто аккуратно выращенными где-нибудь на краю света микролишайниками.

Он добавил себе стимулирующее серотонин вещество, расплылся в улыбке счастья жизни и начал радостно бриться, насмешливо наблюдая в зеркало свое смеющееся самому себе розовое личико.

Побрившись, Ихтеолус вышел из ванной, добавил себе стероидов, смешанных с каплей фенамина, и отдал все свое существо зарядке с использованием висящего на двери тренажера.

Затем — душ с небольшой инъекцией опиоидов, делающих блаженно стекающие по слегка утомленным мускулам струи ласковой воды еще более приятными.

Наконец, Ихтеолус сидел за столом в халате, на краткий миг подбавив себе героина, настроившего его на задумчиво-отдыхающий лад, а потом отключил все системы, настроившись на режим жизнедеятельности голодного жадного зверя хищника, требующего мяса, плоти, крови.

Завтрак был подан, и Ихтеолус набросился на него с остервенением животного, впервые за взрослую жизнь учуявшего течку самки. Он добавил себе вкусовых ощущений и теперь буквально рдел от счастья, пе-

ремальвая зубами бифштекс: это мясо было смыслом и средоточием всех мяс в его жизни, это был мясной апофеоз, вершина плотоядного совершенства, абсолютной радостью желудка, рта и пищевода, вампирической прелестью какого-нибудь затерянного в пустыне бедного тигра, загнавшего невесть откуда взявшуюся здесь косулю.

Бифштекс закончился, программа автоматически отключилась.

Передохнув пару секунд на барбитуратах, Ихтеолус инъецировал себе тетра-гидроканнабинол (такая зелененькая кнопочка в форме конопляного листа) и стал возвышенно и умудренно поедать сладкое, воспаряя в мягких грезах и наслаждаясь утонченным пирожным вкусом. И кофе тоже был тут; и кофеин также был как нельзя кстати.

Покончив с завтраком и позволив себе краткую передышку, занятую курением подлинного кальяна с истинным опиумом, Ихтеолус немедленно удалил из организма все токсины, затем опять внедрил в него мягкий стимулятор с ноотропилем, повышая уровень серотонина и, конечно же, гамма-аминомасляной кислоты, и настроился на трезво-внимательный рабочий лад.

Через некоторое время изящно одетый и подтянутый Ихтеолус вышел из дома и направился к автомобилю.

Черный руль ждал его; светлое солнце согревало его макушку; ветерок щекотал изысканностью природных запахов его ноздри.

Он сел за руль, завел машину и поехал, не забыв втюхать себе изрядную дозу метедрина, чтобы получилась по-настоящему приятная езда.

Тут же его мозг вздрогнул, будто заворачиваясь в некую шизофреническую загогулину, и Ихтеолус остервенело помчался вперед, словно стараясь перегнать самого себя и по сумасшедшему громко гикая в экстазе нарастающей скорости:

— Иииии!.. Иииии eeh! Иииии ех!.. Опа! Опа!..

Перед ним образовалась стайка точно так же мчащихся автомобилей; Ихтеолус матюкнулся и решил взлететь.

Он нажал на специальный тумблер и взмыл в голубые небеса прямо к горящему солнцу. Введя себе кокаин, Ихтеолус закружился в виражах и в конце концов произвел мертвую петлю. О да, это был истинный полет!..

Совсем утомившись, он вошел в штопор, уже почти ничего не видя и не слыша, и на очередной кокаиновой дозе приземлился прямо у подъезда здания родной работы. Сердце его колотилось, словно электро-

ритм в диско-баре, руки вспотели: он явно переборщил, и наступал неотвратимый отходняк. Ихтеолус опять матюкнулся, немедленно вывел из организма все, до этого введенное, позволил себе краткий барбитурово-героиновый отдых, опрокинув голову на спинку кресла, а через какое-то время уже бодро выходил из машины, опять настроив серотонин и прочие отвечающие за это вещества на правильное, рабочее настроение.

К нему приближался его коллега по имени Дондок.

— Что, передознулся, а?.. Я видел, как ты летел.

Ихтеолус белозубо и слегка пристыженно, но с абсолютным достоинством, усмехнулся и ответил:

— Да вот люблю я это дело. Вот.

— Кто ж его не любит!.. — засмеялся Дондок и укоризненно помахал перед Ихтеолусом пальчиком. — Может, потолкуем сегодня после работы? А? Я вчера почти всю ночь читал Хун Цзы, у меня возникло новое...

— В обед! — мягко отрезал Ихтеолус, вспомнив, что после работы он договорился о встрече с любимой девушкой, которую звали Акула Магда.

Потом они ехали в лифте, потом они шли пешком, потом входили в кабинет, потом здоровались с началь-

ником. Начальник, которого все здесь называли Борисыч, пожал каждому руку и мягко взглянул в глаза.

«Опять наэкстазился, педик чертов!..» — подумал Ихтеолус, и тоже подобострастно ввел себе MDMA, попадая на это мгновение с Борисычем в столь желаемый тем сейчас резонанс. За такие тонкие вещи Борисыч души не чаял в Ихтеолусе; в конце концов, именно из таких мелочей и складывалась карьера; усевшись за рабочий стол, Ихтеолус с отвращением немедленно удалил из себя экстази, он и так перебрал сегодня со стимуляторами, надо бы расслабиться, а тут работа...

Он тупо стал переключать бумажки, но работа явно не шла, Ихтеолус совершенно не мог ни на чем сосредоточиться.

«А!..» — мысленно махнул на все рукой Ихтеолус, ввел себе нормальную дозу героина, полностью снимающую все стимуляторные последствия и одновременно дающую искомый наплевательский настрой на любое занятие, будь то даже мытье полов, и радостно отдался трудовой деятельности, жадно вникая в каждый документ, восторженно отвечая на любой телефонный звонок и с истинным наслаждением читая любой поступающий факс.

И так вот — весело, восторженно, блаженно и абсолютно — в самом наилучшем значении этого сло-

ва — безразлично и прошло рабочее время вплоть до самого обеда.

Крякнув, Ихтеолус поднялся из-за стола, подмигнул зашедшей к ним зачем-то в отдел секретарше Светочке, заметил ее укоризненный взгляд, обращенный в его маленькие маленькие зрачки, тут же втер себе атропина, прямо на ее глазах расширив их, так что они чуть не стали больше его глазных яблок, сконфуженно усмехнулся своей шутке и отправился на обед.

По пути его догнал Дондок, находящийся, очевидно, в степенно умудренном состоянии какого-нибудь изощренного коктейля, на что он был признанным мастаком.

— Куда пойдём? В «Харакири»?

— В «Жопу», — ответил Ихтеолус.

— Нет, — задумчиво и даже слегка обиженно сказал Дондок. — В «Жопу» я сейчас не хочу. Пошли лучше в «Манду». Она настроит нас на лад беседы, вдумчивой беседы, и ничто не будет нас от нее отвлекать.

— В «Манде» плохо кормят, — заявил Ихтеолус.

— Да, ты прав, дружище, ты как всегда прав. Тогда давай компромисс, пошли в самый обыкновенный «Ресторан», там и поедим, и выпьем и побеседуем.

— Пошли, — безучастно согласился Ихтеолус, все еще кайфуя от употребленного им в рабочее время героина.

В «Ресторане» было людно, играло пианино, сновали туда-сюда обстимулированные официанты. Ихтеолус вывел из себя героин, ввел небольшую дозу алкоголя в качестве аперитива и предложил Дондоку сделать то же самое. Тот с радостью согласился.

Принесли заказанную еду, она была изысканна и вкусна.

— Коньячку? — предложил Дондок.

— Я — виски, — сказал Ихтеолус.

Они стали есть и напиваться, буквально до свиного состояния.

— Вот что я тебе скажу, приятель, — начал Дондок задушевный рассказ. — Я вчера, читая Хун Цзы, наткнулся на такую фразу: «Никогда лучшему не стать худшим, так же, как никогда лучшему не преодолеть худшего, так же, как никогда худшему не достичь лучшего, так же, как никогда лучшему не постичь худшего». Как ты, думаешь, что тут истинно имеется в виду? Мне интересно твое мнение.

— Я думаю, что, — немедленно откликнулся Ихтеолус, отпивая большой глоток виски и кладя в рот ку-

сочек пиццы, — лучшее и худшее — вечные корреляты сущего, соперничающие друг с другом и дополняющие сами себя. И в процессе сотворчества они и творят все Бытие, и в этом смысле прав Хун Цзы, утверждающий, что никогда и так далее... Но только вырвавшись за пределы любых коррелятов, вообще любой возможности творить как таковой, если мы выйдем, как кто-то сказал, «за», только тогда мы и постигнем, и, — отпив еще виски закончил Ихтеолус, — познаем. Да — и познаем.

— Вечные твои идеи, — произнес Дондок. — А я вот вчера подумал, что лучшее и худшее — это и есть истинное единство, утверждающее сущий порядок, и в этом смысле прав Хун Цзы, утверждающий, что никогда и так далее. Но выйдя, хотя бы попробовав выйти, как ты сказал, что как кто то сказал, «за», мы никогда не окажемся (опять прав Хун Цзы!) вовне и где то в подлинном познании, поскольку сам этот выход, эта попытка, этот прорыв изначально уже будет либо лучшим, либо худшим. А? Каково?..

— Не знаю, — озянело промолвил Ихтеолус. — Надо поразмышлять.

— Так в чем же дело то?.. — обрадованно проговорил Дондок. — Помедитируем? Тем более, время уже...

— Давай, — махнул рукой Ихтеолус, доканчивая бутылку виски.

Они тут же вывели из своих тел и мозгов все мыслимые и немыслимые вещества и переключились на «нормальное состояние». Закрыв глаза, каждый настроился на что-то свое, и если Ихтеолус пытался запердельно не бытийствовать, погружаясь в некую досотворенную абсолютность блаженного Ничто, то Дондок отчаянно сражался с двумя создающими Бытие сторонами, принимая то одну их сторону, то другую, и все более запутываясь в многообразии рождаемых ими форм, сущностей и миров.

Но вот Ихтеолус открыл глаза: «нормальное состояние» ему быстро наскучило. Он пусто огляделся.

— Ааааааммммммм — громко произнес Дондок, втягивая торс внутрь ресторанного кресла.

— Что, хочешь еще поесть? — спросил Ихтеолус.

— Ты что!.. — обиженно буркнул Дондок, немедленно раскрывая глаза. — Это же — мой главный медитационный слог, да я же только что...

— Пошли, — сказал Ихтеолус, — мы уже опаздываем.

— Ах ты!.. — озабоченно воскликнул Дондок, взглянув на часы. — Придется...

Они немедленно внедрили в себя по дозе фенамина и домчались до рабочих мест с резвостью чемпионов

мира по спринтерскому бегу, которые, возможно, употребляли для своих спортивных нужд то же самое.

Остаток рабочего дня Ихтеолус провел под феномином. Руки у него подрагивали, когда он подносил к расфокусированным глазам очередной документ, но работоспособность была просто глобальной, ясность мысли — потрясающей. За эту половину дня он переделал, наверное, работы на неделю вперед, и, когда прозвенел мягкий звоночек, возвещающий о конце труда, ошалело стал смотреть на плоды своей деятельности, мучительно соображая, чем ему заняться завтра, послезавтра, и так далее. Ладно — зачем сейчас об этом думать?

Ихтеолус набрал все еще дрожащей рукой вожделенный телефонный номер, услышал мурлыкающий голосок Акулы Магды и сказал:

— Я кончил.

— Уже? — усмехнувшись на другом конце провода, спросила Акула Магда. — А я еще и не начинала.

— Тьфу, ой, извини, заработался. Короче, давай встретимся.

— Пошли в церковь, — предложила Акула Магда.

— В церковь? — изумился Ихтеолус. — Но...

— Начнем с церкви, — непреклонно сказала Акула Магда. — Я там так давно не была...

— Ну хорошо-хорошо, — обрадовался Ихтеолус слову «начнем», — тогда встретимся...

— Там и встретимся, — непреклонно проговорила его любимая девушка. — А то ты еще не пойдешь.

— Да я... Да ты... Да мы...

— Все! — отрезала Акула Магда и повесила трубку.

«Церковь... церковь... — выведя из себя фенамин и введя большую дозу ноотропила с небольшим количеством морфина, размышлял Ихтеолус. — Что же там... Да я там не был... А!.. Ну да».

В назначенное время он переступил порог храма и вошел. Внутри молились прихожане всех возрастов и полов, горели свечи. Прямо у алтаря стояла Акула Магда, ее огромные глаза словно пробивали алтарные стены, руки ее были молитвенно сложены на кокетливо выступающей груди.

Акула Магда была статной брюнеткой с маленьким, почти миниатюрным лицом, слегка вздернутым носом и почти идеально женственной фигурой. Ихтеолус, еле пробившись через толпу молящихся, оказался рядом с ней.

Она была ему под стать.

Она ничего не сказала, только внимательно посмотрела в его глаза, и Ихтеолус, все поняв в единый миг, тут же инъецировал себе порцию ДМТ, отчего все иконы зажглись холодным огнем великой Божественной энергии, все запульсировало радугами высшей благодати, и Единый Смысл Покаяния, Веры, Любви и Надежды пронзил Ихтеолуса пламенным вихрем Вселенского Смирения, полыхающего над церковным куполом, точно ореол или самый величайший Нимб, откуда все нисходит в этот мир и куда возвращается.

— О! — благодарно молвил Ихтеолус, рухнул на колени и принялся судорожно молиться, видя наяву каждый свой грех, словно некоего цветного демона, буквально рассыпающегося на куски под подлинно праведным взором; испытывая истинную причастность и сопричастность всему, что только есть под Солнцем, и возрадуясь Творению, и бесконечно возлюбив Его.

— Братья и сестры!!... — прогремел над всеми голос священника. — Господу Богу помолимся! Господи, помилуй!!!

— О, — опять тихо сказал Ихтеолус, боясь даже взглянуть на священника, настолько он буквально горел и переливался всеми огнями и смыслами Боже-

ственной мудрости и славы, а на чело его нисходил мягко синеватый и одновременно перламутровый, какой то извечно добрый Свет.

— Братья и сестры!!! — опять взгремел священник. — Праведники! За праведность нашу помещены мы сюда милостью Господней, так восславим же Господа!

— О, — ничего уже не слыша и не видя, прошептал Ихтеолус и вошел в Абсолютную Благодать.

— Пошли, — кто-то произнес над ним, это была Акула Магда, она нащупала его дисплей и внедрила в скорченного у алтаря Ихтеолуса аминазин. — Ты, кажется, увлекся.

— Что?.. Что?!.. — потерянно молвил он, приходя в себя.

Придя в самого себя и улыбнувшись, он немедленно вывел уже ненужный аминазин, внедрил в свой измученный столь тяжелыми и светлыми переживаниями организм изрядную порцию морфина для отдыха, бодро встал и поцеловал Акулу Магду в щеку.

— Спасибо, — сказал ей Ихтеолус.

— Не за что. Я тоже начала увлекаться, но тут тебя увидела и успела.

— Молодец! — ободряюще проговорил Ихтеолус, влюбленно глядя в ее маленькие маленькие зрачки.

Они вышли из церкви, взявшись за руки.

— Может, отвлечемся какой-нибудь другой службой? — спросила Акула Магда, указывая взглядом на расцвеченный восточный храм, у входа в который сидели блаженствующие монголоиды.

— Не-ет уж, спасибо, это я уже сегодня поимел.

— Да ну? — рассмеялась она. — Тогда, пошли потанцуем.

— Вперед! — согласился Ихтеолус.

Они сменили морфин на экстази и через некоторое время уже суетились рядом с барной стойкой какого-то вечернего клуба.

— Что ты будешь пить, дорогой?.. — спросила Акула Магда.

— Джин-кокаин.

— Отлично, я тоже.

Играла громкая музыка, состоящая из очень медленных, но абсолютно ритмичных ударов, и каждый из танцующих умудрялся за долгое время между этими

ударами вытворить такие немислимые и быстрые па, что все удивлялись всем. Это был самый модный сейчас танец; он назывался «мягкое порно».

— Вперед!.. — скомандовала Акула Магда, когда они допили коктейли.

Они тут же наэкстазились под завязку и принялись бешено плясать, словно пытаясь выбросить из своих тел навстречу самим же себе все свои желания, мечты, любви и страсти. Это продолжалось почти бесконечно и было как будто отлично.

И затем, морфинно обняв подругу за талию, Ихтеолус, покручивая другой рукой руль, летел в синем ночном небе к своему дому.

— Ты хочешь ужинать, дорогой? — спросила его любимая.

— Да ну его, — утомленно и счастливо произнес Ихтеолус. — Я...

— Вот и я так думаю, — рассмеялась она.

Они тут же инъецировали большой запас аминокислот и витаминов, добавили сексуальных возбуди-телей и средней тяжести дозу ЛСД.

— Приди же ко мне!.. — встав на постели, совсем как жрица любви, первая женщина, явленная в

мире, самая сокровенная любовь на свете, чудо из чудес, призывно произнесла полуобнаженная Акула Магда.

— Я — твой!!! — воскликнул Ихтеолус, вынырнув из своей одежды и белья, словно душа из телесной оболочки, и ринулся к ней.

— На сколько поставим? — осведомилась Акула Магда.

— На двадцать две, — почему то сказал Ихтеолус.

— Хорошо, — согласилась она.

И тогда они сплелись, будто играющие Сатир и Нимфа, как жаждущие друг друга подростки в невинности первого объятия, как преданные на всю жизнь супруги, словно собирающиеся последним высшим любовным актом исторгнуть из себя смерть. Ихтеолус был первым Мужчиной среди нерожденной еще Вселенной, а она была первой Женщиной; они воделели сами себя, составляя два единственных и главных коррелята, творящих все; они составляли жизнь и смерть, небеса и землю, лучшее и худшее, и были так же абсолютно несовместимы, как и совершенно едины.

И когда их бесчисленные любовные игры достигли апогея, когда они перебивали всем тем, что только мо-

жет вообще быть, сплетенные в вечный клубок своей любви, тогда огромный и ужаснейший Оргазм — на целых двадцать две минуты — потряс их великие тела и чистейшие души. И они растворились в нем и замерли, точно остановилось само Время.

Потом они отдыхали, нежно прильнув друг к другу, млея от поступившего в их кровь и мозг героина, предусмотренного дисплейной программой, и передавали из рук в руки зажженную сигарету с обыкновенным табаком. А зачем что то еще, когда и так чересчур хорошо?..

— Ну, я пошла, — сказала наконец Акула Магда. — До завтра. Да и время уже...

— Пока, любимая, — нежно промолвил Ихтеолус и поцеловал ее во все еще горячую от любви щеку.

Она села в свою машину, инъецировала себе немного морфина вместе с каплей метедрина, чтобы не заснуть за рулем, и полетела домой.

А Ихтеолус, у себя дома, умылся, блаженно улыбнулся, выводя из себя все вещества и производя мощную вечернюю прочистку организма, лег в постель и закрыл глаза. Дисплей сам по себе ввел в него обычную для него вечернюю дозу нембутала с изрядной долей ЛСД и триптаминов, и Ихтеолус погрузился в вечный, каждую ночь повторяющийся сон.

Он лежал один на камнях посреди пустыни — израненный, всеми брошенный и одинокий. Тело его гудело, болело, зудело; кровь и гной истекали из него на почву, мозговая жидкость из пробитого черепа сочилась на камень. Душа его трепетала от такой мучительной тоски и заброшенности, что могла бы уничтожить любой радостный солнечный свет, любой свет вообще.

— О-о-о-о-о, — застонал Ихтеолус, чувствуя Вечность этого своего состояния и зная, что оно никогда не кончится.

Каждая его клеточка чего то жаждала, и прежде всего жаждала Освобождения. А, может быть, смерти?

— О-о-о-о-о, — опять застонал Ихтеолус. — О, придите же ко мне...

И тут с небес какие то ангелы или гурии спустились к нему, проливая бальзам на его тело и душу и подхватывая ввысь его дух.

Ихтеолус перестал чувствовать хоть что-нибудь, он ощущал только самого себя, все еще продолжающего существовать, этих ангелов или гурий и огромный, безбрежный Космос или Хаос вокруг них.

Он ждал, он трепетал, он не ощущал ничего. А они несли его ввысь и ввысь, вечно ввысь и ввысь —

сквозь Космос или Хаос, в вожденный, но все так же вечно недостижимый рай.

Ихтеолус лежал и улыбался во сне, словно ребенок, которому в жизни еще все предстоит.

Завтра должен был наступить новый день.

1998

СНЫ ЛЕНИВЦА

Запись первая. Явь

Я живу в моем блистательном мире, подвешенный на своей ветке, среди сверкающих изумрудов листвы вокруг и солнечного блеска надо мной. Листва — моя еда, мой сладостный пир, мое вечное занятие и предназначение, пока я здесь; моя любовь и моя среда. Древо жизни необъемлемо, словно весь мир; небо недосягаемо и недостижимо, поскольку оно находится прямо надо мной и касается меня лаской своего воздуха; а жизнь есть остановленное мгновение, поскольку ничто не может произойти и случиться ни с деревом, ни с небом, ни со мной, покуда солнце зажигает свои лучи при каждом моем пробуждении и призывает меня к жизни и вожденной листве, и пока я существую, висю на своей ветке.

И я жую, жую, жую. Идут дожди сквозь солнце, стекающие по мне, летят бабочки с огненным узором крыльев, садящиеся мне на лицо, отдыхая от любви и полета, наступает влажная сушь и дует ветер, убаюкивающий меня, — я продолжаю жевать, упиваясь, наслаждаясь жеванием и вкусом лучшей в мире еды, которой так много вокруг.

И ничего не может измениться, поскольку все замерло и застыло в этом самом лучшем моем мире; и блаженная вечность обволакивает меня мягким теплом в тот самый миг, когда я забываю время.

Иногда я передвигаюсь к центру древа жизни и встречаюсь со своим народом — лучшим из всех, и мы вежливо и дружелюбно здороваемся, почти целуемся и обнимаемся, не в силах скрыть радостных чувств, а потом висим все вместе, стараясь максимально сблизиться и ощутить вечное единство; все жуют, и я жую, и мы превращаемся в истинное жующее и висящее совершенство, созданное из самих себя, и внутренний свет нашего древа согревает наши души и озаряет наш соборный дух. Мир совершенен, и мой народ — тем более. И мы так любим друг друга.

Сегодня я висел и жевал, пребывая в раю этих самых лучших в мире занятий, как вдруг все вокруг потемнело и начался страшный ливень с диким ветром, раскачивающим меня туда сюда со страшной силой. Я все равно жевал, но дьявольский ураган был так кошмарен, что иногда целыми пачками стрясывал резким порывом листья с ветки прямо у моих губ, когда они хотели нежно их сорвать. Это было неожиданно и неприятно. Тут вдруг небо — обычно столь дружелюбное и голубое — испещрилось молниеносными разрядами изломанных мгновенных ярких вспышек, одна из которых угодила в соседнее дерево. Раздался треск; святую листву обуял огонь. Я впал в оцепене-

ние и пришел в себя, когда все закончилось, и опять воссияло солнце, и наступила тихая сушь. Я обернулся на соседнее дерево — оно было обугленным и страшным; редкие листочки трепетали под мягким ветерком. Мне стало страшно — впервые в жизни.

Значит, наш мир не так совершенен, как я представлял? Что было бы, если бы ужасная вспышка попала в наше дерево жизни?..

Я подумал какое-то время, а потом внезапно понял, что этого никогда не могло бы случиться. Ибо я рожден для счастья и пребываю в счастье, а судьба других — их личное дело, их личная судьба. Я все-таки переволновался, но успокоенный и приободренный своим выводом после пережитого, пожевал еще листьев, которые показались мне особенно вкусны, и погрузился в долгий сладостный сон.

Запись вторая. Сон

Наступает тьма, обхватывающая меня со всех сторон, давящая, неотвратимая, чужая. Я готов вскрикнуть, но не могу раскрыть рта, хочу уцепиться хоть за что то и стряхнуть эту темень с себя, расправив плечи, точно бабочка — крылья, но тьма неуязвима, она сжимает меня в комок, в сгусток, в точку. И тут же — словно выплевывает меня из самого себя, и я уношусь ввысь, как всегда, обращенный лицом вверх.

Я лечу и лечу, набирая такую скорость, что скоро перестая чувствовать свои очертания. Я словно состою из воздуха или вообще ни из чего не состою. Где я? Что со мной произошло и происходит? Кто я вообще такой?..

Я влетаю в границу темного неба и вылетаю за его предел — дальше, дальше, дальше. Разве может быть что то дальше? Разве может быть что-то еще? Разве что-то может быть?..

За небом раскрывается безмерный черный простор с сияющими точками звезд, и я лечу в этой бесконечности, непонятно куда, непонятно зачем, не в силах остановиться и не в состоянии хотя бы перестать существовать.

Рядом со мной летит комета, я обращаюсь к ней с вопросами — кто? что? зачем? Но она ослепительна и холодна, в ней нет ответа и нет смысла.

Какой же во всем этом может быть смысл?..

Я лечу мимо звезды, погружаюсь в ее радужно переливающуюся яркую корону, рдею на волнах ее всецветных вибраций и вечных перемен, погружаюсь в смазанный калейдоскоп ее величия, славы и изначальности, — но я ей совсем не нужен; ей не нужен никто; она столь прекрасна, столь ясна и самодостаточна, что трепет любви и ужаса пронзает и сотряса-

ет мою душу, совсем как ее луч; и тогда я покидаю звезду и лечу дальше в холоде и мраке.

Что же я здесь делаю?.. Кто я вообще такой?.. Зачем я здесь?!..

И в миг, когда полное отчаяние овладевает всем моим существом, когда у меня не остается надежды, я шепчу своими отсутствующими губами, я кричу своей несуществующей гортанью, я молюсь своим уничтоженным сердцем: «Спаси меня, Господи!», и тут же вижу перед собой огромное вселенское древо жизни, сверкающее, как мириады бриллиантов, и родную ветку перед собой, покрытую звездными листьями.

Я подлетаю к дереву и обхватываю ветку, словно самое любимое существо, и я чувствую ее холод и — одновременно — ее тепло, и это тепло обращено ко мне. Я срываю с ветки несколько звезд, ощущаю их непередаваемый вкус, успокаиваюсь, убаюкиваюсь, совсем как ребенок, и начинаю жевать, жевать, жевать...

Запись третья. Явь

Когда я родился, моя мама была настолько ласковой и нежной, что я сразу понял, что попал в мир счастья, тепла и добра. Отца я не помню, но уверен, что он был так же прекрасен, как любой из нас.

Но сейчас весна — пора любви, я продолжаю висеть на своей ветке и жевать листья, и чувствую себя еще более окрыленным и счастливым, чем обычно. Оказывается, даже в раю может быть «очень хорошо», а может быть и «еще лучше».

Я улыбаюсь солнцу и жизни и готов расцеловать бабочку с огневым узором крыльев, когда она пролетает мимо.

В центре древа жизни собрался наш народ, и я тоже направляюсь туда по своей ветке, и трепещу от сладких желаний и ощущения любви.

Я вежливо здороваюсь со всеми, готовый от радости обнять их и прижать к груди, и располагаюсь среди моего народа — лучшего из всех, чтобы вместе чувствовать солнечные лучи, чтобы вместе жевать листья, чтобы вместе радоваться жизненному совершенству, подаренному каждому из нас.

О, как прекрасны наши девушки, как они грациозно висят!.. А как они чарующе жуют!.. А как красивы их лица, обращенные ввысь!!!.. Как светятся их глаза, когда они обращают свой взор прямо на меня!!!!.. Неужели я заслуживаю кого-нибудь, неужели я могу понравиться, неужели меня можно полюбить, ведь я — такой обычный, простой, такой же, как все

И тут, словно ослепленный, я вижу чудесное создание недалеко от меня, на соседней ветке!

И она смотрит прямо на меня, смотрит, не отрываясь, но глаза ее грустны и печальны, и только отраженный солнечный свет заставляет их блестеть и сверкать, будто она счастлива.

Я переползаю на ее ветку, располагаюсь рядом и спрашиваю:

— Что с вами? Вам грустно? Но посмотрите, как светит солнце, как все прекрасно!

— Я вас люблю, — отвечает она мне, — а любовь — это самое грустное и великое чувство из всего, что возможно под солнцем, которое сейчас светит.

Я смотрю ей в глаза, и нечто волшебное и мощное, словно молниеносная вспышка, спалившая соседнее древо жизни, пронзает нас стрелой безмерного и невероятного восхищения, и мы сливаемся в великом и бесконечном поцелуе, затопляющем нас, точно идущий сплошной водяной стеной искрящийся светом и счастьем оглушительный ливень любви.

— О, как прекрасна ты, возлюбленная моя!.. — шепчу я ей, а она ничего не отвечает мне, только гладит мои щеки и целует и целует меня.

Наконец, я соединяюсь с ней, отдаю ей себя полностью, перестаю существовать, превращаюсь в само солнце, которое сейчас светит, становлюсь деревом жизни, становлюсь всем; а она неслышно произносит: «Любимый», и улыбка озаряет ее прекраснейший лик, и нимб счастья зажигается над нашими переплетенными на ветке телами.

Это был великий день любви, который навсегда останется в моей памяти, что бы со мной ни случилось.

Благодарный всему миру, я возвращаюсь на свою ветку, немного жую листья и, усталый и безмерно радостный, погружаюсь в сон.

Запись четвертая. Сон

Словно сотканный из воздуха и пустоты, я продолжаю висеть на ветке и жевать. Но некая сила начинает давить на мое лицо, сдвигая, выпихивая меня куда-то вовне, вбок, назад. Я не в силах противостоять ей; я соскальзываю с ветки и повисаю в воздухе, лишенный древа жизни, лишенный листьев, лишенный всего.

И тут меня словно берут снизу за спину и резким движением разворачивают лицом к земле. Я не в силах этого выдержать, этой противоестественной позы, этого ужасного положения, но не могу ничего сделать,

потому что словно соткан из воздуха или пустоты. Мерзкая сила подбрасывает меня вверх, будто издеваясь, заставляет лететь куда-то вдаль, в неизведанные мною пространства; а я вынужден смотреть, как внизу подо мной проносится огромная мировая плоскость, на которой происходит все, что угодно, и все это я могу воспринять, почувствовать и увидеть, и все это я должен вобрать в свою душу.

Я вижу проносящиеся равнины, горы, леса, поля, океаны, моря, озера и реки; я вижу бесчисленные множества народов, живущих везде, кишачих в каждой точке этой великой мировой плоскости, которая нескончаема, и мне становится по-настоящему жутко, и безмерный ужас охватывает мой опечаленный дух.

Что они делают, что же они все — все — делают?!..

Они постоянно дерутся для того, чтобы съесть друг друга — или таких же, как они, или любых других. Я ощущаю их стоны, их муки, их предсмертные агонии — все в конце концов сливается в большой кошмарный стон всеобщей скорби. Как я могу им помочь?

Но, кажется, они не хотят, чтобы им помогали. Очевидно, они неразумны; я вижу огромное количество древ жизни с бесчисленным множеством листьев, а они, вместо того, чтобы жить, любить и радоваться, заняты поеданием самих себя.

Но сколько же их!.. Воистину, мир безмерен. Я это всегда предполагал — но чтобы он был столь кошмарен, такого мне и присниться не могло.

Любые формы и интеллекты, любые души и тела, самые разные ступени развития, всевозможные настроения и чувства, и только одна цель — съесть. Съесть любимую, съесть мать, уничтожить, съесть всех существ другого народа, съесть кого угодно.

О, Господи, я не могу этого выносить! Ты оставил меня! Спаси меня! Спаси!!..

И в этот миг отчаянья и последней надежды, в это мгновение крика скорби, исходящего из моей воздушной груди, я увидел сверху свое великое древо жизни и свою ветку, с которой меня так безжалостно содрала неизвестная мне сила познания. Я начинаю снижаться, сила отпускает меня; я, наконец, переворачиваюсь, с облегчением и неописуемым счастьем вновь вижу солнце и небо, и опять оказываюсь на родной ветке, где так много изумрудных листьев, и где царят покой, радость и любовь. Какое-то время я тупо и остолбенело смотрю вверх и вперед, но потом успокаиваюсь, понимая, что все кончилось, что я — в своей реальности, и она никуда от меня не уйдет, и ничто не может измениться, пока есть древо жизни, солнце и листья; я успокаиваюсь и начинаю жевать, жевать, жевать.

Запись пятая. Явь

Происходит что-то совершенно невозможное — древо жизни оскудевает!.. Мой вечный дом от самого рождения, моя колыбель, мой живительный родник постепенно становится голым и старым, какими в конце концов становимся и мы, когда доживаем свою блистательную и полную удивительных приключений жизнь до самого конца.

Все больше и больше моих сородичей перелезают на другие деревья, придется когда-нибудь это сделать и мне, но я боюсь и не хочу!.. Я никогда раньше этого не делал; меня страшит переход, меня пугают новые миры, заключенные в иных деревьях жизни.

Я дожевываю последние листья, перелезаю с ветки на ветку — почти не осталось ничего, и почти не осталось никого!

Как же это так?.. Мой мир рушится, мой рай заканчивается, мой народ иссякает и пропадает в изумрудных кронах неведомых мне других реальностей.

Когда я остался совсем один, я увидел последний листок, грустно сияющий в центре моего древа, где прошла вся моя восхитительная жизнь. Я двигаюсь туда и замираю над ним, как над единственной нитью, связывающей меня с моим родным домом. И тут же съедаю его.

Делать нечего — я ползу вниз. Как ужасен может быть прекрасный и совершенный мир, в котором мы появились, чтобы жить! Как тягостно и грустно в нем иногда бывает!

На земле я совсем потерялся. Я слышу какие-то шорохи, что то мелькает перед моими глазами, что-то прыгает, что-то ползает. Неужели здесь кто-то может обитать?!..

Я вижу огромное, полное изумрудной листвы древо жизни, но до него нужно еще доползти.

И я ползу, ползу, ползу. Путаюсь в каких-то травах, переступаю через чьи-то норы, огибаю ямы и огромные коряги. Как неудобно! Как я опять хочу взглянуть в небо и увидеть солнце, и чтобы не надо было никуда ползти.

Нет, наверное, я переоценил совершенство этого мира. Он слишком беспокоен для меня. То какая-нибудь молниеносная вспышка, то приходится куда-то ползти. Мир несовершенен, но он может стать совершенным, если в нем будет никогда не увядающее древо жизни, и я, вечно висящий на его ветке.

И так я полз, полз и полз и уже потерял чувство времени. Я ощущал, что земля подо мной и жуткое ползание никогда не кончатся. И когда уже отчаялся, я лицом уткнулся в воделенный ствол. Слава Богу!

Лезть было намного легче и намного приятнее, чем ползти, и вскоре я висел на ветке, отдыхая и наслаждаясь обилием листьев нового древа жизни, на которое успели забраться и некоторые мои сородичи, что меня несказанно обрадовало.

Я вволю наелся наивкуснейших листьев и погрузился в сладкий сон.

Запись шестая. Сон

Я смотрю в небо, я смотрю прямо в сияние солнца надо мной. Я воспаряю — мягко, победительно и неотвратимо. Свет солнца затопляет меня. Свет затопляет меня.

Я перехожу в свет, я становлюсь светом, я весь пронизан светом и любовью, словно святым духом, снизошедшим прямо в мою плоть.

И тут Кто-то возникает надо мной, Кто-то великий и безмерный, по чьему образу и подобию я был сотворен.

— Восстань и приди! — звучит в каждой частице моей души Его клич и призыв. Я падаю ниц, я словно сгораю под Его лучами, а над Ним сверкает Абсолютный Несотворенный Свет.

— Кто я?! — умоляюще вопрошаю я. — Как мое имя? Какова моя цель?! В чем мой смысл?

И этот голос славы и торжества отвечает мне, словно пронзая мой дух своим лучом.

— Тебя зовут — Унау, а значит, ты — уникален, ты — высшая из тварей, Мною созданных, ты — венец творения! Твоя жизнь восхитительна, твоя смерть прекрасна, твое бессмертие заключено во Мне и надо Мной!

И, получив ответ, я словно рассыпаюсь на множество мелких солнц и объемлю самым собой всю Вселенную.

Запись седьмая. Явь

Я просыпаюсь в моем блистательном мире, подвешенный на своей ветке, среди сверкающих изумрудов листвы вокруг и солнечного блеска надо мной. Моя жизнь прекрасна, мое древо жизни необъемлемо, словно Вселенная, моя любовь безгранична, мой мир совершенен. Я жую листья и чувствую себя абсолютно счастливым, как только может быть счастливо живое существо, и я знаю свою цель и свой смысл.

И когда ко мне приближается особь другого народа, я дружелюбно улыбаюсь ей и приглашаю на свою

ветку, чтобы она разделила со мной пир листьев и счастье жизни. Она медленно влезает на дерево, осторожно ползет вверх по стволу, хватаясь за ветви, и смотрит на меня снизу умными участливыми глазами. И когда она забирается совсем близко ко мне и к моему миру вокруг, она достает какой-то поблескивающий на солнечном свете предмет и неожиданно втыкает его в мою грудь.

Боль!.. Жуткая боль!!.. Ужасная, нестерпимая, непереносимая боль!!!.. Я задыхаюсь, я умираю...

Что ж, я был слишком счастлив для этого мира. Очевидно, я его недостоин. Или он недостоин меня.

Я начинаю дергаться, хрипеть, исходить судорогами в агонии, пока сознание не оставляет тела, блаженно висящего на ветке, я покидаю его и погружаюсь в мой последний — в мой самый сладостный, самый желанный, самый великий и бесконечный сон: я вхожу в Абсолютный Несотворенный Свет.

*Записи сеансов мыслительной деятельности двупалого ленивца — унау (*Choloerpus dydactylus*), осуществленные от момента его обнаружения до умерщвления, были произведены в естественных условиях в джунглях Северной Бразилии методом направленного радиосканирования больших полушарий головного*

мозга млекопитающего с последующей обработкой информации и переложением ее на общечеловеческий психо язык. Проект осуществлялся по поручению и с одобрения Министерства общей зоологии Институтом зоопсихологии им. Вайнштейна Гну (Сандоз Сити, проспект Бабуинов, 18), руководитель проекта — заведующий кафедрой лингвистического зооанализа профессор К.А.Кедров.

1999

ДНЕВНИК КЛОНА

Фрагменты дневника, найденного в архиве Центральных Подземелий после их взятия доблестной Армией Всенародной борьбы за физиологическое единство, опубликованы впервые в журнале «Я и Я» за январь 22-го года новейшей эры, выходящем повсеместно во всех мирах и территориях, подвластных Единому Двуликому Богу и его Дочери.

Текст подготовили Николаев и Терешков. Цензор Дж.Дж.Яев

1

Я сижу в своей комнате, в которой провел всю жизнь, и одиноко, грустно, весело, радостно и безразлично смотрю прямо в центр белой стены передо мной, рождающей во мне любые цвета, образы и ощущения. Я не знаю, кто я, не помню, сколько мне лет, я не знаю своего имени, своей цели, своего рождения и своей смерти; у меня нет даже номера, у меня нет ничего, но у меня есть «я», лишь это изначальное чувство, и, может быть, в этом и заключено мое преимущество, и именно тут сокрыты мое счастье и мое предназначение.

Сегодня мне разрешили вести дневник, правда, не на родном компьютере, откуда я с детства черпаю знания и представления обо всем, а древнейшим и странным способом: на так называемой пишущей машинке,

причем в одном экземпляре. Мне это не совсем понятно, однако врач сегодня принес ее в мою комнату, показал, как она функционирует и ушел, пожелав удачи, запретив строго-настрого пользоваться для излива мыслей и чувств компьютером, что у меня и так никогда бы не получилось, ибо он заблокирован, закрыт для моего выхода в мир, — я могу только получать с него информацию, и то строго дозированную.

Почему это так? Почему?? Почему? Ответ мне, белая стена. Ответ мне, пустой экран. Наверное, истина внутри меня и смысл слов заключен в Нет, мне нельзя слишком сильно волноваться или на следующей мед-процедуре они меня так успокоят, что долгие дни после этого я буду пребывать в состоянии дебильной, даунно-олигофренической веселости, чего я сейчас почему-то совсем не хочу. Поэтому я пошел спать.

5

Сегодня я сосредоточился, надел виртуальный шлем, браслеты, очки и штаны, подключился к обычной системе и попытался выйти в другие программы, чтобы хотя бы расширить знания об окружающем, которых у меня нет, кроме самых общих: что мы живем в самом блистательном из блистательных государств по имени Земля, что правительство нас кормит и лечит, и что в конце концов мы умрем. Опять-таки, кроме себя и врачей, я никаких других себе подобных не видел. Зачем же их прячут? Или нам нельзя общаться? Но я

же знаю слова, могу говорить, слушать, видеть, нюхать, осязать. Может быть, мы погибнем при соприкосновении или даже при простом лицезрении друг друга, а наши врачи — совсем другие существа? Не знаю, опять не знаю. Попытка выйти в другую программу закончилась столкновением со сложным кодовым заслоном, который трудно разгадать, но я все же попытаюсь — ведь у меня ограниченная лишь смертью запас времени и полное отсутствие любых занятий, кроме медпроцедур и физзарядки, которая мне надоела, но за четким выполнением которой они тщательно следят по своим датчикам.

12

Упорнейше пытаюсь сломать заслон. Гениальный шифр! Но я тоже, как я считаю (или кто то мне это сказал?), не пальцем сделан. Вперед!

34

О, какой день!.. Я... Я сломал заслон!.. Великое чувство какой-то — не могу подобрать нужного слова — свободы, что ли, охватило меня, и я готов погрузиться в водоворот информации, которую от меня скрывали. Или ее нет?.. Сейчас узнаю. Сейчас я все узнаю: кто я, откуда я, куда я иду, и зачем и почему. И вверх и вниз — я сейчас весел, как после успокоительной процедуры, но мудр, как после осмыслительной. И так?!

35

Долго не решался, не хотел, не мог ничего написать. Только сегодня удалось как-то собраться с мыслями, силами, настроениями и чувствами. Итак, я выяснил, кто я, что я, зачем и куда. Это грандиозно и кошмарно.

Я — клон, то есть точная копия такого же меня, который живет во внешнем мире. Я — половинка, я — часть, я — дробь, но я же и целое; все, что есть у него (меня), есть и у меня (него), только я — здесь, а он — там.

Попытаюсь, хотя бы сумбурно, записать то, что узнал.

Клонирование было впервые осуществлено в конце двадцатого века. Некий доктор клонировал какую-то овцу, и принцип стал понятен. Клонирование людей сперва запретили, но подпольно оно вскоре было произведено, а затем и официально. Сперва клонирование было осуществимо только внедрением взятого у младенца ДНК в другую женщину, но затем научились производить клонов в пробирках, так что каждый человек мог получить свое «второе я», которое было младше его на девять месяцев. После жуткого мора, вызванного каким-то разработанным военными вирусом, население планеты резко сократилось, умерли негры, евреи, монголоидная раса — почти вся. И остались одни беловолосые блондины с голубыми глазами.

Вирус в конце концов был побежден, но тут произошло резкое смещение земной оси, вызванное пе-

регруженностью мира добытыми и сконцентрированными в определенных местах Земли тяжелыми металлами. Вследствие этого пригодной для жизни осталась лишь южная половина Северной Америки и северная часть Британских островов. Люди объединились в одно государство — самое блистательное из блистательных. Но их оставалось очень мало. Тут вспомнили про клонирование. Вначале клонов производили в любых количествах (не меньше одного на каждую семью) и рассылали в разные географические точки, так, чтобы они по возможности никогда не могли встретиться. Но это была чисто утопическая идея. Человек вырастал один, понимал, что он — клон, пытался найти самого себя первого, свою семью, и так далее. Случались неприятные встречи, убийства, которые все труднее и труднее было раскрыть, ибо зачастую сами родители, поняв, что вместо их любимого сына живет и действует его клон, убивший того, кого они произвели на свет естественно-половым путем, и незаметно занявший его место, не желали его выдать, боясь потерять хотя бы этого клона. А какая разница, в конце концов?.. Клон и есть он. Часто женщины, недовольные своим браком, разыскивали клонов своих мужей, и либо убегали к ним, либо опять-таки, что случалось гораздо чаще, убивали природнорожденных (их стали называть «натуралы») и припеваючи жили с клонами. Особо ретивые так делали неоднократно, если клонов хватало. Мужчины ни в чем им не уступали. В результате создание новых семей стало большой проблемой, так

как никто этого не хотел и каждый дико за себя боялся, поскольку клонов имели все. Иногда, впрочем, клоны подруживались и создавали коммуны. Имели место и случаи любви к своим клонам, часто обоюдной.

Короче, наступил полный бардак и дурдом. Чаша всеобщего маразма была переполнена, когда вследствие скрытого правительственного заговора кучка высокопоставленных врачей поменяла Президента на его клон. Заговор был раскрыт наблюдательным личным секретарем, обратившим внимание на странные провалы памяти у Президента и его грубые ошибки в биохимии, чего просто не могло быть, так как все знали, что Президент — золотой медалист Университета народных отношений. Ситуация осложнялась и тем, что тогда нельзя было определить никаким анализом, кто клон, а кто — нет. Этим, кстати, и пользовались раскрытые клоны, когда им не удавалось сразу убить своего первого «я», и их неудачный налет превращался в бесконечную драку с самим собой. Иногда приходилось бросать жребий.

Но тут группа врачей под руководством Соколова и Микитова нашла, наконец, способ четкого распознавания, кто есть кто. Наступила так называемая Эра анализов. Было поголовно проверено все население обитаемой Земли. Выявленных при этом клонов хватало и сажали в специальные тюрьмы, реорганизованные затем в резервации, несмотря ни на какие протесты их

близких — натуралов. Порядок временно наступил, но общество превратилось в большой концлагерь, в котором одни сидели пожизненный срок, а другие их пожизненно охраняли. Конечно, это не могло понравиться клонам, и вскоре разразилась война. Война, в которой никто ничего не понимал, где каждый пытался доказать, что он — натурал, либо, наоборот, клон, где каждый пытался убить другого самого себя и остаться в единственном числе, и все в таком духе.

Высокопоставленные врачи, заблокировавшись в спецбункере и отгородившись от жуткой непонятной бойни, конца которой не было видно, опять, в результате длительных опытов, нашли средство. Научная группа под руководством Джейн Пепси и Рональда Кола придумала яд, убивающий только клонов. Этим ядом отравили воду по всей стране; клоны начали немедленно умирать. В результате умерла половина членов правительства и несколько высокопоставленных врачей. Президент, который был в курсе этого проекта, остался жив. На долгие годы наступили кошмар и разруха, трупный запах объял Землю. Потом, через много времен, когда пришло относительное спокойствие, и все ужасы были подзабыты, человечество вернулось к клонированию. Но, памятуя прежние ошибки, решили производить клонов только для трансплантации органов. Ты живешь, живешь, у тебя печень пришла в полную негодность — а вот тебе клоновская, твоя же, но новая. И так со всем. Для этого

клонов вводили в состояние полной комы, либо одевали, чтобы они ничего не соображали и не представляли никакой опасности. Но потом было замечено, что развитие остального организма при полном идиотизме, или коме, происходит замедленно и плохо, и это влияет на столь нужные натуралам сердце, почки, печень, селезенку и так далее.

Тут я, наконец, подхожу к тайне самого себя. Тогда было решено вырастить клонов в закрытых подземельях, совершенно в нормальном, адекватном состоянии, но так, чтобы они никогда не смогли проникнуть за стены своей комнаты и врачебного кабинета; изолировать их друг от друга, дать им минимум информации о мире и о себе, постоянно производить над ними медпроцедуры, следя за здоровьем, ну, а когда понадобится — использовать по назначению. Это, наконец, устроило всех, и наступила Эра всеобщего процветания. Более того, скоро это стало настолько засекречено, что натуралы перестали даже догадываться, что у них где то есть их клоны.

Итак: ни они ничего не знают, ни мы ничего не знаем, все хорошо, все спокойно. И когда, например, моя почка понадобится ему (мне), я не пойму, зачем мне ее вырезали, а он не задумается, откуда она, собственно, взялась.

Вот так, оказывается, обстоят дела.

Изложив все это на печатной машинке, я еще раз это прочувствовал и пережил, и теперь устало иду спать, пока не зная, что делать дальше. Очевидно, я навсегда потерял душевный покой, что, конечно же, будет замечено на медпроцедуре. Лучше бы я не вскрывал этот гениальный компьютерный шифр!.. Лучше бы я, наверное, не родился. Точнее, лучше бы меня (его) не клонировали!

36

Два дня ничего не делал, только лежал и думал. Я не хотел ничего есть, но пришлось, так как отсутствие у меня аппетита было бы подозрительным. Но я до сих пор пребываю в состоянии полной опустошенности, ужаса, протрации. Я — лишь склад новых органов для другого, первого меня. Неужели это справедливо?.. Если нет, то как я смогу дальше жить? Если да, то я этого не понимаю. Может быть, полная история человечества даст мне ответ?.. Я решил получить максимальную информацию обо всем, абсолютно обо всем, и тогда уже сделать окончательные выводы.

44

Все эти дни был погружен в историю древних обществ, в их взгляды на мир. Они в каждом предмете и в себе самом видели Божественное. Я не знаю, что та-

кое Бог, но, может быть, когда-нибудь пойму. Однако информация действует. Весь сегодняшний день ходил по комнате, разговаривая с вещами, с пищей, которую вкушал, отдавая ее часть великим духам, и с моим главным идолом — белой стеной напротив меня. Я и раньше с ней общался, только не понимал, что она такое. Все это меня слегка забавляло; однако мне было трудно понять истинные воззрения древних без знания окружающей их природы, которую я никогда не видел и не увижу. Пришлось заглянуть в современную науку и проштудировать курс общего природоведения, включающий биологию, химию, физику и прочие естественные науки. Само собой, я пользовался ускоренным гипнокурсом — иначе как я успею? Но все это я изучаю только для того, чтобы уразуметь, как именно люди в разные времена понимали смысл своего бытия, это для меня важнее всего. Мне глубоко безразличен, например, просто сам голый факт, что материя состоит из атомов. Для меня в моем положении намного существенней, в чем эти атомы видят смысл своего существования, почему они вообще существуют, в чем их цель, и все в таком духе. Жизнеспособность древних, по-моему, строилась на многообразии жизненных форм и постоянных природных переменах. Я этого лишен; уже через три дня мне наскучили не столь многочисленные предметы, окружающие меня всю жизнь. Пойдем дальше, возможно, я найду ответ. И что такое Бог?

56

Философия, которую я вкратце прошел гипнокурсом, словно расчищает захламленное всевозможными неграмотными рефлексиями пространство перед некоей дверью, но открыть эту дверь не решается и боится. Или не может. Она, как и наука, великий инструмент познания мира, но в моем положении у меня есть только один выход — вперед, в эту самую дверь!!

67

Искусство. Я бы сказал, что искусство, пользуясь одним из сленговых, довольно, однако, точных выражений, это просто кайф. Буду воспринимать его постоянно, что же мне еще остается? Кроме того, в своих высших проявлениях в нем заключены как составляющие его материалы и столь необходимые мне философия и религия. Однако для полноценного восприятия и создания искусства нужно иметь и свою истину, и свою цель, и свой смысл, и своего Бога. Пока я к этому только стремлюсь, поэтому искусство как создание чего-то еще нового в добавление к уже тобой обретенному и существующему в своем совершенном облике мне недоступно. И вообще, оно мне кажется странным по своей сути. Ведь, например, вдруг окажется, что моя бытность здесь, а его моего существование там — это тоже какое-то произведение некоего сумасшедшего художника, кем мне тогда себя ощущать? Или все вообще — творение искусства, произведенное Богом? От этих идей у меня холодеют ноги.

73

Религия обещает все, буквально все, и даже сверх этого. Религия — это и есть связь с Богом. Займусь ею вплотную.

85

Я знаю, как зовут Бога, но это имя нельзя упоминать всуе. Да, все замечательно, просто чудесно, однако я никак не могу быть евреем, поскольку все евреи вымерли во времена страшного вируса, так что мне это, увы, не подходит. А жаль.

94

Я сидел сегодня перед своей белой стеной, смотрел в ее центр, глубоко и медленно дыша, задерживая дыхание, распространяя всю энергию вовне, внутрь, вверх, куда угодно, и Это произошло! Я вошел в нирвану. Я не знаю, стал ли я Буддой, но надеюсь, что приблизился к Бодхисаттвам. Великое блаженство охватило меня, сладостное Божественное Ничто поглотило меня, мои члены испытали воздушную негу и чарующий восторг, и я воистину перестал быть и слился со всем миром, с самим собой — и здесь и там, и стал, наконец, Всем и Ничем одновременно. О, белая стена! О, я! Тат твам аси! Мне кажется, я обрел своего Атмана, а, значит, и смысл.

106

Продолжаю медитировать. Кришнаизм любопытен тем, что он опять привносит раз и навсегда отвергнутую буддизмом оппозицию. Правильно: творение не может быть создано только из себя. Любая религия невозможна без оппозиции, в этом смысле буддизм — вовсе не религия, а просто психотехника. Психотехник вообще было дикое множество, особенно в более поздние времена. Вещь, несомненно, нужная, буду иногда прибегать к ней в минуты грусти и усталости, но, конечно же, я изначально хотел видеть в буддизме совершенно другое. А кришнаизм... Кришнаизм... Ха-ха-ха! Ну что еще можно сказать?

117

Христианство. Христианство — это... Это... Это... Господи, Боже мой! Помилуй мя, грешного!

123

Сегодня всю ночь стоял на коленях и молился. Я понял свой смысл, свое предназначение, свою цель. Великая суть самопожертвования охватила меня, я плакал и бил поклоны. На заре вся моя комната осветилась небесным светом, моя белая стена просто горела Божественным огнем, и тут она будто раскрылась,

словно некий занавес, и Христос с Девой Марией под ручку явился ко мне и изрек: «Войди в мое Царствие не от мира сего!» И благодать осенила меня, я был истинно счастлив. Я хочу войти,пусти меня, Боже, в Твое Царствие не от мира сего, я тоже нахожусь не в том мире, и мое существование не от мира, мне нужно креститься, я должен быть крещен, где священник, где вода, святая вода, где хоть один крещеный, который бы меня крестил, я ведь тоже не от мира, я изначально с Тобой, со всеми вами, но я не могу быть крещен никогда, никогда, никогда... Никогда? Тьфу, что за черт!.. Черт?.. Он ко мне, увы, не имеет отношения, ему нечего мне предложить.

Вот такие бессвязные настроения овладели мной в эту ночь. Что же мне делать? Что?!..

124

Мне все надоело, и дневник тоже. Возвращаюсь, однако, а то скучно. Моя проблема заключалась в том, что я уперся в эти высокие идеи и переживания, а надо было просто жить, наслаждаться, любить. Любить. Вот именно, любить! Что я знаю об этом? Я решил заняться любовью.

135

Женщины — поразительные создания. Я долго изучал их строение в любых конфигурациях, разнообразные лики, облики, лица. Их физиологические отличия от мужчин, к которым я, кстати, как выяснилось, принадлежу, мне показались забавными, психологического я не понял. Между прочим, где мое сексуальное начало? Никогда я его не ощущал биологически. Очевидно, его как-то убирают на медпроцедурах или как-то меня разряжают, что, в общем, хорошо, а то бы я уже давно лез на свою белую стенку. Я составил портрет желаемой мною женщины и тут же в нее влюбился. И я решил писать ей стихи. Любовные послания, которые она никогда не прочтет, поскольку не существует. Впрочем, какая разница?

144

Написал венок сонетов и небольшую поэму. Для этого пришлось изучить гипнокурсом основы стихосложения и поэтическое творчество разных народов. Приступаю к новому произведению, которое напишу и в стихах, и в прозе. Это будет нечто! Жаль, что никто его никогда не прочитает.

156

Все! Конец — меня засекли. Врачи, оказывается, что-то подозревали и поймали мой вход в запретный

для меня компьютерный файл Уильяма Блэйка. Трое из них пришли в мою комнату, чего никогда не бывало, всячески меня просканировали, подключившись к моим компьютерным входам, сняли копию моего дневника для изучения и ушли, сказав, что им нужно посоветоваться, а потом они возьмут меня на медпроцедуру. Они выглядели очень растерянными и даже какими-то испуганными. Но главное — они забрали мои стихи и начатое мною большое произведение обо всем! Это настоящая трагедия. Дали хотя бы закончить. Но я не испытываю никакого отчаяния, я не испытываю ничего, кроме тихой, спокойной радости, ибо все когда-нибудь кончается в этом лучшем из миров, и этот конец всегда очевиден и обязательно наступит; и поэтому я готов ко всему, абсолютно ко всему, ибо именно сейчас я понял то, что так хотел постичь, я знаю смысл, я знаю истину. Она... Она вот в этом мгновении, в этих словах здесь, сейчас, когда я это пишу, и она заключается в одной простой фразе, лежащей в основе всего остального: Я ЕСТЬ.

157

Я был на медпроцедуре, все происходило очень странно. Один из врачей, держа в руках мои стихи, спросил, обращаясь ко мне: «Это действительно вы написали?» Я кивнул и даже улыбнулся — а кто же еще? Он начал показывать их другому врачу, даже зачитывать некоторые строчки, на что тот совершенно серъ-

езно сказал: «Хватит, я вижу, что это гениально». Тут третий врач, помоложе, сказал: «А вообще — что ему известно?» И врач, у которого были стихи, сделался будто печальным и тихо сказал: «Все». После этого они провели мне обычную оздоровительную терапию, отдали все стихи и отвели в мою комнату, объявив, что отныне я могу безбоязненно получать любую информацию, хотя самому проявляться в компьютерной Сети мне запрещено; и пусть я продолжаю работать над своим большим творением, которое их очень заинтересовало, как и мой дневник. Ничего не понимаю.

167

Вовсю работаю над главным трудом жизни. Ура! Сейчас не возникает никаких дурацких вопросов о цели, смысле, и в таком духе. Я испытываю кайф!

173

Я его закончил! Закончил! Этот миг не сравнится ни с чем. Врачи отсняли копию и удалились читать. Кажется, им нравится мое творчество, поскольку, когда они вели меня на очередную процедуру, они смотрели на меня с каким-то пристыженным уважением или почитанием, как нашкодивший маленький ребенок на строгого отца. Впрочем, какая мне разница?

199

(Последняя запись)

Вот и все. Сегодня явились врачи, наверное, все врачи, которые заняты в моем участке Подземелий для клонов, такого количества я еще никогда не видел в своей жизни. И самый почтенный седовласый врач вышел вперед и заявил, что ему очень жаль, и так далее, и тому подобное, что они даже обращались с ходатайством лично к Президенту, но тот не разрешил, чтобы не был создан прецедент, и правильно с моей точки зрения, не разрешил, и завтра они должны меня убить, а мои органы — почти все — пересадить другому мне, то есть ему. Он еще сказал, что я — несомненный гений, и все, что я написал, обязательно будет опубликовано, правда, не так, что это именно я — клон — написал, поскольку официально у нас клонов нет, а как я-он, то есть тот я, или он, который там, в мире. Он, наверное, раз двадцать повторил, как ему жаль, и что он, увы, ничего сделать не может. Тогда я спросил, мол, одну все таки тайну хотя бы сейчас вы могли бы мне открыть: если я такой гений и стал таковым здесь, то кто же он — мое второе я, моя счастливая копия, кому повезло намного больше, и у кого столько возможностей для самораскрытия, которые мне бы и не пригрезились? Тут он выругался, даже, по моему, плюнул, и сказал, что он не делал совершенно ничего всю свою жизнь, а только злоупотреблял спиртными напитками и некоторыми официально запрещенными лекарственными препаратами, и поэтому буквально все его внутренние органы пришли в полную негодность, а стало быть, понадобились мои. Он опять повторил, что ему очень жаль. Он сказал, что если

бы что то зависело лично от него, он бы прибил этого сукина сына — его (меня), а мне бы предоставил буквально все, что только в состоянии дать жизнь. И тут все врачи расступились, и вперед, ко мне, вышел какой-то врач, полностью закутанный в балахон, даже лица было не видно. Он подошел ко мне, и тут балахон раскрылся. И я увидел. Я увидел. Я увидел, что это — женщина, настоящая, живая женщина во плоти, почти с таким же лицом, какой я нарисовал в своем воображении. Она была совершенно обнаженной под своим одеянием. Она подошла ко мне, поцеловала меня в губы и тут же ушла. «Извини, — сказал седой врач. — Это — все, что мы можем для тебя сделать». Они еще раз внимательно на меня посмотрели и тоже все удалились, оставив меня одного в этот мой последний вечер.

Итак, он никем не стал? Ничего не создал? Просто спился, так и не осознав самого себя? Ладно, я дам тебе второй шанс. Я помогу тебе. Я не испытываю сейчас никаких эмоций, никаких страданий, ничего, ничего, ничего. Я не зря прожил свою жизнь. Когда мои произведения будут напечатаны под его именем, когда его признают, это вдохнет в него новую цель. Он станет гением, ибо он уже гений. Просто ему не повезло. Просто так сложилось. Но все всегда можно изменить, и это пробудит его! Это даст ему силы! Он поймет! Он все поймет!!! Он поймет все.

И я улыбаюсь и предвкушаю его величие, признание, любовь, славу. В этом и заключается смысл: ведь, в конце концов, он — это и есть я.

ИЗ ЦИКЛА
**«ДВЕ ТЫСЯЧИ СВЕТОВЫХ
ЛЕТ ОТ ДОМА»**

КАК Я СТАЛ НАРКОМАНОМ

Когда у меня появилась первая мысль о наркотиках, я даже не могу вспомнить. В свое время я читал о них в газетах, естественно, под рубрикой «их нравы» или что-то подобное. Из этой писанины я понял следующее: это нечто запретное, распространенное на Западе среди нехорошей буржуазной молодежи, вызывающее кайф и развратное. Все это меня жутко привлекало, но мне и в голову не приходило, что наркотики можно достать где-то здесь. В разговорах с приятелями они почти никогда не упоминались, но мысль о них у меня где-то подспудно сидела.

Все изменилось после того, как я причитал в «Комсомольской правде» (название-то какое!) статью «Тайна коктейля Джеф». Статья была про то, как наша молодежь (это советская-то, подумать страшно) варит мульку из эфедрина.

Для меня это было тогда так же удивительно, как если бы я узнал, что из аспирина можно сделать героин или что-нибудь подобное. Эфедрин для меня был всего лишь каплями в нос. В те благословенные времена он свободно продавался в аптеках, правда, уже по рецепту и стоил — смешно сказать — 8 копеек за фурик. Кроме того, в статейке упоминались колеса — некие таинственные таблетки, вызывающие кайф.

Меня это все жутко заинтересовало: как же так? советские люди вместо того, чтобы строить коммунизм, торчат, а я об этом только в газетах читаю — явный не порядок. Я стал расспрашивать своих знакомых и через недели две уже знал название колес — мазепам. Еще примерно через неделю я их достал — купил у друга, у которого их пила мать, за два рубля. Сожрал восемь штук, опьянел, через некоторое время протрезвел, но никакого похмелья не было, что мне жутко понравилось. И я стал периодически их доставать. Тогда это считалось круто.

У меня есть друг, в то время у него была баба, которая училась в том же институте, что и я, а у этой бабы была подружка, которая сама любила закинуться колесами, и они у нее почти всегда были. У нее-то я их и доставал. И вот однажды она принесла мне попробовать другие колеса — циклодол, всего один листик — 10 штук. Первый раз я съел три колеса, и, к моему разочарованию, никакого эффекта не было; на следующий день я съел еще четыре, появилось какое-то странное легкое опьянение и больше ничего. Полное говно, решил я. Но оставшиеся три выбрасывать было все же жалко, и я их съел. Я лег на диван и стал читать статью в газете про то, как героические менты на вертолетах, машинах и еще чем-то (хорошо не на танках) отлавливают безоружных сборщиков травы. Я увлекся чтением этой лажи и вдруг заметил, что появилось какое-то необъяснимое удовольствие, по телу проходят

волны кайфа, цвета стали ярче. Я лежал и охуевал от этого, я не испытывал ничего подобного раньше (не могу этого объяснить, но и потом тоже, даже сейчас от героина), потом я пошел погулять и еще долго находился под впечатлением от пережитого состояния.

Так я впервые поймал настоящий кайф, сложно поверить, от сраного циклодола. Потом я еще несколько раз доставал циклуху. Мазепам и ему подобное интелесовали меня теперь мало.

Однажды я копался у одного дружка в аптеке в поисках колес и обнаружил фурик с надписью «эфедрина ГИДРОХЛОРИД 3%». Я знал что из эфедрина можно варить мульку, но это какой-то гидрохлорид, да и как это делать, я не знал. Я попытался его забрать, но дружок, гад такой, назначил за него цену — червонец. Я стал торговаться, и в результате мы сошлись на том, что я когда-нибудь достану колес и угощу его (до сих пор достаю).

Но у меня не было баяна, и я не знал, как готовить.

Однажды после успешной сдачи экзамена я шел из института и решил зайти в аптеку в студгородке, я слышал, что одноразовые баяны можно купить без рецепта.

Я зашел в аптеку и спросил:

— У вас есть одноразовые шприцы?

— Нет.

— А стеклянные только по рецепту?

— Только по рецепту.

Я уже собрался уходить, но вдруг меня осенило.

— Понимаете, — сказал я, — мне подарили парковскую ручку с золотым пером, — с этими словами я с понтом полез во внутренний карман – будто там правда что-то лежало, — а она с чернильными баллончиками, наши баллончики к ней не подходят, а родные кончились и заправить их негде.

Пурга, которую я промел, вроде начинала действовать.

— А что, пипеткой нельзя заправить?— сделала рожу чекиста, спросила аптекарша.

— Нельзя, она не пролезает в горлышко,— ответил я.

— А вам какой шприц?— все еще с недоверием глядя на меня спросила аптекарша.

— Да какая разница, любой!— стараясь сделать максимально невинную морду, ответил я.

— Ну ладно, выбивайте.

Так я купил свой первый баян.

Баба моего друга, о которой я упоминал, в свое время год сидела на мульке, потом завязала и стала ярой противницей торчания, но больше узнать технологию варки было не у кого. Однажды она попросила меня принести ей для какой-то ее подружки бланки допусков, потому что у той начинались проблемы из-за прогулов.

Я ей пообещал, но когда принес, сказал:

— Услуга за услугу — ты мне рассказываешь, как варить, и допуски твои.

После недолгого препирания ей все-таки пришлось рассказать.

Оставалось только найти — с кем.

Я предложил одному своему однокласснику и соседу, и он на удивление сразу же согласился.

Мы пришли ко мне, и я стал варить. Уколов я тогда боялся дико. Один вид баяна да еще с толстой иглой приводил меня в ужас, как орудие пытки. Кроме того, осознание, что то, что я нахимичил, сейчас пойдет мне напрямую в кровь и это нельзя будет даже выbleвать, настроения явно не поднимало. Если бы я был один, я бы пересрал, но мне было стыдно перед другом, и отступать было некуда.

Я отдал ему ключи от квартиры, выключил на всякий случай телефон, и сказал:

— Если со мной что-нибудь случится, забирай баян и съезжай. Никакую «скорую помощь» не вызывай.

Я закатал рукав, надел перетяжку и отвернулся. Вначале я почувствовал резкую боль от иглы, потом заметил, что что-то стало меняться, потом почувствовал, что будто на голове появился какой-то обруч. И я закрыл глаза.

Друг вынул иглу и прижал место укола ваткой. Я сидел молча.

— Тебе плохо?— спросил дружбан.

— Нет, мне хорошо, меня прет!— почти заорал я.

Было 9 марта 1987 года. Так я впервые вмазался.

Кстати, несмотря на то, что мультка понравилась моему дружбану, он больше никогда не вмазывался.

Второй раз я вмазался мульткой через некоторое время после первого раза. Постоянного канала на эфедрин у меня не было. Я снял бабу в «Молоке» и познакомил с ее подружкой одного своего дружбана. Эта баба работала медсестрой, и мы попросили ее достать эфедрин в ампулах. Она отнеслась к этому отрицательно, но сказа-

ла только одно: «Зря ты этим занимаешься», и посмотрела на меня с сожалением. Тогда впервые я испытал чувство стеснения от того, что торчу.

Но больше всего удивил меня дружок.

Я начал варить, а он сказал странную фразу, которой я не придал значения:

— Когда вмажемся, у меня будет к тебе предложение.

Я не стал его расспрашивать, но когда мы вмазались, то, что он сказал, подействовало на меня, как удар дубиной по голове. Виляя вокруг да около, он предложил отсосать у меня хуй! Человек, которого я считал своим корефаном! Самое главное, что перед этим я дал ему слово, что никому не расскажу о том, что он меня попросит. Слово я сдержал, но кайф был испорчен, и я лишился корефана. После этого я его в вежливой форме отписал на хуй, а ведь был парень, как парень. С виду нормальный, ходил по бабам, был даже женат. Бывает же такое говно. Хотя мультка снимает многие барьеры и человек раскрывается, как он есть.

После этого я несколько раз закидывался циклой, но про это ничего особо интересного рассказать не могу.

Была весна 1987 года, и впереди маячило нечто чудовищное и неотвратимое — армия. Перспектива от-

сидеть два года совершенно ни за что меня просто убивала. Попасть в рабство для меня, человека, для которого свобода дороже своего на свете, было просто невыносимо. Эта жуткая мысль не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Внешне я пытался храбриться. Может быть, у меня это и получалось, но все время хотелось хоть чем-то заглушить кошмар. Я доставал транки и жрал их пачками. Немного это помогало, и я решил взять с собой в проклятые вооруженные силы хоть немного колес. Я расклеил помазок, набил его транками, и так провез в армию.

Долгое время сожрать их не удавалось — абсолютно не было времени. Но вот в курсантской роте мне удалось попасть в число отчисленцев, для чего приходилось все время включать дурака, и я как-то остался один. Я вскрыл помазок и сожрал половину содержимого, а вторую половину пересыпал в карман. Закосел я быстро. Впервые за несколько недель в армии я почувствовал себя свободным. Мне стало все глубоко похую. Это чудесное ощущение освобождения я помню до сих пор.

И я решил пойти в чипок. Причем пошел я напрямую через плац, где и был немедленно отловлен и доставлен в роту. Сержант — сука стал меня допрашивать, а я ему сильно заплетающимся языком отвечал, что все ништяк, причем, по-моему, дословно. Он заставил меня отжиматься, чего я, конечно, не мог. Тогда он все понял окончательно и потащил меня в санчасть.

Как я это смог сделать, я и сейчас с трудом понимаю, но мне удалось сбросить в урну колеса, которые были у меня в кармане.

Меня привели в санчасть, врач начал задавать несуразные вопросы, что со мной происходит, и заставил показать руки, на что я растянув лыбу до ушей, сказал:

— Да центряки, как у младенца.

Самое интересное, что мне за это ничего серьезно не было, наверное, из-за того, что меня уже перевели в роту отчисленцев.

Не буду описывать жизнь в роте отчисленцев — пишу я все-таки не об армии... Но получилось так, что у меня дико нарвал палец и меня положили в санчасть. И в санчасти в процедурном кабинете я увидел 20-кубовый фурик с эфедрином. Я его попытался спиздить, но не удалось, чуть сам не спалился.

Как-то случайно я увидел, что его перенесли в приемную. Когда запахивали на работы, я не стал ныкать, как обычно, а сам как бы случайно попал разбирать какие-то карточки в приемную. Там-то я его, родимого, и увидел. Когда несколько человек вышли, я незаметно переложил его в свой ящик. Я выбрал момент, когда кусяра, который сидел с нами и всех пас, отвернулся, и переложил фурик в карман. Потом вышел якобы в туалет и сныкал фурик в сливном патрубке

унитазного бачка, чтобы, если бы начали искать, фурика не было рядом со мной. С меня и одного палева хватило. Но искать его никто не начал.

Когда я выписался из санчасти, без труда забрал с собой фурик. И, как пришел, рассказал об этом проверенному человеку — Виньке. Тогда у меня и мысли не было, что удастся двинуться, я надеялся просто выпить.

Винька взял в долю каптера Мазура, который заныкал фурик в каптерке, и еще пришлось взять в долю Скляра, который, как потом выяснилось, на воле сидел на маке. Главное то, что набравшаяся шобла зазря на хвоста не падала, они достали все: и уксус, и марганцовку, и, самое главное — баян, и нашли место, где сварить и вмазаться — в сушилке, которая на ночь опечатывалась, но ее удалось опечатать так, что можно было открыть, не срывая печать.

Не буду описывать, сколько было принято мер предосторожности, кто был в армии, меня поймет; но — мы вмазались! Что такое мулечный приход, да еще один из первых, словами не опишешь. Но что такое вмазка в армии! Не знаю, с чем и сравнить, но, наверное, это как из ада на час вырваться в рай. На непередаваемое чувство перева накладывалась радость от того, что удалось наебать всех этих проклятых козлов, которые отравляли нам жизнь и все время следили за тем, чтобы служба не казалась медом.

Больше в армии приторчать не удалось.

Но вот я вышел на волю. После двух лет, вырванных из жизни неволей армии, хотелось одного — добрать радости жизни, которых я был лишен во время проклятой отсидки в армии, и я начал активные поиски.

Из кайфов я к тому времени был знаком только с циклухой и мулькой. Подделывать рецепты я тогда толком не умел, но начал пытаться.

Основным способом поиска было доставание через знакомых. У одного из них я дома обнаружил эфедрин, но он был ярким противником торчания и категорически не хотел мне его дать. Однажды я нашел зажигалку, и мне удалось развести его на жадность и обменять зажигалку на эфедрин.

Тогда около 21-го дома была тусовка дембелей моего призыва и просто местных ребят. С одним из них я и закорешился на почве торчания, и мы вмазали мульку из моего эфедрина. Так началось наше корефанство.

Однажды ему удалось достать рецепт на циклодол. Жутко стремясь, мы ходили с ним по аптекам, во многих циклодола не было, а может быть, нам его просто не давали, но все-таки мы его купили! И где! В главной аптеке города, в Первой! Кто в то время мог подумать, что всего через несколько лет около нее будет настоящий наркорынок...

Через некоторое время я научился смывать чернила с рецептов, а наш участковый врач все время выписывал рецепты чернильной ручкой. И понеслась пизда по кочкам! Мы с корефаном стали регулярно косить, вызывать врача, он выписывал нам рецепты, я их поддельвал и мы брали по ним циклуху.

Вначале все было нормально, но потом стали расти дозы, появились отходняки, и я привык к кайфу. А циклуха — гадость ужасная. Она расшатывает нервы, вызывает бессонницу, пропадает аппетит. Днем нажирался по полной программе — штук восемь, а то и целый пласт (10 шт.), вечером хотелось догнаться и хотелось очень сильно. Потом ложился спать, но сон не брал, и приходилось есть еще парочку, чтобы заснуть. Утром просыпался с сильным отходняком, и, чтобы его сбить, приходилось съедать еще. Днем в институте начинался невозможный сушняк и тошнота. Чтобы пообедать, нужно было сожрать еще, а когда приезжал домой, опять нажирался по полной программе — круг замыкался.

Все это мне жутко надоедало и хотелось завязать. Я держался некоторое время, отходняк проходил и опять хотелось этого чертового кайфа. Я смотрел на поблескивающий красными буквами пласт и все начиналось по новой.

Баловство кончилось, это было уже настоящее торчание.

На мое счастье завод по производству циклухи временно встал и ее начали отпускать по номерным рецептам, которые почти невозможно было достать. Чуть ли не полугодовая циклодольная эпопея закончилась.

Желание словить кайф ослабло, но не пропало совсем. Один мой знакомый периодически курил траву, но прямого выхода на нее у него не было. Я часто просил его принести мне попробовать «настоящий» наркотик. И вот однажды мне принесли попробовать.

Первые несколько тяг не принесли никаких ощущений, но последняя вдруг накрыла. Я почувствовал себя неожиданно опьяневшим, все стало каким-то необычным, и я испытал кайф, сильнейший кайф! Травы мне однозначно понравилась.

Выход на хеш я нашел довольно быстро, но каравль тогда стоил 25 рублей, а стипендия у меня — 55 рублей, так что торчать было очень дорого. Но удалось найти выход на мелкий опт — по 150 за стакан, а в стакане 10 кораблей. Без проблем я стал приторговывать, проблемы с наличием травы отпали сами собой, еще и деньги иногда оставались.

Скоро я стал заниматься укрепкой, за вечер удавалось заработать по 300-400 рублей, так что хеш стоил для меня смешные деньги, и его было у меня завались.

Жизнь шла веселая: деньги были, и не мало, была подруга, постоянные тусовки, и трава была очень кстати.

КАК Я ЛЕЖАЛ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Земную жизнь пройдя до половины, я обнаружил, что со мной случилось самое страшное, что может произойти с человеком: я превратился в опийного наркомана. Начавшись как несерьезное, приятное, забавное занятие, это увлечение постепенно и как-то подспудно захватило все мое бытие, уже почти заменив собой и творчество, и любовь, и изначальную радость чувствования реального вещного мира, и честолюбивое стремление состояться, которое и движет нормального человека вперед — к триумфу, путешествиям и наслаждению собственной значимостью.

Как же так получилось? Впрочем, все равно — надо было думать о том, как выбраться из сладкого ада моей новой уже почти сформировавшейся действительности и вернуться в многообразную человеческую реальность, которая не сводится к бесконечной *чередѣ кайфа—счастья—радужного умиротворения и ужаса—нетерпения—темного кошмара*, что неотвратимой расплатой, словно Дамоклов меч, висит над каждым наркоманом.

Попробовав для начала переломаться на сухую, сутки проведя на диком кумаре в ужасном полубессознательном состоянии, я убедился, что моя нынешняя

доза и стаж (три года) уже не позволяют просто так взять и бросить, перемучившись.

И вот очередным безрадостным утром, вмазавшись ампулой нормина, чтобы иметь возможность шевелить конечностями и передвигаться в пространстве, я доехал до больницы № 13, принадлежащей Центру наркологии, и через какое-то время, занятое оформлением различных бумаг, стал ее пациентом.

Итак, больница... Настоящий мужчина должен хотя бы раз в жизни переболеть триппером, настоящий наркоман — хотя бы раз отлежать в наркологической больнице, чтобы испытать это на себе.

Унылая, закрытая от внешнего мира, как тюрьма, обитель последней надежды на прошлую «нормальную жизнь»; пристанище обессилевших приверженцев химического решения своих душевных проблем; скорбный приют разуверившихся в собственных силах несчастных больных существ, которые сами себе выбрали болезнь и ад, но до сих пор мечтают о счастье и о кратковременном рае; «маковый корпус»; сборище печальных революционеров плоти и духа, добившихся в результате своего восстания против природы лишь добавления к обязательной для каждого человека необходимости есть, пить и дышать еще одной все перекрывающей страсти, неудовлетворение которой теперь равносильно медленной мучительной гибели; дом вождя возрождения, которое на самом-то

деле ненавидишь всем сердцем и втайне совершенно не желаешь.

Вообще-то основной контингент лечащихся составляли алкоголики, а нас — рыцарей Шприца — было четыре-пять человек. Один был винтовой (винт — самодельный первитин), другой, по официальной версии, лечился от ЛСД, а на самом деле просто отмазывался от милиции, которая нашла у него питерскую «кислоту».

От алкоголиков исходило тяжелое, какое-то затхлое биополе, которое создавало во всем больничном отделении атмосферу устойчивого невроза и несчастья; наркоманы же — мои коллеги и товарищи — были более легкими и веселыми, поскольку длительные и неотвратимые ломки, видимо, мощно закалили их дух и организм.

Врач вызвал меня и долго вносил в компьютер мою жизнь, потом сказал, успокоив:

— На ночь вам сделают два укола, один — для сна и другой — чтобы вас не ломало.

— Норфин? Марадол? — поинтересовался я.

— Нет, норфин у нас больше не употребляют, он снимает ломку, но на него подсаживаешься, ведь он — наркотик.

Я грустно потупил взор, потом спросил:

— Как же вы лечите?

— Трамалом.

— Да он же ничего не снимает!

— Снимает. Весь вопрос в дозе. Вот наша схема, мы никаких тайн не делаем: три капсулы трамала четыре раза в день вместе с двумя феназепами, на ночь два реладорма, и еще первые три дня колем реланиум. Через десять дней ломка проходит, и мы снимаем бессоницу и тягу, даем антидепрессанты. Вам, наверное, я назначу капельницы с мелипрамином, чтобы быстрее восстановилась выработка организмом эндорфинов — ваших собственных опиатов, недостаток которых и приводит к ломке и депрессии. Так они будут восстанавливаться от трех месяцев до года, а с антидепрессантами — быстрее. Уяснили?

— Да, — уже веселее ответил я.

— Вы, вообще, хотите бросить? Потому что мы только помогаем, а если человек не хочет, его никак не вылечишь.

— Я о-о-очень хочу бросить! — воскликнул я.

— Врете, — убежденно сказал врач.

— Почему?

— А наркоман всегда врет. Когда наркоман говорит «здравствуйте», он уже врет.

Потекли больничные дни, заполненные скудной едой, процедурами и таблетками.

Первое время я полусонно лежал, напичканный успокоителями, будучи, как это называлось на местном жаргоне, обмороженным, и в самом деле почти не чувствовал ломки: все-таки современная медицина может ее снять, может, если хочет, — зачем же я раньше столько страдал?!

Наконец-то в этой больнице, в моем нынешнем состоянии я *ощущал неведомую доселе гармонию, чувство абсолютной правильности происходящего, истинного соответствия моего положения моему местонахождению*: я не гад, не поддонок, не порочный отброс общества, а больной, и меня лечат. Я испытывал некое скучное счастье, блаженный покой, сменивший напряженный наркоманский образ жизни, полный своеобразной романтики, веселых удач, радостных утренних восходов и приходов и нищенского отчаяния, когда весь мир вокруг тебя умер, а ты знаешь единственный способ его воскресить, но не можешь им воспользоваться и тупо лежишь в постели, отсчитывая часы ужаса и мрака.

— Вмазаться хочу — готов биться головой о стену! — в первый же день заявил мне наркоман из Тюмени.

Потом он рассказал мне, что у них сторчался весь город — наркотики валяются чуть ли не под ногами, и он сбежал в Москву, чтобы как-то избавиться от вечного кошмара сибирской жизни.

— Ты ничего с собой не принес? Хоть что-нибудь — колеса, трава?

— Нет, — недоуменно ответил тогда я. — Я же пришел сюда лечиться! Здесь же обыскивают.

— Ну и что? — сокрушенно сказал он. — Ладно... Десять дней полежишь тут — увидишь!

Меня продолжали обмораживать, что мне очень нравилось, поскольку я не чувствовал не только ничего плохого, но и вообще практически ничего, только сонливость.

Через десять дней ломка, очевидно, закончилась, но меня продолжали накачивать лекарствами и стали давать уже какие-то возбуждающие средства, так что я немного воспрял.

Однажды вечером я, словно лев в тесной клетке, ходил по длинному больничному коридору, не понимая, что происходит, и вдруг осознал, что если я сей-

час же не вмажусь, то просто умру, — случился какой-то бешеный приступ этой самой тяги, про которую мне буквально каждый день ездил по ушам врач — грустный от того, что не сможет с нами ничего сделать, заставить завязать, и даже, по-моему, в чем-то завидующий нам, тем, кто в отличие от него, знает не из книг этот кайф.

Я бросился к дежурному врачу буквально с криком:

— Сделайте со мной что-нибудь! Я хочу наркотик!

Внезапно все блага мира перед моим взором перестали чего-то стоить по сравнению с наполненным шприцем и знанием, что ты можешь сейчас вмазаться! Это было наистраннейшим ощущением.

— Ну и влип же я! По самые уши! Что делать?

— Хорошо, что вы пришли, — сказал врач.

Мне сделали какой-то укол в задницу — я успокоился и заснул.

Лечение продолжалось, мне начали ставить капельницы, от которых я сперва засыпал, а потом испытывал безудержное возбуждение и желание жить, хотя чувствовал себя при этом безмозглым бараном. *Так они снимали тягу, отбивая все желания.*

А алкоголики вокруг были жутко печальны, им предстояла эспераль, и они, кажется, готовы были сделать все, что угодно, за небольшой стаканчик пива или водки.

— Вот приду домой, напьюсь, — говорил я им в курилке. — А что? Выпить-то мне можно. Я же наркоман!

Они смотрели на меня с плохо скрываемой завистью и непониманием. Для алкоголика, как и вообще для всякого обычного человека, существует только три состояния: пьяный, трезвый, похмелье. А у нас! Какое раздолье и разнообразие! Приходы от опиума, кокаина, винта, таска, кумары, психологическое расширенное сознание, миры гашиша, марихуаны, отходняки... Воистину, наркомания — вещь намного более крутая, чем какой-то алкоголизм, поэтому *мы ходили по больнице, гордо подняв голову и втайне презирая пьяниц*, которые сами не могут справиться с эдакой ерундой, как этиловый спирт!.. А они грустно злились и, по-моему, всерьез задумывались о правильности избранного ими пожизненного удовольствия.

В конце концов меня вызвал доктор и сделал выговор за то, что я разлагаю отделение и всячески смущаю алкоголиков. Я обещал, что больше не буду.

— Хотите, я вас закодирую? — спросил он. — Или есть такие таблетки — налтрексон: утром принима-

ешь, и опиум на тебя не подействует, если ты его в этот день употребишь, так что колоться нет никакого смысла. И ты не колешься!

— Я сам справлюсь!

Как же я был самонадеян!

Однажды устроили лекцию о наркомании, которую читал старый врач с бритой головой и завораживающим взглядом талантливого психотерапевта.

— Вам нужно садиться в тюрьму на два года или уходить в монастырь. Изоляция нужна, по-другому не бросить, уж я-то знаю — я лечу наркоманов с шестидесятых годов.

— Как же так! — возмутился я на его печальное заявление. — А просто дома?

— *Один процент*, — безжалостно отрезал мягко улыбающийся врач.

Мы постоянно пили чифир — единственное развлечение, которое в сочетании с выдаваемым нам реладормом давало вполне конкретный кайф, и втайне играли в запрещенные здесь карты.

Однажды я проснулся рано утром после кошмарного сна: я нахожусь дома и сейчас проснусь без денег,

на кумаре. Но я открыл глаза — вокруг была больница, все было нормально, и один веселый парень, который в обычной жизни любил выпивать бутылку водки, а потом вкалывать себе двенадцать ампул реланиума в вену, из-за чего его организм пришел в полную негодность, протянул мне прямо в постель чашечку чифира. Это было восхитительно!

О, неистовая жажда измененных состояний! Ты неистребима. Что можно сделать с тобой?!..

Так все и продолжалось. Таблетки, чифир, зашивающиеся алкоголики, настойчивые беседы врача и безумное желание вмазаться, достигшее каких-то вселенских масштабов. *Я все больше баранел от антидепрессантов, и меня постепенно затопляла чудовищная тоска.* В принципе, тут оставалось только лежать на кровати и смотреть в потолок. Я мог выйти в любой момент, но мне было страшно.

— Когда же вы меня выпишете? — спросил я как-то доктора. — Я уже переломался. Дальше все от меня зависит! А здесь мне дико тоскливо и скучно — стены давят...

— Чем больше лежит наркоман — тем лучше, — ответил доктор. — Все вы говорите, что в больнице стены давят, а выпишешь вас — так на вас и дома стены давят!

В наше отделение поступила юная девушка, которая торчала вместе с мужем — они решили лечиться в разных больницах. Также поступил совершенно деградировавший тип с распухшими руками и мутным взглядом. У него совсем не осталось вен, только в паху, куда он и кололся. И еще поступил совершенно обалдевающий от предстоящей ему больничной жизни без кайфа молодой кавказец, весь в шрамах, отвечавший на вопрос, откуда у него личный «Мерседес», на котором он сюда и приехал: «Воровать надо уметь».

Юная девушка положила глаз на веселого парня-реланиумиста и в первый же вечер отдалась ему в его палате, где, кроме него, лежал только совершенно свихнувшийся алкоголик Петрович, который каждое утро кричал медсестрам и врачам, что ему надо немедленно ехать на хутор и машина уже ждет внизу.

Реланиумист подошел ко мне ночью и попросил:

— Дай сигарету, а то этот секс уже достал!

— А что, ты ее все-таки трахнул? — недоверчиво спросил я.

— Да... Ей просто скучно... Но я сам офигел — отдается мне и говорит, что дико соскучилась по мужу... Вот как.

Я совершенно обалдел от тоски и антидепрессантов. И еще безумно хотелось вмазаться — хотя бы раз.

«Один раз же можно, — говорил я себе. — Один раз — не пидарас. С одного раза не кумарит! Приду, вмажусь — и все, больше не буду».

Мысль о том, что я испытаю, по крайней мере, один приход, грела меня, словно ласковое пуховое одеяло в холодную зимнюю ночь. Я ходил туда-сюда по длинному полутемному больничному коридору и все время представлял, как куплю грамм опиума, приду домой, не спеша приготовлю, выберу раствор в шприц, вколю его в вену, возьму контроль и... А потом уже начну жить нормальной трезвой жизнью. Но сперва...

Сколько уже повыгоняли из этой больницы! Два алкаша нашли деньги, дали их третьему, который на улицу выносил по вечерам мусор, тот купил бутылку водки в ларьке, принес в отделение... тут же был обыскан милиционером, постоянно дежурившим на первом этаже, и уличен. Несмотря на его пожилой возраст и слезные просьбы, его выписали на следующее утро. Толстый наркоман с бритой головой, весь в татуировках, тоже исхитрился достать водку (хотелось уже чего угодно!) и опять-таки был застукан и изгнан. Через день он пришел за вещами и сообщил, что едет реставрировать какой-то подмосковный храм с коммуной бывших наркоманов. Он не хотел опять начинать!

Тип, который кололся в пах, сдружился с кавказцем, которому было так плохо на ломках, что его абсолютно закололи галоперидолом — он все время лежал в палате, как труп, и выходил иногда покурить, еле переставляя ноги, а изо рта его капала слюна, как у дебила; они вдвоем все время пытались вышустрить опиум, названивая друзьям, чтобы те подвезли, но пока не получалось.

Я же вел себя исключительно дисциплинированно и все время сообщал доктору, что мне уже давно пора домой, торчать я не собираюсь и тяги у меня нет, а здесь я схожу с ума от скуки и безделья.

«Зачем вмазываться здесь? — спрашивал я себя, наблюдая кавказца и его друга. — Это же просто какой-то маразм, а не удовольствие! Вот я выйду и... тогда оторвусь!»

Я так замучил доктора просьбами о выписке, что он решил отпустить меня.

— Вообще-то ты еще недопечен, но раз ты так настойчиво просишь... Последний раз спрашиваю: кодироваться будешь?

— Нет!

— Налтрексон?

— Нет-нет.

— Ладно, — вдруг улыбнулся он. — Если ты так уверен в собственных силах, может быть, ты действительно бросишь... Может, у тебя и получится. Выпишу тебя завтра. Но нужно будет пить лекарства еще три месяца, приходите ко мне...

— Конечно, конечно, — заверил я, а про себя подумал: «Ничего-то ты не понимаешь в наркомании, дорогой мой нарколог... Хотя стараешься. Ну как можно вытащить человека из целого мира, именуемого «Опиум», самому не проведя в нем ни секунды! К сожалению, тут ничего не объяснишь. К примеру, такое, казалось бы, наипростейшее понятие — эйфория. Испытай ее, и, клянусь, для тебя не будет уже все так однозначно, как раньше, когда ты изучал по учебнику «действие морфина» и «абстинентный синдром»! Но лучше, конечно, ничего этого вообще не знать — не пробовать ни разу. Потому что это в самом деле страшная вещь, и она способна подчинить себе любого! Я не знаю, кем нужно быть, чтобы освободиться от нее, познав ее в полной мере!»

«А я?!» — горестно подумал я про себя, но вслух сказал врачу:

— Спасибо, доктор, я сделаю все, что вы скажете... Я больше не хочу.

Доктор был доволен. Наркоман всегда врет, даже когда говорит «здравствуйте».

На следующий день кавказец договорился, и ему подвезли два грамма. Его друг с одними паховыми венами совершенно в наглуую ходил по всем палатам и спрашивал нитку. Он нашел ее у юной легкомысленной девушки, скучающей по мужу. Потом прямо при медсестрах растягивал ее вдоль, измеряя длину.

Они втащили опиум и ангидрид через окно и заперлись втроем в туалете, так что вскоре врачи заметили, что они пропали. Дежурная медсестра заходила во все палаты, спускалась вниз, несколько раз дергала дверь туалета, откуда девушка отвечала оскорбленным тоном: «Здесь я!»

Наконец они все-таки сварили и там же вмазались. Когда они появились в отделении, врачи все сразу поняли, завели девушку в кабинет, и та всех застучала.

Когда я зашел в палату, она сидела почему-то на моей кровати и плакала, а над ней стоял мягко и ехидно улыбающийся бритоголовый врач.

— Не выгоняйте меня! — ныла она. — Простите! Я больше не буду, я... Я не смогла удержаться, я не хотела, но как увидела раствор... Не могу-у-у! Не выгоняйте меня, пожалуйста!

— Да... — улыбнулся бритоголовый врач. — Вот что значит не знать современной фармакологии! Ладно, кайфуй пока, сорок минут у тебя есть...

— А что потом? — со страхом спросила девушка.

— Налоксончику, ну и...

— Не надо! Не надо! — зарыдала девушка.

Я вышел из палаты, почему-то злорадно посмеиваясь, и пошел к телефону. Один звонок — все нормально, меня ждали, и меня все ждало.

В коридоре кавказец и его дружок самыми последними словами поливали девушку.

— Сука! Мы ей все сделали, чтобы ей хорошо было, а она, падла, всех заложила, гнида!

Вскоре девушку потащили в процедурный кабинет, где вкатили что-то такое, от чего ее дико затрясло и вообще стало жутко плохо. Она продолжала рыдать, а ее подельников выписали.

Я попрощался с врачом, взял лекарства на первое время, спустился по лестнице и вышел на улицу.

Ровно месяц я провел в больнице — теперь я настоящий наркоман, я имел этот опыт, и сейчас он закончен.

«Один раз — не пидарас, — сказал я самому себе. — С одного раза не кумарит. И вообще я так мечтал хотя бы об одном приходе все это время! Но больше торчать я, конечно же, не буду — не хочу! Ну, может

быть, раз в месяц... Нет, нельзя! Вот сейчас только сделаю один раз, последний... И все».

Я шел по улице, меня совершенно не ломало, не кумарило, и только нервная дрожь от антидепрессантов заставляла тело вибрировать в такт сладким предвкушениям, охватывавшим полностью все мое существо.

Я сразу же поехал к человеку, которому звонил.

Через неделю я проснулся и понял, что пришел в исходное, добольничное, состояние. Конечно же, за одним разом последовал второй (доза села, но ведь не выбрасывать же!), потом — третий (Бог троицу любит) и т.д. Лекарства я бросил пить в тот же день, как вышел, — надоело чувствовать себя бараном.

Я ощутил жуткое отчаяние — что же мне делать?! Садиться в тюрьму? Уходить в монастырь? Войти в один процент? Но как?..

— Все! — решительно произнес я вслух. — С завтрашнего дня буду ломаться! Схему я теперь знаю: три трамала, два феназепама, два реладорма на ночь... И никакой больницы не надо! А сейчас... Последний раз перед окончательной переломкой...

И я сладко улыбнулся, дрожа от начинающегося кумара, вспомнив, что у меня в холодильнике лежит грамм опиума.

КАК Я ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ НАРКОМАНИИ

Раздвинет опиум границы сновиденья...

Шарль Бодлер

Наркомания, куда ты привела нас?!.. Великая нега твоего благородного блаженства, обволакивающая сладостным облаком счастья существа и миры, обернулась колючим прозябанием еле теплящего остатка бытия трухлявого праха, в который неизменно превращается тот несчастный индивид, который полностью отдался соблазну твоих немислимых ласк. За все, по-настоящему запретное и неуязвимое в самом своем принципе, приходится по-настоящему и полностью заплатить — всем, что осталось по ту сторону; мир призрачной любви не приемлет компромиссов. Только выжившие хоть как-то могут использовать этот страшный опыт. Но как же выжить и пробить стену сладкого тумана, абсолютно отрезавшего тебя от истинной энергии и реальных миров?.. Чем дальше, тем невозможнее.

И вот, придя в кондицию характерного наркоалчущего скелета, полностью отъехавшего «за две тысячи световых лет от дома», я понял, что оказался перед окончательным и решающим выбором. Надо было

определился: быть наркоманом — но тогда уже быть и навсегда оставаться именно *наркоманом*, без каких бы то ни было иных занятий, планов на будущее и прочую неожиданную жизнь, либо же *наркоманом* не быть, то есть окончательно и бесповоротно бросить. Я думаю, что все, кому пришлось в жизни испытать брачные узы опийного кайфа, приходят к такой, почти незримой, но отчетливой черте, когда возможно лишь два пути: или продолжать и укреплять зависимость, без которой немыслимо твое нынешнее существование, или затевать долгий, мучительный бракоразводный процесс, заранее обреченный на провал в девяносто девяти случаях из ста.

Я все же решил бросить. Однажды я сказал моему наркоманскому другу, впоследствии трагически погибшему в состоянии сильной ломки:

— Вот, я брошу, переломаюсь, все вытерплю, и мне будет хорошо...

— Нет, — печально отвечал он. — Хорошо тебе уже никогда не будет. *Так* хорошо. Как ты сейчас привык. Тебе будет *по-другому*. Так, как ты уже давно забыл.

— И ладно! — воскликнул я и принялся бросать.

Почти все истинные наркоманы хотят бросить. Но одновременно хотят хотя бы иногда испытывать лю-

бимый кайф, что является принципиально нерешаемой дилеммой. Я это знал, и решил подойти к столь трудному и неприятному делу жестко и по-мужски: завязать и все.

Когда на второй день кумара я очнулся от полубесознательного ужаса, я, конечно же, вмазался, поняв что честная бескомпромиссность в этом деле не очень оправданна. После этого я начал *бросать*, используя любые доступные способы: наркобольницы, врачи на дом, капельницы, транквилизаторы, трамал, трамал, еще раз трамал, норфин, марадол, и все в таком духе. В результате я практически всегда достигал стадии физической переломки, но был никогда не в силах выдержать следующую за ней фазу ломки психической: жуткую, ни на секунду не прекращающуюся, депрессию, кошмарную слабость и неотвратимое, вечное желание. О, шприц, о наслаждение укола, о великий приход!.. «Сколько ангелов умещаются на кончике иглы?..» — как говорили мы после хорошей вмазки, перифразируя известный софизм средневековых схоластов (в оригинале, кстати, — демонов). И я начинал опять. И так все и происходило — по кругу — бросаешь, начинаешь, и т.д.

Когда однажды вдруг мне удалось выдержать двухмесячный перерыв (огромный срок по наркоманским меркам, но совершенно ничтожный с медицинской точки зрения), я решил, что вырвался все-таки из плена счастливых грез. Но потом, в один только миг — ис-

пытав невероятнейшую, как говорят врачи, *тягу*, тут же бросился к *человеку* и... Через неделю опять плотно сидел на героине, который за время моей наркомании почти полностью вытеснил опиум-сырец и допотопную маковую соломку.

Я впал в отчаянье и подумал, что не выиграю бой со священными цветами зла.

Вдруг мне позвонила знакомая, которая сказала, что знает о моих проблемах и может помочь, так как хорошо знакома с врачом, применяющим некую уникальную методику, которая нигде больше в мире не известна. За все время моего стажа я насмотрелся на стольких идиотских наркологов, как, впрочем, и на талантливых и даже выдающихся, которых, правда, объединяло то, что они не могли вылечить человека от наркотической зависимости, только талантливые это признавали, а бездарные — нет, что я отреагировал на предложение скептически, хотя обещал позвонить.

В конце концов, я позвонил и договорился о встрече с директором Медицинского центра доктора Зобина (тот самый, гениальный врач!), и в нужное время, вмазавшись (кто знает, может, в последний раз!) хорошей дозой героина, отправился к нему.

Директор, обаятельный, милый человек, у него, казалось, не было и тени сомнения в моем излечении. Он объяснил мне, что доктор Зобин блокирует

специальным нейропептидом опиийные рецепторы, располагающиеся в мозгу, которые и воспринимают как собственные опиаты — эндорфины и энкефалины, так и привнесенный извне героин. А раз нет рецепторов — нет и желания, поскольку более не существует в организме структуры, которая может воспринимать наркотики.

— А как же мои собственные эндорфины?.. — ошарашенно спросил я.

— Все регенирируется. Организм — мощная штука!

— И как же это все происходит?..

— Процедура занимает всего полчаса. И все. Мы не держим пациентов по несколько месяцев или даже больше в больницах, домах отдыха или колониях. Мы считаем, что это бесполезно. Впрочем, Михаил Леонидович вам все объяснит. Когда вы кололись последний раз?

Я сказал, что сегодня.

— Хорошо. Вам нужно выдержать без героина двадцать один день — рецепторы должны быть чистыми. Переломайтесь, на чем хотите и как хотите. Тра-мал можно только первую неделю. Мы ждем вас!

Он назначил мне число, и я ошарашенно согласился. «Впрочем, что я теряю», — подумал я.

Двадцать один день я провел в жутком пьянстве и тоске, несмотря на трамал и реланиум.

Но потом протрезвел, как-то пришел в себя и приехал в назначенное время к доктору Михаилу Леонидовичу Зобину, клиника которого располагается в Одинцове.

Зобин был серьезен, одет в белый халат как истинный врач. Он достал лист бумаги, цветные фломастеры и стал рассказывать о биологических изменениях мозга при опиатной наркомании.

— Вот мозг, а в его глубинах находятся опиинные рецепторы. Еще немножко есть в желудке, но они не принципиальны в данном случае... На них поступает эндорфин, это вы знаете. Если же вы принимаете героин или любой опиат, химически похожий на эндорфин — эндогенный морфин, то гораздо большая площадь рецептора им возбуждается, а собственный эндорфин перестает вырабатываться. Рецепторы привыкают к этому повышенному возбуждению и постоянно его требуют. Так и возникает наркомания; если же вы хотите бросить, следует известный вам период острой ломки, которая потом прекращается, поскольку на рецепторы начинают поступать другие нейромедиаторы, как-то пытающиеся заместить отсутствующий эндорфин, но все равно они постоянно подают вам сигналы: «дай, дай, дай», как дымящиеся вулканы, которые так и не удалось полностью поту-

шить. И вы опять срываетесь. И опять возвращаетесь к кайфу, который уравнивает нобелевского лауреата с олигофреном.

— Это я все тоже примерно знаю. Но... как же собственный эндорфин?.. Когда-нибудь он все-таки...

— Эндорфина нет! — убежденно проговорил Зобин. — А рецепторы разрастаются, и связываются друг с другом, образуя так называемую опийную матрицу.

Он обвел нарисованные квадратики-рецепторы прерывистой линией.

— И она сидит у вас в мозгу, как раковая опухоль, которая вечно требует героина. А эндорфина нет! — повторил он. — Вы можете бросить на месяц, на два, на три, на полгода, и вам все равно будет хотеться. И в конце концов вы не выдержите.

— Это я уже понял, — обреченно сказал я.

— Какие методы лечения... — продолжил Зобин.

— Значит, наркомания — это все-таки болезнь, а не просто порок? — спросил я.

— На этой стадии, конечно, болезнь, раз налицо биологические изменения. Так вот: во всем мире применяется метадоновая программа, которая является

как бы способом откупиться от наркоманов — берите, мол, что хотите.

— Да, метадон — дикий кайф... — тут же сказал я.

— Да, это то же самое. Другой метод — разного рода психотерапия, программа «Двенадцать шагов» и все такого типа, что способствует выработке серотонина, дофамина, норадреналина и других медиаторов, которые воздействуют на больные опийные рецепторы.

— Это не для меня, — тут же заметил я, вспомнив, что мне именно так и сказал знакомый наркоман с двадцатитрехлетним стажем: «Это все не для тебя. Представь, что ты будешь постоянно говорить себе: "Я — мудака, я — мудака, я — мудака..." Тебе это очень быстро надоест».

— Кому-то это помогает, — пожал плечами Михаил Леонидович. — И третий способ — добровольно сесть в тюрьму: всякие коммуну, колонии... Понятно?

— Понятно.

— Что предлагаем мы. Я когда-то разрабатывал психотропное оружие, потом не стало денег, наш проект развалился, но мы занимались рецепторами. Так вот, сейчас есть блокаторы рецепторов — небезызвестный налтрексон, но его надо принимать каждый день.

Потом, он не закрывает рецептор полностью, так что желание все равно остается, а при употреблении повышенных доз героина весьма вероятна смерть от передозировки. Мы же вводим полипептид, или нейропептид, подобранный к рецептору, как это называется в биологии, комплементарным способом, как ключ к замку. Мы заряжаем его электромагнитным полем (при этом создается трансперсональное сознание, похожее на действие ЛСД, Би-Зет и других галлюциногенов) и блокируем им все опиийные рецепторы мозга; ставим его, как пломбу на больной зуб, заклеиваем рецептор. После этого, как всякие органы, которые долго не выполняют своей функции, рецепторы отмирают, становятся гладкими, и пептид с них слетает. Затем, постепенно начинает вырабатываться эндорфин, который требует новых рецепторов, и они регенерируются, но уже не-наркоманские, а здоровые. Можно, конечно, опять начать, но это будет новая наркомания на новой базовой основе. Прежняя наркомания излечена.

— И... Когда же выделится эндорфин?.. — с трепетом спросил я.

— Эндорфин образуется *очень* медленно, но не более стажа наркомании.

«Пять лет!» — пронеслось в моей голове.

— А как же... жить?.. Без... удовольствий...

— Да кто вам сказал, что только эндорфин отвечает за удовольствия! — усмехнулся Зобин. — Эту функцию берут на себя другие структуры. Мозг всегда найдет решение, он никогда не зависает, как, скажем, компьютер.

— А нельзя ли как-нибудь ускорить... процесс выработки эндорфина?

Зобин развел руками.

— Если бы можно было — это была бы Нобелевская премия. Мы чего только ни делали... В морскую свинку столько молочной кислоты закачивали... Нет. Ничего не получается!

«Пять лет. Пять лет», — напряженно думал я.

— И все это время ничего нельзя?.. — спросил я.

— Да. Если вы употребите какой-нибудь опиат, у вас не будет рецептора, чтобы его воспринять, и он пойдет на дыхательный центр. В результате — смерть от остановки дыхания.

— Так у вас что, умирают?..

— Умирают, — просто ответил Зобин. — Вот недавно двое... Милиция сюда приезжала. Я ничего не скрываю: у нас самый жестокий метод, сжигаются

все мосты. Поэтому я не знаю, подходит ли это вам. Впрочем, зачем вам эти рецепторы? Они нужны или для эндорфина, или для героина. Эндорфина у вас нет. Сами по себе рецепторы ни к чему — это так же, как если в наличии только мужчина или только женщина, ребенка не получится. Но все остальное вам можно! Наркоз — любой. Любые другие наркотики. Алкоголь.

— А если я попаду без сознания с травмой, и мне вколят...

— Откачают, — убежденно сказал Зобин. — В реанимации сперва восстановят вам дыхание, а потом уже будут разбираться.

— А если я случайно приму героин?.. — воскликнул я.

Михаил Леонидович пристально посмотрел мне в глаза.

— Объясните мне, как можно *случайно* принять героин?..

Я вынужден был согласиться, что никак.

— Но ведь можно и так бросить! Бросают же! А если я брошу просто так, разве это все не восстановится?..

— Восстановится, — сказал Зобин, — но в три раза медленнее, чем после моей процедуры, при условии, что вы ни разу ничего не употребите, и вам будет постоянно хотеться.

Он загнал меня в угол; мне стало страшно.

— Я... еще не готов... Я... подумаю...

— Подумайте. Для процедуры нужно созреть.

— А что бы вы мне посоветовали?..

— А я никому ничего не советую. Наркомания — это ваша проблема. Я вам показал, как обстоят дела, и что я могу сделать. Остальное — ваш выбор.

«Как он отличается от всех наркологов и психиатров! — подумал я. — Они уговаривают: не торчи, бросай, лечись, и так далее. И это совершенно не действует».

Я ушел в ужасе и смятении. «Никогда не позволю ничего такого над собой сделать! Может быть, сейчас вмазаться?» — пронеслось в моих все еще имеющих опиатные рецепторы мозгах.

На следующий день я проснулся и выпил пива. И вдруг понял, что так будет всегда: вечная борьба, срывы, вмазки, ломки, переламывания... И нет никакой возможности это закончить.

Я позвонил директору.

— Почему вы струсили? — спросил он меня. — Я разочарован в вас.

— Но... А сейчас не поздно?

— Завтра вы можете?..

— Я...

— Ну скажи: я выбираю жизнь, — вдруг проникновенно обратился ко мне директор. — Скажи! Скажи: да.

— Да, — почти против воли произнес я, поняв, что именно сейчас сделал свой главный выбор в личной истории.

— Михаил Леонидович ждет вас! Завтра.

На следующий день я обреченно сидел перед Зобиным.

— Вы все-таки решились, — совершенно невозмутимо сказал он.

— Да... Все равно все так и будет происходить в бесконечной борьбе...

— Неравной, — добавил Михаил Леонидович. — Пошли.

Меня ввели в характерную медицинскую комнату и положили на кушетку. Один врач ввел мне в вену нечто из большого шприца, Зобин надел на мою голову какую-то резинку и присоединил электроды. И началось.

Я почувствовал сперва электрические вибрации в голове, внутри головы, потом обнаружил, что не могу пошевелить ничем, и все начало заволакиваться туманом полного отключения от реальности. Две фигуры стояли надо мной; вокруг них приплясывали какие-то линии, круги, потом возник общий непроницаемый фон, поглотивший весь мир и сам принцип построения любого мира. Я словно влетал в бесконечную черную дыру, в которой не было места никакому бытию. Меня будто выбросили во внешнюю тьму. «О, Господи!» — успело подумать то, что осталось от меня, прежде чем моя личность и его исчезли вообще.

Когда я пришел в себя через миллиарды веков, я обнаружил, что так же лежу на кушетке, а Михаил Леонидович держит ладонь на моем лбу.

— Это — как удысетеренный калипсол! — заявил я, как только смог говорить. — Я его ненавижу! На ЛСД, кстати, непохоже.

— На ЛСД меньше, — согласился Зобин. — Кто-то говорит, что это напоминает особую технику дыхания, кто-то еще что-нибудь...

На следующий день они сделали проверку — встал блок или нет. Для этого меня обклеили электронными датчиками, поставили капельницу, а потом Зобин сказал: «Поехали!», и ввел мне в вену синтетический опиат.

Через несколько секунд у меня остановилось дыхание, и меня парализовало. Анестезиолог держал кислородный аппарат и вдувал мне в легкие кислород. Я находился в ясном сознании и ничего не мог сделать: я не просто задышался, у меня отсутствовал принцип дыхания как таковой. Через четыре минуты я все же задышал.

— И если я вмажусь, я вот так и умру? — спросил я, поняв, что эти четыре минуты, пожалуй, самое ужасное, что мне довелось испытать в жизни.

— Да, и это будет вашим самым последним воспоминанием.

— Но они восстановятся?.. Рецепторы?..

— Конечно, — просто сказал анестезиолог. — Ну что ж, надеюсь, что вы больше не будете к нам обращаться с аналогичной проблемой!

Мне выдали справку о том, что мне категорически запрещено употребление любых наркотических анальгетиков, и на этом лечение закончилось. Я был излечен, кто бы мог подумать, что наркомания — на-

много более биологическая проблема, чем психическая? Хотя, конечно, психическая тоже.

С тех пор прошло более восьми месяцев. Я не торчу, и мне действительно совершенно этого не хочется. Было даже несколько эпизодов, когда знакомые предлагали героин, а я смотрел на него с недоумением и непониманием. Как на некий совершенно бесполезный белый порошок. Я не испытываю депрессии, счастлив и весел. Я забыл, что такое наркотический кайф. Я совершенно не помню, что такое ломка. Кое-кто из друзей и даже врачи иногда говорят мне, что меня обманули, и что в разных больницах делается аналогичная процедура, после нее люди вмазываются и не умирают. Я им объясняю, что в этих больницах не может быть нейропептида, который использует Зобин, поскольку это — военная разработка, и с нее, кажется, еще не снят гриф секретности. Врачи настаивают, я в конце концов даже соглашаюсь: ну, допустим, меня обманули, но я же не торчу?.. И не хочу. Значит, так замечательно обманули. Сам-то я так не думаю: все это подозрительно походит на правду. А когда у меня обрывается эндорфин... Не знаю, замечу ли я это полное восстановление своих измученных химическим кайфом мозгов... Впрочем, какая разница?.. Наркомания излечима, и меня от нее вылечили.

И я никогда не забуду: я вышел из клиники после процедуры, шатающийся, еще ничего не понимающий, но уже воскрешенный. Странное чувство сладкого ос-

вобождения охватило меня тогда — словно вырвали больной зуб, который все время ныл. Я вдруг увидел настоящую ночь вокруг, снежинки, звезды и горящие вдали фонари, освещающие реальный мир, куда я вернулся после бесконечных путешествий в запредельных фальшиво-сладостных странах. Я посмотрел на это все и почувствовал себя персонажем романа Юкио Мисимы – тем героем, который сжег Золотой Храм.

СОДЕРЖАНИЕ

Полина Рыжова. ПРЕДИСЛОВИЕ	5
----------------------------------	---

НЕИЗДАННОЕ

УЖАС ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ	9
РАССКАЗ О ЙОНАСЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ САМЫМ МЛАДШИМ ИЗ НАС	15
МАЛЕНЬКИЙ МИНЕТНЫЙ КОТЕНОК	17
ПИСЬМО ВОЛОДИ ЕЖОВА В «СПОР-КЛУБ»	22
ЭТО КОНЕЦ?	26
ОН БЫЛ С НИМИ	30
УДАЛЕНИЕ В СИНИЙ ПРЕДМЕТ	33
УДАЛЕНИЕ В СИНИЙ ПРЕДМЕТ II	36
КОГДА СХЛЫНЕТ ПУСТОТА	39
РАССКАЗ	41
РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	43
Я В ЧИСТИЛИЩЕ	51
РЕБЕНОК ДЛЯ ОЛЬГИ СТЕПАНОВНЫ	61
ВETERАНЫ ПСИХИЧЕСКИХ ВОЙН	91
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ	104
ЦАРЬ ДОБР	113
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ	165
МАНДУСТРА	167

ИЗ КНИГИ «РАССКАЗЫ ПРО ВСЁ»

Я И МОРЖИХА	173
ИСТОЧНИК ЗАРАЗЫ	181
ИСКУССТВО ЭТО КАЙФ	200

ЖЕНИНЫ МГНОВЕНИЯ	211
НЕ ВЫНИМАЯ ИЗО РТА	223
КАК Я БЫЛ ВЕЛИКАНОМ	238
МАЛЬЧИКИ	248
РАЗДУМЬЯ	275
И В ДЕТСКОМ САДУ	277
СИГНАТЮР И НЕТ	281
ВОЙНА ДЕВУШЕК И КАЯ	285
НЕСОГЛАСИЕ С ВАСИЛИСОЙ	289
ДЕНЬ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ	293
ЗАЕЛДЫЗ	316
ИСКУШЕНИЯ	320
ЕЛЬЦИН В ЗАЛУПЕ	323
Я ХОЧУ СТАТЬ ЮКАГИРОМ	326
МОЛЧАНИЕ — ЗНАК СОГЛАСИЯ	334
ЧЕЛОВЕК-МАШИНА	339
ОДИН ДЕНЬ С ЖЕНЩИНОЙ	352
СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ	365
НИЧТО	372
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ	380
ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЛМЫКИЮ	390
СЛЕДЫ МАКА	412
ОДИН ДЕНЬ В РАЮ	425
СНЫ ЛЕНИВЦА	446
ДНЕВНИК КЛОНА	462

ИЗ ЦИКЛА «ДВЕ ТЫСЯЧИ СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ ДОМА»

КАК Я СТАЛ НАРКОМАНОМ	483
КАК Я ЛЕЖАЛ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ	497
КАК Я ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ НАРКОМАНИИ	514

Егор Радов
Мандустра
рассказы

Дизайнер *Д. Захаров*
Художник *А. Тотибадзе*
Редактор *А. Хемлин*
Корректор *Э. Корчагина*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

000 Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, а/я 55
Тел./факс: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108^{1/32}
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 16,75. Тираж 1000. Заказ № 2235
Отпечатано в ОАО «Типография “Новости”»
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

**Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»**

можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чайнова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездиковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), (495) 628-64-42, 628-62-48
- «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabbegowcky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
 - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
 - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
 - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора Святой Екатерины), (921) 655-64-04
- «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной литературы и искусства), (812) 328-67-08
- «КнигиПодарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр. Обуховской обороны, 105
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
- Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «ВООК-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
— Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул. Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

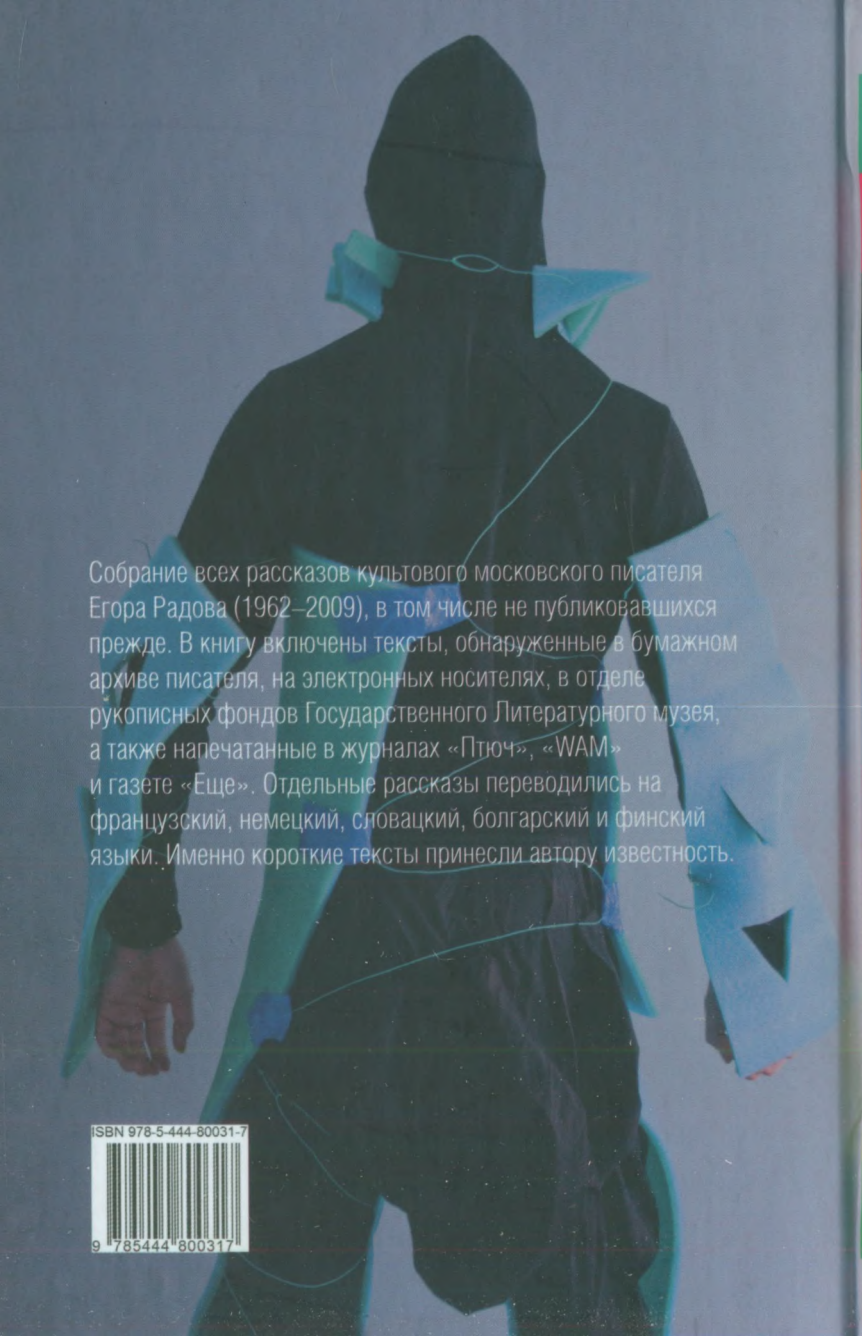
- Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

- «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

- ООО «АВР» — +38 (044) 273-64-07
- Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
- Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (<http://lavkababuin.com/>) —
ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02
- Интернет-магазин «Librabook» (<http://www.librabook.com.ua/>) (044) 383-20-95;
(093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua



Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

ISBN 978-5-444-80031-7



9 785444 800317